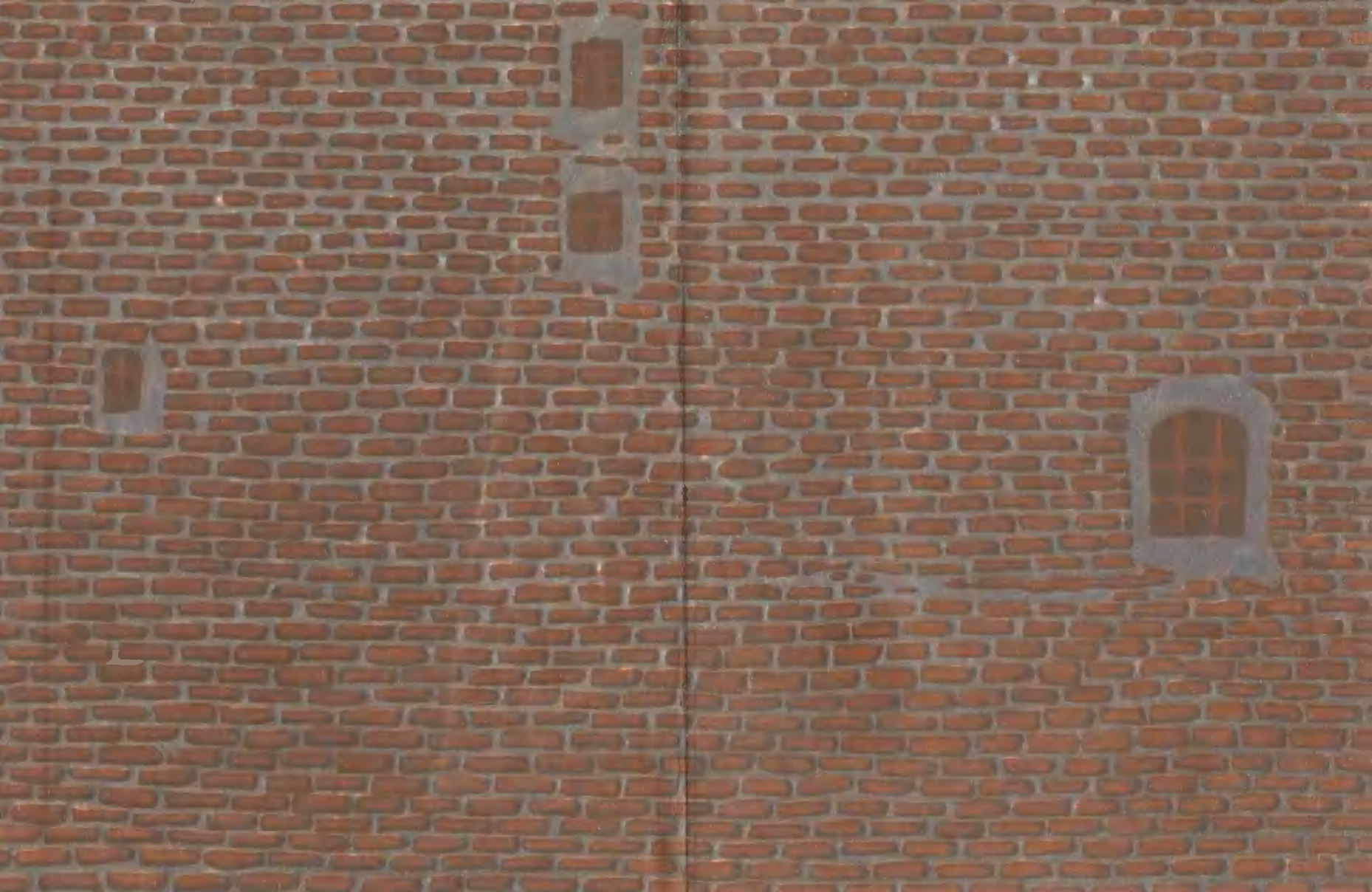


Всероссийский розыск **РДХ** ВЕРА МОРОЗОВА





Scan Kreyder - 25.01.2016
STERLITAMAK

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1979





СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Вера
Морозова*

ВСЕРОССИЙСКИЙ РОЗЫСК

ПОВЕСТЬ
О КОНКОРДИИ САМОЙЛОВОЙ

Творчество Веры Морозовой неизменно посвящено теме революции. В шестидесятые годы появилась первая книга писательницы «Рассказы о Землячке», затем увидели свет другие ее повести о революционерках — соратницах Ленина. Среди них «Дом на Монетной» (о Марии Голубевой), «Мост вздохов» (о Людмиле Сталь), «Пятое окно от угла» (о Татьяне Людвиговской). Повесть «Всероссийский розыск» знакомит читателя с жизнью и деятельностью еще одной замечательной революционерки — Конкордии Николаевны Самойловой-Громовой, видного деятеля женского рабочего движения, работника партийной печати.

Дочь обеспеченных родителей из духовного сословия, она с юных лет приобщается к практической революционной борьбе. Писательница показывает, как годы подполья, тюрем, ссылки закаляют волю К. Н. Самойловой, формируют ее мировоззрение. Героиню книги, верную соратницу В. И. Ленина, отличают мужество, стойкость, нравственная чистота, преданность идеалам революции.

Память

Время застыло в тоскливом ожидании. Конкордия Николаевна медленно поднялась из-за стола и подошла к окну. Побарабанила пальцами по стеклу и уныло сказала:

— Все переношу, только без дела пропадаю.

Пожилая женщина, которая пристроилась у окна, подняла голову:

— Кто бы мог подумать, что такие слова скажет русский человек в Париже? Нет, русские, действительно, одержимые или маньяки.

Они сидели в мансарде дома-скворечника, где снимала комнату Конкордия Николаевна.

Обстановка незатейливая — пыльный диванчик, стол, два полумягких стула, настольная лампа, умывальник с кувшином и тазиком. На стене под простыней весь гардероб. Рядом полка с книгами да ваза с цветами.

1903 год был напряженным. Занятия в Высшей школе общественных наук, лекции для пропагандистов, отъезжающих в Россию. Пора было возвращаться, но выехать без партийного поручения она не хотела и не могла. А провоз нелегальщины стал необычайно сложен, и приходилось искать какие-то новые пути.

— В России голод на марксистскую литературу. А здесь она лежит без движения, — Конкордия Николаев-

на с сожалением посмотрела на пачку листовок.— Клея нет... Немецкий ученый мог бы пошевелиться — подполье не может ждать.

— У вас и явки-то нет в России! — Пожилая женщина поправила пенсне и с ласковым укором взглянула на собеседницу. — Об этом подумали бы, Кона!

— Явки будут. Главное — тщательно подготовить транспортировку. Зинаида Дмитриевна, чем плох, к примеру, чемодан с двойным дном?

— Забыли о юбке-колоколе, к которой пристегивают подкладку. И о шляпе фасона птичьего гнезда не вспомнили, — с легкой иронией добавила женщина, равномерным движением раскладывая листовки по стопкам. — В них не раз в былое время провозили через границу необходимую литературу. Эту романтику предоставьте народовольцам.

— Значит, плохая?

— Нет, не плохая, но скомпрометированная. Охранка поумнела. Патриархальный период конспирации кончился — досмотр на границе производят летучие отряды из столичных жандармов. В купе к пассажирам, особенно к красивым женщинам, подсаживаются шпики. Охранке чудятся террористки!

— И красивым женщинам досталось! — проворчала Конкордия Николаевна. — Завтра скажу Владимиру Ильичу, что не могу сидеть сложа руки! Не могу!

После многочисленных провалов на границе подпольщики вели переговоры с одним ученым, сочувствующим революционерам, который взялся сделать специальный клей. Этот чудо-клей помог бы сброшюровать нелегальщину. Но с клеем пока не ладилось, и транспортом литературы решили не рисковать.

Ожидание было для Конкордии Николаевны мучительным. Зинаида Дмитриевна, попавшая в изгнание после ветровской истории, понимала ее нетерпение. За-

видовала ее молодости и порывистости. Маленькая, хрупкая, с острыми плечами и сухим лицом, она говорила с легкой картавостью:

— Наберитесь терпения, в Париже можно отыскать дело, Кона. Пользуйтесь случаем, смотрите, запоминайте. Я здесь пятый год, а привыкнуть к городу не могу. Каждая площадь волнует воображение, каждая улица — история...

— Да, вы правы. Но любознательность моя вполне удовлетворена, а историю творят люди. Нет, вы недооцениваете того, что происходит в России: там же забастовки, стачки... Долг социалистов — помочь рабочему классу. Нужна единая партия, Владимир Ильич прав. Вы переоцениваете роль личности, главное — народ, народ... К тому же вы сами в Лахтинской типографии печатали издания социалистов.

Лахтинская типография... Самосожжение Марии Ветровой... Студенческие волнения...

Все это было не так уж давно. В 1897 году слушательница Бестужевских курсов Мария Ветрова, привлеченная по делу Лахтинской типографии народовольцев и заключенная в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, не выдержала ужасов одиочного заключения. Она решила умереть. Но так, чтобы смертью своей привлечь внимание к тяжелому положению политических в российских тюрьмах. Ветрова сняла с лампы стекло, облила себя керосином и поднесла к платью горящий фитиль. В камере № 7 вспыхнул живой факел...

Конкордия Николаевна тоже училась на Бестужевских курсах. Не забыла тех дней — сходки, горячие речи. Помнила и гражданскую панихиду в Казанском соборе, и пререкания со священником, который отказался служить панихиду по народоволке, и железные вевки, и шествие по Невскому... Потом — арест на квартире у Фокиной, высылка из столицы...

— У вас есть какие-нибудь сведения о том, как провалилась типография, Зинаида Дмитриевна?

— ...Я предупреждала Марию, что Прейс с ее игрой в героиню особенных надежд не внушает. В тот день мы получили известие об аресте Прейс. Ветрова оскорбилась: «Возможно, ее истязают в охранке, допрашивают, а мы здесь в безопасности (это в подпольной-то типографии!). Пока ничего не будем менять. Прейс за наше дело отдаст жизнь!» И таким светлым было лицо Марии, что я устыдилась.

— А потом?

— Потом... Прейс изображала новоявленную Жанну д'Арк. Хвастала в охранке своей осведомленностью. А в результате взяли братьев Тулуновых — Михаила и Григория. Прекрасные были люди.

— И все же как арестовали Прейс? — Конкордия Николаевна хотела знать всю правду.

— Прейс поехала в Москву с литературой и, на беду, связалась с террористами. Начала вести переговоры о возможном цареубийстве. Все это без согласия организации! Хотели раздобыть ракеты невиданной разрушительной силы и с дальнего расстояния направить их на дворец.

— Ракеты? Разве это технически возможно?

— В том-то и беда, что одни прожекты. Да мало ли глупостей! Хотели даже отравить водопровод в царском дворце... За террористами был хвост, вот и взяли Екатерину Прейс. Типографию решили законсервировать: спрятали станок и валик, яму заложили землей, шрифт запаковали. Мария Ветрова почернела от горя, а Прейс все еще играла спектакль перед жандармами!

— Значит, предала Прейс? — Конкордия Николаевна барабанила пальцами по столу.

— Это все сложнее. Прейс вела себя неверно. Ее можно обвинить в возвеличивании собственной персоны. А предал Михайлов, зубной врач. Втерся в доверие и вы-

дал. По делу Лахтинской типографии привлекли около сорока человек. Мне удалось скрыться. Правда, позднее я угодила на каторгу, а Мария Ветрова приняла мученическую смерть...

— Да, смерть Ветровой была и вправду мученической,— глухо от сдерживаемого волнения сказала Ксенькордия.— Помню, ночами мы писали прокламации, а днем их распространяли среди студентов. Спорили в аудиториях до хрипоты: благонамеренные хотели удерживать курсисток от политических выступлений. Есть такие хамелеоны-студенты из доморощенных революционеров, которые, когда «порядки» берут верх над «беспорядками», уползают в щели. Ненавижу...

И такая страстность была в голосе девушки, так гневно сомкнулись брови и сверкнули глаза, что Зинаида Дмитриевна подумала — ну и темперамент!

— Я берегу дневник Марии Ветровой. Хранила его после ареста Марии, кое-что переписала.

Зинаида Дмитриевна порылась в сундучке и достала тетрадь в ледериновом переплете.

— «Ничего на словах и все на деле,— прочитала она,— вот лозунг всякого нравственного человека. Проклятие и муки ждут человеческое дело, если человек делает его для видимости и наполовину. Не отступать. Энергия и стойкость убеждений в человеке — величайший нравственный долг. Простят то, чего не смогла, но никогда не простят, чего не хотела. Доброе начало — непрестанное воспитание личной энергии и непреклонное стремление к избранной цели. Злое начало — уступка общественным предрассудкам, дух компромисса. Постоянные уступки, малодушное отступление от намеченной цели обращают человеческую жизнь в стоячее болото, губят не только личное счастье человека. Все эти мысли высказывает новый драматург, Ибсен. Да, действительно, у нас слишком много половинчатых людей; надо бросить

в это болото камень или, скорее, надо подуть сильному ветру, чтобы взволновать это болото, рассеять плесень, чтобы и в нем можно было хоть на время подышать чистым воздухом. Впрочем, что это — «на время»? Навсегда, уж если вырваться на свободу — так навсегда! Долой эти компромиссы! Ведь это безнравственность!»

Зинаида Дмитриевна разгладила листы тетради. Читала дальше:

— «Но умереть без борьбы, при первой неприятности, умереть, когда еще можешь принести пользу,— это уж слишком. А что, если все то, что я говорю и думаю,— все это фальшь? Что, если и в самом деле фразы так и останутся фразами?.. Тогда можно?! Но страшно умирать с сознанием того, что так-таки решительно бесполезно провел свою жизнь и даже не знал, зачем она дана».

— Жизнь Марии Ветровой прошла бесполезно? — Конкордия Николаевна не могла успокоиться. — Только честный человек, как Мария, может терзать и уничтожать себя за так называемую бесполезность... Она своей смертью взбудоражила весь Петербург! Общество пришло в движение. Лев Толстой с уважением отозвался о ней... Нет, такая жизнь останется в памяти народной!

— Ее могилу даже не показали матери, которая приехала в Петербург,— скорбно вздохнув, промолвила Зинаида Дмитриевна.

— Придет время, народ отыщет безымянную могилу Марии Ветровой! — воскликнула Конкордия.

— Отыщет, если охранка сохранит черные документы, но черные дела глубоко прячутся... Как это у Толстого? Нужно говорить о том, «о чем было велено молчать!» — Зинаида Дмитриевна подошла к окну. За ним горбились крыши домов с массивными трубами. — Как часто я вспоминала эти толстовские слова, когда работала в Лахтинской типографии.

— Видите... У вас на столе литература, которая говорит «о том, о чем было велено молчать!» — Конкордия Николаевна в отчаянии схватилась за голову. — Когда же этот ученый сообщит нам секрет клея? Руки можно наложить на себя с тоски!

— Послушайте, Кона, где репродукции? Вы купили их на Монмартре, не забыли... — Зинаида Дмитриевна, сутулая, сухонькая, вновь принялась раскладывать прокламации по конвертам. — Нет, скучать в Париже смешно. Влюбились бы лучше в художника. Натура вы романтическая, и время бы скоротали... А гравюры подходящие. — Она с удовольствием рассматривала плотные листы. — Завтра отправляйтесь на Монмартр и купите еще на пятьдесят франков, а тут и секрет клея подоспел. Ручаюсь, таможенникам поймать вас будет не по зубам.

— Дела хочется настоящего, а мы кружим, кружим.

Одинокий аист

В маленькой комнате, которую Конкордия Николаевна снимала вместе с модисткой, приехавшей в Париж из провинции, было всегда сумрачно. Иной раз даже днем приходилось зажигать настенный газовый рожок. Но сейчас Конкордии не хотелось света. Она подошла к окну: черепичные крыши, над ними — тонкие струйки дыма, слабый звон колоколов собора. Париж... Париж... Тот самый Париж, который, как говорил Генрих IV, прекративший религиозные войны во Франции, «стоит мессы». Сколько крови здесь лилось! Как часто парижане поднимались на борьбу за свободу... Лишь воспоминания остались от некогда грозной Бастилии. Еще живы в памяти многих дни Парижской коммуны.

Конкордия Николаевна успела полюбить этот город. Но в тихие предвечерние часы она чувствовала себя здесь совсем одинокой, чужой. Далеко за тысячи верст была Россия... Воспоминания возвращали ее на родину...

...Петербург. Шуршит желтый лист на тротуарах. Над городом виснет мелкий осенний дождь. Конкордия Николаевна Громова в канцелярии санкт-петербургского градоначальника получает заграничный паспорт. До этого, после исключения с Бестужевских курсов полтора года она пробыла в Иркутске. Отдохнув после ареста, попробовала устроиться на службу в Переселенческое управление. Чиновник принял ее любезно, долго толковал о роли интеллигенции, о ее значении для развития страны. Но сразу же изменил тон, когда узнал, что беседует с человеком, высланным из столицы. Трусовато засуетился: нужно, дескать, запросить жандармское управление. Прошло несколько долгих недель, пока наконец пришел ответ: брать на службу «неблагонадежную» власти считали нежелательным. Между тем в Иркутске было неспокойно: по городу прокатились обыски, аресты. Мать состарилась за это время. Каждый шорох, каждый проезжавший мимо дома экипаж пугал ее — не жандармы ли? Она поднималась к дочери на второй этаж, жарко целовала ее, умоляла поскорее уехать за границу.

Вспыхнули вдруг волнения и среди семинаристов. Они устроили сходку в лесочке, неподалеку от города, подле архиереевой дачи. Конкордия Николаевна специально пошла туда, чтобы узнать, что же волнует семинаристов. Оказалось, они выступали против произвола ректора духовной семинарии — человека грубого, настоящего держиморды, он то и дело обзывал своих подопечных свиньями, жуликами, негодьями, ругался даже с алтаря во время службы.

Семинаристы выразили свой протест своеобразно — в присутствии инспектора, совершенно не таясь, во время утренней службы устроили вместо пения молитвы откровенное «козлодрание»...

Теперь над ними должен был состояться суд... На сходке звучали жаркие, порой даже очень резкие речи, но ни до чего определенного семинаристы так и не договорились...

Конкордии Николаевне было жаль этих безусловно честных юношей.

Через неделю в камере мирового судьи, где происходило разбирательство дела, Конкордия Николаевна первой внесла деньги, когда объявили сбор для того, чтобы заплатить штраф за неимущих.

Дома ее ждал тяжелый разговор. Мать все время плакала, сестра ходила с распухшим от слез лицом. Так повторялось изо дня в день. Тогда Конкордия решила ехать в Петербург — хлопотать о заграничном паспорте.

И вот — Варшавский вокзал. Впереди Париж.

В сером дорожном платье она сидела у окна. Провожала взглядом леса, тропутые золотом, седые от мха ели, жухлую траву. За окном тянулись унылые бескрайние просторы, убогие деревни, застывшие, словно одинокие путники, церквушки на пригорках, озера с камышовыми зарослями.

Было невыносимо тоскливо. Позади оставалась юность, радостная и трудная.

...В тот год Бессарабскую губернию охватил голод. Хлеб «горел» на полях. Столичные газеты писали о небывалом неурожае... В Петербурге создали Пироговский комитет по оказанию помощи голодающим. Конкордия Николаевна добивалась приема у важных сановников, посещала и светские гостиные, вела сбор пожертвований, решила ехать на голод. Ночами она просиживала над

медицинскими книгами и справочниками. В столицу поступали вести о начавшейся на юге эпидемии тифа и холеры. Конкордия после тяжелого бронхита была еще очень слаба. Товарищи уговаривали ее отказаться от рискованной затеи. Одна из курсисток, отправившаяся в Бессарабию раньше ее, заразилась тифом и умерла. Но Конкордия не отступилась.

Закупив на собранные деньги продовольствие, собрав аптечку, она двинулась в путь. Ее определили в Аккерманский уезд.

До села Михайловки она добиралась на тряской арбе. Здесь следовало организовать столовую для голодающих и медицинский пункт. Студент-медик, который приехал вместе с нею, тяжело заболел. Все заботы по оказанию помощи голодающим легли на нее.

После богатых, хорошо отстроенных сибирских сел Михайловка поразила ее своей нищетой. Убогие мазанки, крытые соломой. Высохшие колодцы. Толпы просящих подавание. Красная пыль висела в раскаленном воздухе. И странно, дико выглядел одинокий аист, сиротливо стоявший на одной ноге в своем гнезде невдалеке от высохшего ручья. Он почему-то представлялся символом бедствия...

Над крайней хатой возвышался шест с белым полотнищем. Слышался громкий плач.

— Покойницу обряжают, царство ей небесное! — Возница стянул войлочную шапку.

— От голода? — тихо спросила она.

Возница вздохнул и перекрестился.

Из хаты выбежала девушка в пестрой домотканой юбке. Волосы ее были распущены, в глазах — скорбь. К ней подошла подруга. Ее лицо от голода казалось прозрачным. Они обнялись, громко зарыдали.

Во дворе толпились нищие. Телега свернула с дороги, чтобы пропустить похоронную процессию. Конкордия

Николаевна сошла с телеги. Невысокий мужик с красным лицом и слезящимися глазами пронес старенькую хоругвь с ликом Христа. За мужиком, припадая на правую ногу, семенил священник. Он дребезжащим голосом пытался прочесть молитву. Рука его сжимала серебряный крест. На длинных дорогах покачивался гроб. Лицо покойницы было в венчике из бумажных цветов. За гробом шла толпа со свечами в руках. Их не зажигали из экономии.

...Под столовую сняли самую просторную хату. На печи под кошмой копошились дети. Глаза их блестели от голода, на лицах испуг. Матери приносили их в столовую и оставляли здесь на день. Одежды у детей не было. Их заворачивали в кошму.

Конкордия Николаевна варила супы с пшеном. Безменом развешивала отруби с горохом, их выдавали вместо хлеба. Руки ломило от ведерных котлов. Сердито гудел огонь в печи. Она смотрела на жепцин, безмолвно стоящих с железными мисками в синеватых руках. Жадно прятали они ломти хлеба в красные платки. Это был лик голода — страшный в своей беспощадной наготе.

Вечерами она обходила село, помогая больным и престарелым. Она и сама еле держалась на ногах. По субботним дням у хибарки, где она жила, выстраивалась молчаливая угрюмая очередь. Бабы и мужики садились под окнами и часами ждали приема. На нее смотрели как на исцелительницу. Как она проклинала себя за скудость познаний в медицине! Микстуры принимали с земным поклоном, переливали в желтоватые пузырьки, в которых раньше хранили святую воду. Запас лекарств, привезенных ею из Петербурга, таял на глазах. Пришлось собирать травы, варить настои, каждый порошок делить на части. По утрам, раскрывая белую с красным крестом шкатулку, она ужасалась. Пуста, почти пуста... Да и могли ли помочь порошки и микстуры при таком голоде и нищете?

Много слез пролила она от жалости и бессилия. Одно-го сострадания к ближнему мало, нужны действия. И решительные. Но как сделать так, чтобы впредь не было этих мучений народных, голодных глаз, ранних смертей?

После приема больных взбиралась на полати и мгновенно засыпала. Жизнь заставила подумать о многом. Начала интересоваться крестьянскими наделами, налогами, спорить со старостой, ужасаясь поборам и беззаконию. И тогда урядник предложил Конкордии Николаевне покинуть Михайловку во избежание серьезных неприятностей. Она смотрела в грубое, квадратное лицо урядника и говорила об утешениях, творимых старостой. Ей хотелось написать статью в «Северный курьер» — столичную газету, рассказать обо всех этих ужасах. Староста начал ее преследовать. Дал ей кличку «уд» — то есть человека, который улавливает души. Так раньше называли народников. Крестьяне тоже стали сторониться ее, приходили украдкой в темноте. А тут еще кончились деньги и лекарства, надо было уезжать.

Провожали ее далеко за село. Низко кланялись. Девушки подарили вышитый платок.

Конкордия Николаевна уезжала из России больная от всего пережитого. И опять дорога... За окном поплыли убогие домишки, бескрайняя даль. Гудел паровоз, стучали колеса, все дальше отодвигались родные места...

Давно ли все это было — и поездка в Бессарабию, и ссылка в Иркутск, отъезд из России?..

А теперь — прекрасный и вечный Париж. Новые знакомства, книги, лекции, впечатления, товарищи. Но все чаще и настойчивее ей виделись лица друзей, оставшихся в России. Она с нежностью вспоминала бедные избы севера и бессарабские мазанки.

Да, прекрасна Франция. Но душа каждого принадлежит родине...

Встреча на Пер-Лашез

Часто, очень часто возвращалась она мысленно к этой встрече...

Впервые Конкордия увидела Владимира Ильича в феврале 1903 года в Высшей школе общественных наук, основанной эмигрантами в Латинском квартале.

Тут он прочитал несколько лекций по аграрному вопросу. Выступал под именем Ильина — автора легальных книг «Развитие капитализма в России» и «Экономические этюды». Приехал в Париж из Лондона, где печаталась «Искра».

Лекции были встречены публикой с острым интересом, ошеломили новизной и смелостью мысли. Тогда-то Конкордия и познакомилась с Владимиром Ильичем, и даже в кратком разговоре почувствовала, что перед нею человек яркий и необычный.

Но по-настоящему поговорить им довелось позднее. Встреча эта произошла случайно. Конкордия Николаевна очень жалела, что не записала сразу же во всех деталях события того дня.

Как-то раз, спустя несколько дней после нашумевших лекций Ульянова в Высшей школе, Конкордия решила побывать на кладбище Пер-Лашез.

Кладбище было обнесено высокой кирпичной стеной. У ворот — цветочный магазин, в котором продавали первые цикламены. Были здесь и фиалки, и примулы, и керамические красные маки, которые парижане обычно укрепляли на могильных плитах. Были и венки из тюльпанов, и ленты, и фарфоровые тарелки с черной каймой.

Среди венков и траурных лент Конкордия Николаевна увидела клетку со щеглом, живым и непоседливым. Щегол свистел, прыгал, встряхивал перышками и смешно запрокидывал голову, торопливо глотая воду. И сно-

ва заливался, радуясь жизни и солнцу. «Все же парижане — народ особенный, — подумала тогда Конкордия Николаевна. — Их непосредственности можно позавидовать».

За два франка она купила букетик фиалок, завернула в бумагу: ветер был холодный.

Пожалуй, нет грустнее зрелища, чем кладбище в конце зимы. Талая вода, возвышающиеся островками могильные холмики. Черные мраморные памятники с ангелами, молитвенно воздевшими к небу каменные лики и руки. Пучки засохших цветов в стеклянных банках, забытых с осени.

Кривые тропинки размыты водой. Деревья — в лохмотьях потемневшего снега. Наохлившись птицы, как пожухлые листья, облепили кустарник. Все серо, печально. Лишь слабый шепот ручейка папоминает о том, что жизнь не остановилась.

Конкордия прошла мимо склена с ангелом и медной пластинкой, похожей на табличку на двери парадного. Повернула направо. Могилы зажаты железными оградками. Памятники.

Вот и дорожка, присыпанная красным песком. Под развесистыми каштанами — стена, где расстреляли последних коммунаров. По красной стене, цепляясь за кирпичи, ползли ветви плюща, восковые его листья прикрывали следы пуль.

Здесь она и встретила Владимира Ильича. Он стоял неподвижно, держа в одной руке букет фиалок, в другой шляпу. Большой лоб блестел залысинами. И такая грусть была во всем облике, такая скорбь в опущенных плечах, что Конкордия почему-то подумала о его брате Александре.

Она не рискнула его окликнуть, тихо подошла сзади и остановилась в нескольких шагах поодаль.

— Значит, здесь, у Стены коммунаров, и встречаются

русские политэмигранты,— с шутливой грустью произнес Владимир Ильич, неожиданно обернувшись к ней.

— Да, и здесь...

Он положил свой букетик рядом с ее цветами. Постоял склонившись, потом вздохнул, словно перерезав какую-то невидимую для нее черту.

Владимир Ильич взял ее под руку, и они пошли по размытым талым снегом дорожкам.

Ей навсегда запомнился и этот день, и то, что говорил Владимир Ильич, его голос, интонации, энергичный жест.

Они говорили об «Искре», о предстоящем Втором съезде партии.

Владимир Ильич с улыбкой рассказывал Конкордии о том, как путаники из группы «Свобода», обосновавшиеся в Швейцарии, затеяли с ним полемику. Эта беснующаяся группка не имеет ни прочных, серьезных идей, ни корней в массах. Ей удобнее программная вертлявость и тактическое шатание между революционностью и «экономизмом».

Конкордия Николаевна знала, что группа «Свобода» приняла в штыки ленинскую книгу «Что делать?». Они даже выпустили журнал с демагогическим названием «Журнал для рабочих» и уверяли, что «Искра» рубит «здоровый ствол» «экономизма».

На работу Ленина они ополчились именно потому, что в ней было убедительно доказано, что группа «Свобода» опустилась до демагогии. Вместо войны с открытым забралом эта группа предпочитает действовать из-за угла.

Вообще в эти оставшиеся до открытия Второго съезда партии месяцы оживились всевозможные группы и группки со своими беспринципными микропрограммами, вносящими перазбериху в организационные вопросы и величайшую теоретическую путаницу.

— С кем только ни приходится бороться! — говорил Владимир Ильич. — «Массовую» литературу наши господа из социалистов-революционеров принижают до лубочной и считают это заслугой. Сеют разброд и в серьезных партийных вопросах. Программа у них — двойная бухгалтерия. Тактика — также двойная бухгалтерия, а практическая деятельность — демагогия!

Они вышли за ворота кладбища и медленно двинулись по Парижским бульварам.

— Нужно мне собираться в Россию, Владимир Ильич, — сказала Конкордия Николаевна. — Я глотаю книги, постигаю социальные науки, но все это без практики мертво.

— Славно... Что же... Поезжайте... И расскажите в России правду о целях созыва Второго съезда. Поди, там глупостей море безбрежное наплели все от «экономистов» до народников. — Владимир Ильич помолчал. — Пройдет съезд, партия будет единой, и закипит работа.

— Вы скоро возвратитесь в Лондон, Владимир Ильич? — Конкордия зябко подняла воротник пальто.

Западный ветер нагнал облака, посыпался снег.

Они уже шли по авеню Республики, шумному, широкому проспекту, с многоэтажными домами, с подстриженным кустарником, отделявшим проезжую часть улицы. Грохотала конка. Кондуктор зажег фонарь. В тусклом свете запрыгала и затаптывала снежная крупа.

— Да, мне нужно возвращаться. В Лондоне печатается «Искра» — работы невпроворот. — Владимир Ильич задержал руку Конкордии Николаевны. — Коли решите в Россию, то поговорим отдельно. Кстати, Организационный комитет по созыву съезда предлагает разослать на места проект устава съезда. Думаю, что это правильно. Очень важно, чтобы устав одобрили местные комитеты.

Она долго смотрела вслед уходящему Владимиру Ильичу.

В свою мансарду возвращаться не хотелось, и она шла и шла по улицам, разглядывая дома.

Темнело. Сквозь снежную плену мигала световая афиша у редакции газеты. Последние новости. Световые полосы вспыхивали и гасли. Красные, синеватые, белые, они причудливо окрашивали здание.

Горланили мальчишки-газетчики, засунув за пояс пачки вечерних газет.

Конкордия Николаевна тоже стала обладательницей вечернего выпуска. Газетенка бульварная. Зловеще улыбалась женщина, подсыпая яд в бокал. На переднем плане — красавец с профилем индийского раджи беспечно смотрел на вечерний Париж...

Газету она убрала в муфту и неторопливо пошла вдоль улицы.

В витрине стоял носорог. Пригнул голову, готовый броситься на каждого. На роге сумки всех цветов и размеров. Кивал головой жираф, длинная шея его тоже увешана сумками.

В огромных окнах по ступенькам лестницы двигались живые манекены с застывшими улыбками. По Елисейским полям ползли автомобили.

Кружил пушистый и легкий снежок. Неуверенно и робко опускался он на землю, будто не решался прикрыть этот прекрасный город.

Парижане раскрыли зонты. «Возможно ли укрыться зонтиком от русских метелей, с пронизывающим до боли ветром, с завыванием вьюги и кружащимся вихрем! А здесь зонтики!» — подумалось ей.

Россия! Как ты далека и как близка сердцу! И как жадно на чужбине ищет глаз и находит все, что напоминает родину. И без этого чувства не прожить, без этого нечем дышать, не к чему стремиться...

Надо ехать домой.

Полковник Уранов

Полковник Уранов потирал озябшие руки. Сбросил шинель. Тронул гребенкой лысеющую голову. В зеркале — упитанный человек с крепкой шеей, впалыми щеками, подпертыми высоким воротником. Крупный нос и развитая нижняя челюсть придавали лицу волевое выражение.

Довольный собой — пятьдесят лет — не шутка! — полковник легким пружинистым шагом подошел к столу. Бумаги... Бумаги... Бумаги...

Бесшумно отворилась дверь, и появился адъютант в отутюженном мундире.

— Пакет из Петербурга... Из жандармского управления.

Полковник с трудом удержал улыбку. Он все еще не мог привыкнуть к тонкому голосу адъютанта. Баба, настоящая баба! И фигура, и щеки дрожат, словно студень.

Адъютант и сам понимал, что проигрывает рядом с молодцеватым полковником. Знал и страдал.

— Значит, из Петербурга! — пробасил Уранов, наслаждаясь своим сочным и сильным голосом.

— Прикажете распечатать? — Адъютант вертел в руках длинные ножницы.

— Да, да...

Полковник откинулся в кресле и наблюдал, как ловко адъютант срывал сургучные печати, подрезал суровые нитки и извлекал глянцевую бумагу. А ножницы-то какие!

— Пожалуйста, господин полковник.

Жандармское управление запрашивало о лицах, подлежащих розыску по делам политическим. Искали какую-то Дешину Зинаиду Васильевну, дочь коллежского

советника, дворянку, которая из конспиративных соображений именовала себя «Александрой Павловой».

Полковник забарабанил пальцами по столу. Нет, память его пока что не подводила. Дешипой Зинаиды Васильевны в делах встречать не приходилось. И сидит эта дама преспокойнейшим образом в Петербурге, вот и строчат депеши по империи, благо чиновников превеликое множество.

Полковник отложил бумагу.

Адъютант вскрыл новый пакет. Полковник углубился в бумаги:

«О бывшей слушательнице Высших Женских курсов Конкордии Николаевне Громовой.

Конкордия Громова 16 февраля 1901 года была арестована в квартире курсистки Фокиной на делегатском собрании студентов, устроенном с целью обсуждения вопроса о продолжении студенческих беспорядков в Санкт-Петербурге...

При обыске были обнаружены: роман С. Кравчинского «Андрей Кожухов», сочинение Чернышевского «Что делать?» и револьвер.

Ввиду сего Громова была привлечена в качестве обвиняемой к дознанию по обвинению в организации демонстрации 19 февраля 1901 г.».

Уранов помнил эти студенческие беспорядки, как раз был тогда в столице. Город казался вымершим. Студенты, курсистки собирались у Казанского собора, их разгоняла полиция, но безуспешно. Группки появлялись, как сугробы в рождественские дни. Протестовали против введения «Временных правил», по которым студентов за свободомыслие можно было отдавать в солдаты. Так поступили со студентами Киевского университета.

Полковник такой крайности не одобрял. Его сын учился в Политехническом институте. Молодость бескомпромиссна. Крайние меры не всегда самые лучшие. Нача-

лись студенческие волнения, прокламации, стачки... Карпович стрелял в министра народного просвещения Боголепова. Убил ведь, убил... Карпович теперь в Шлиссельбурге, но Боголепова-то не вернуть...

Значит, Громова к этим беспорядкам имела прямое отношение. При допросе показала, что пришла к Фокиной, не была с ней знакома, но знала, что у нее на квартире собирается студенчество.

Сколько волнений причиняет эта молодежь! Открыли для женщин Высшие курсы, а то они, видите ли, выезжали за образованием, то бишь за крамолой, за границу. Открыли, чтобы отвлечь от вольнодумства и пагубной эмансипации. А результат? Курсистки первыми участвуют в беспорядках.

А Громова, смотри-ка, роман Кравчинского получила от одной курсистки для передачи другой, назвать которую, конечно, отказалась, револьвер опять же привезла из Сибири, год при себе держала на случай поездки на вакации. Девушка с револьвером! Револьвер для безопасности держит в Петербурге. До чего дошло! С Охранным отделением играют в бирюльки!

Нет, он размотал бы ниточку. Кто просил припрятать револьвер? И смиренницу по головке не погладил бы. Добры, ох добры стали в светлейшей столице!

На основании постановления Особого Совещания от 16 апреля 1901 года дело Конкордии Громовой, по вменении ей в наказание предварительного ареста, было прекращено, а решение вопроса о дальнейшей ее участи передано на усмотрение учебного начальства.

И по усмотрению этого учебного начальства Громова была исключена с Высших женских курсов без права поступления. Пришлось оставить столицу и пересхать в Иркутск к матушке.

Вот и еще справка. Начальник Переселенческого управления просил департамент полиции сообщить о воз-

можно предоставлении девице Громовой должности по хозяйственной части на пункте. Интересно, что ответили из Петербурга? Так-с, резолюция фиолетовыми чернилами: хотя дознание и было прекращено за неимением улик, но осторожности ради советовали отказаться от услуг означенной Громовой.

Полковник удовлетворенно покачал головой: правильно, экая приткая! И Бестужевские курсы подай ей, и на переселенческом пункте готова устроиться... Крестьяне большими семьями переселялись в Сибирь. Пособие от казны шло малое, на переселенческих пунктах держали подолгу — только социалистки там не хватало...

Полковник Уранов знал многих из тех, кому, кажется, было дано и богатство, и положение в обществе, а они из тюрем не вылезали. Вот и Громова из таких. Семья почтеннейшая, батюшка — священник высокого сана, а дочь в Париж за новомодными идеями поскакала.

Прелестнейшая Наталья Николаевна, с которой он имел честь быть знакомым, по наивности может считать, что ее родная сестрица Копкордия Николаевна отдает дань времени, но сего-то не проведешь. Он видит здесь злонамеренную непреклонность. И заведенное в жандармском управлении дело, и первый арест в Петербурге, исключение с курсов, и поездка в Париж, надо думать, не с увеселительной целью, — все звенья единой цепи. Ответы при первом аресте полны дерзостного неповиновения: по званию — дворянка, средства к жизни — личный труд... Личный труд... Ответ и в Петербурге подчеркнули красной чертой. И резюме по донесению филеров: особа крайне вредного политического направления.

И вот теперь означенная Копкордия Николаевна Громова приехала на жительство в Тверь. Приехала — и в городе сейчас же появился свежий номер газеты «Искра».

Тверь близко расположена и к Москве, и к Петербургу и, к несчастью, не входит в число городов, куда запрещен въезд лицам, высылаемым из обеих столиц. И сколько ни доказывал полковник, что Тверь становится местом, где собираются неблагонадежные лица, в Петербурге к его посланиям относятся с поразительным легкомыслием. Более того, считают его чуть ли не карьеристом, который далеко метит.

Впрочем, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но помимо карьеры есть и принципы — он идейный враг крамолы и идейный защитник порядка. В Твери расширяются фабрики Морозова, Берга, разрастается Русско-Балтийский завод. А это значит, что в городе скапливается рабочий класс. Порох вспыхнет, коли к нему поднести факел.

Полковнику доносят, что на фабриках, как грибы, растут кружки. Их ведут ссыльные. В Жолтиковой роще происходят тайные собрания. Читают «Искру». Выпускают и отпечатанные на гектографе прокламации на злобу дня. В донесениях филеров все чаще попадают сведения о том, что в этом году готовится съезд социал-демократии. Идет борьба за мандаты между двумя направлениями, но суть борьбы, как и суть разногласий, установить трудно. Филеры плохо в этом разбираются, да и в Тверской комитет социалистов пока входа нет.

Вот теперь появилась эта Конкордия Громова. Оживление в политической жизни полковник Уранов связывал с ее приездом. Запрошенные на Громову материалы из Петербурга не успокоили, а серьезно насторожили.

Полковник прошелся по ковру. Любой солдафон — их в Охранном отделении предостаточно — так понимает политический сыск: выследил, торопись изолировать... Но нет, он достаточно умен, чтобы оценить врага по достоинству. Полковник Уранов уподоблял себя опытному шахматисту, который хорошо рассчитывает партию и

приберегает ферзя, чтобы в последний момент объявить мат. И не нужно ему гнаться за скорым успехом — следует внедрять филеров, разлагать осведомителями кружки, подбратиться к комитету, а потом уже вытащить сеть. И еще одно золотое правило — рублем привлечь осведомителей.

Провокатор Волнухин

С большой Волги залетали чайки и лениво кружили над домами и скверами, пропыленным кустарником и златоглавыми колокольнями.

Высокий человек в желтом костюме легко вскочил на подножку трамвая. Раздался звонок, и новоявленное чудо, разбрызгивая лужи, покатило к вокзалу.

Мужчина сдвинул шляпу на затылок и подставил ветру лицо. Кондуктор с почтением опустил монету в сумку.

Субботний день, но трамвай, шедший на вокзал, против обыкновения, был переполнен. В близлежащие деревни ехали рабочие, чтобы обменять вещи на продукты.

— Дух от тебя тяжелый, Петр! — Старик прижимал к груди котомку. — Словно кот по помойкам шастал...

— Дух тяжелый? Знамо, набирал в лавке селедки. — Парень невесело улыбнулся. — Селедки-то ржавые, полудохлые... Коли повезет, так сменяю на картошку. Там у Морозова деньжат к празднику, случаем, не подбросили?

— Держи карман шире... Боны чертовы. Денег с рождества и в руках не держали. С деньгами в любой лавке товар возьмешь, а с бонами — только в фабричной лавке отца-благодетеля Морозова.

— И все хозяин плохой: ан одна заботушка о сырых — и лавка, и кабак при фабрике. — Парень говорил громко, привлекая внимание к разговору. — Дай тебе деньги, старый, в кабаке спустишь.

— Забота... Полюбил волк кобылу — оставил хвост да гриву. Товары дрянные, а цена-то какая! Про кабак зря треплешься. Водку и в хозяйской лавке четвертью на купоны бери.

Мужчина в желтом костюме молчал. Чистая публика держалась особняком. Дама поднесла надушенный платок к лицу.

Мужчина не одобрял ее поведения. Кривляется, как мартышка. Дух тяжелый. Поди, у самой отец из мужиков. Дама уловила его сердитый взгляд и отвернулась.

Мастеровые ругательски ругали хозяев. Радовались поездке в деревню — свежему воздуху, парному молоку, сеновалу. Им казалось, что ржавая селедка обернется несказанным богатством, которое принесет и мясо, и картошку.

Мужчина вслушивался в разговор. Он хорошо знал и управляющего морозовской мануфактурой, и фабриканта Берга и не одобрял их мелочной жадности. Возмущением мастеровых непременно воспользуются социалисты. Начнутся стачки, забастовки, вызовы полиции, а то и войск. И все это придется расхлебывать ему, полковнику Уранову. Да-с, спросят за беспорядки с него одного...

Вокзал. Дом для приезжих «Тверь». Вывеска с голубками. Голубки держали в клювах оливковые ветви. Аляповатые, покрашенные в дикий оранжевый цвет, они оскорбляли вкус полковника Уранова.

Хозяин, тучный и неряшливый, принял гостя с поклоном. По крутой лестнице проводил в номер.

— Половому торчать здесь не следовало бы! — недовольно обронил полковник. — Сам встречай, благо время обусловлено...

Номер плохонький. Железная кровать. Облупленный ночной столик. Кувшин для воды. Плюшевая скатерть,

серая от пыли. Диванчик черного дерматина с потертыми подлокотниками. Номер угловой, и это исключает подслушивание. Полковник брезгливо смахнул пыль с диванчика. Приоткрыл штору.

День разгулялся. В солнечных лучах горели золотые купола Девичьего монастыря. По нарядной ограде полз зеленый плющ. На площади у коновязи понуро стояли крестьянские лошади с запавшими боками. Мужики ожидали прибытия московского поезда. Извозчики вели извечную перебрапку с мужиками, гнали их, боясь, что те переманят седоков. Поезд опаздывал, и перебрапка шла больше для порядка.

Зазвонили к вечерне монастырские колокола. Полковник перекрестился. Могуче гудел большой колокол. Ему вторили колокольца, разливая серебро.

И сразу ожила пустовавшая вокзальная площадь. Появились откуда-то старухи, нищие в лохмотьях. Калека подпрыгивал на костылях. Шли купчихи в нарядных шالях. Блестели калоши на сапогах лавочников.

Полковник опустил занавеску. Среди богомольцев он увидел Волнухина, длинного, сутулого.

Волнухина Урапову порекомендовал некий Швецов, слушатель кружка пропагандистки Веры: мол, жаден до денег, будет стараться.

...Послышались тяжелые шаги. Полковник придал своему лицу приветливое выражение и открыл дверь.

Волнухин протиснулся в дверь бочком. Стянул картуз с головы, глаза опухшие, покрасневшие. Как и у большинства ткачей, у него туберкулез. Грудь впалая, в лице ни кровинки. Взгляд пастороженный.

— Ну, Иван,— Урапов назвал его почему-то Иваном,— как дела?

— Спасибо, ваше высокоблагородие.

— Письмо из деревни получил?

— Спасибо, получил... Мать шибко горюет — на

успеньев день пожар приключился. Сарай сгорел.— Волнухин поскреб затылок.— Сарай я отстроил, прежде чем в город податься. Глупый, знамо. Думал, в городе деньги лопатой гребут. На корову заработаю...

— Корову задумал купить? Дело хорошее — не в пример дуракам, которые деньги в кабак тащат. Ты, значит, из хозяйственных?

— Мне бы чуток подняться... Что за хозяин без коровы да без лошади?

— Славно, что ты хозяйственный,— Урапов с одобрением посмотрел на Волнухина.— Хорошему человеку не грех и помочь — деньги на корову получишь. Да, да... Покупай и возвращайся в деревню. И мужикам скажи, что умные люди в городе деньги накапливают, а не пропивают.

— Ваше высокоблагородие... Премного благодарен...— Волнухин схватил руку благодетеля и попытался поцеловать.

— Полноте... Полноте...— Урапов с силой вырвал руку и достал из кармана платок.— Раньше нужно дело сделать... На занятия кружка ходил?

— Ходил.

— Где собирались?

— У обгорелого пня в Жолтиковой роще. Егоров привел женщину...

— Как звать? Интеллигентка?

— Вера. Интеллигентка — не извольте беспокоиться: руки маленькие, говорит просто, да не по-нашему.

— Из себя какая?

— Красивая! Молодая, высокая, приветливая. Смеется хорошо. Глаза карие. И на щеках румянец.— Волнухин вспоминал не спеша, заметив, как цепко ловит каждое слово Урапов.

Полковник достал из кармана записную книжечку в сафьяновой обложке и с золотым карандашом. Волнухин

ежился каждый раз, когда полковник с сосредоточенным лицом начинал что-то быстро записывать. Волнухин замедлял речь, говорил, взвешивая каждое слово:

— Рассказывала о штрафах на фабрике. За опоздание на пять минут — штраф — дневная получка, за отлучку с работы без разрешения мастера — трехдневный заработок, за держание сродственников в казармах — штраф, за хождение по фабричному двору без фонаря — штраф, за курение во дворе — штраф, за кулачные бои — штраф, за игру в орлянку — штраф... — Волнухин перечислял не без тайного удовольствия, — штрафы задавили мастеровых.

Полковник молчал. Управляющие злоупотребляют штрафами, а хозяин мало интересуется делом. Нет еще в России настоящих капиталистов, которые понимали бы, что прибыль зависит от условий труда. Он был в Англии, в Манчестере, на ткацких предприятиях. Разве их можно сравнить с российскими? Его называют «западником», а что в этом плохого?

— Эта барышня Вера объяснила: лучший ткач получает за год сто девяносто рубликов, а хозяин тратит на личные расходы сто девяносто шесть тысяч и сорок девять копеек. — Волнухин произносил цифры с явной робостью. Очевидно, его сразили эти сорок девять копеек. — Все точно подсчитали, одни скаковые лошади обошлись в десять тысяч... Огромнейшие деньги-то, барин!..

— Хозяин вправе тратить деньги как ему вздумается, — обрезал полковник, проклиная в душе великого кутилу Морозова. — В городе богатые люди на проценты от капитала содержат и приют, и дом призрения.

— Правильно, и я возражал барышне, но она внесла разъясненьице: в доме для престарелых содержатся девять старух, а в приюте — пять младенцев.

Волнухин замолчал и вопросительно уставился на полковника.

Уранов по привычке барабанил по столу пальцами — нет, эти мастеровые одним миром мазаны, доверять не приходится. Вот и этот Волнухин, святоша. Скорбно глаза опустил, стервец, а сам с каким ехидством рассказывает о сборище. Сердцем-то там, с бунтовщиками.

— Барышня и о полковнике Берге внесла разъяснения. Живоглотом стал, как фабрикаптом заделался. Морозовские миллионы сняты, житья на его фабриках нет рабочему человеку. В казарме в комнате с одним окном проживает семь мастеровых, а с двумя — двадцать. Да я сам снимаю койку, на которой спим в три смены! — Волнухин оживился. — Барышня рассказывала еще о съезде врачей, так те говорят, что в казармах у нас воздуха нет! Дышим, мол, одним углекислым газом, а у ткачей, поди, через одного чахотка!

Полковник усмехнулся. Волнухин-то каков? Раскрылся, шельма! Пожалуй, сделает дело — и пусть едет в деревню; слишком много понимает.

— Егоров о тюрьме говорил. В камере заболел рабочий, а надзиратели отказались вызвать врача. Дело было в понедельник, решили ждать обхода до пятницы... Значит, тому подыхать? — Волнухин с опаской посмотрел на полковника. — Политические объявили голодовку, потребовали врача. Врач-то пришел, но тепленький и начал скандалить в камере... Такое поднялось...

Полковник уже не слушал Волнухина. Он знал эту историю. Тюремный врач пьянствовал, брал взятки, выписывал за мзду освобождение от работы, а то и от карцера. Из городской больницы его выгнали, а тюрьма подобрала. И дело дошло до скандала. В камере лекарь отвел душу и заявил политическим: «Чем скорее здесь сдохнете, тем казне бóльшая прибыль. Баре какие беспортошные, врача во время отдыха беспокоить вздумали!» И брань... А в камере в беспамятстве метался человек. Политические подняли бунт. Слава богу, начальник

тюремны догадался отправить больного в город. Но случай стал достоянием социалистов, судя по информации Волнухина, значит, попадет писакам на зуб, и начнется светопреставление. Запросы, памфлеты, листовки, полгода не отплеваться.

— Барышня раздавала листовки...

Полковник молча протянул руку. Листовка призывала поддержать стачку на фабрике Морозова. Полковник быстро пробежал ее глазами:

«Морозовские ткачи, стекольщики — все, кому дорого общее дело, все, кто признает человеческое достоинство и не равняется с бессловесной тварью,— бастуйте! Требуйте 8-часового рабочего дня, увеличения заработной платы, вежливого обращения... Бастуйте же, товарищи, не забывайте: сегодня наш черед, а завтра будет ваш, вы поддержите нас, мы откликнемся на ваши призывы. Все за одного, один за всех!

1903 год.

Тверской комитет РСДРП».

Листовка обычная, но комитет, значит, существует. Последние месяцы листовки таким образом не подписывались. Громова, прибывшая из Парижа, вошла в комитет. Значит, путь к комитету через Громову... Комитет законспирирован, и пока никому из осведомителей не удалось туда проникнуть.

Не первый раз полковник сражался с комитетом, ибо считал, что, прежде чем обезвредить политическое движение, нужно обезглавить его. Комитетчики знали об этом и иронизировали в листовках: «Усердия у бравого полковника много, а результатов мало — комитет-то уцелел!» Да, к сожалению, уцелел...

Полковник приказал с той особой мягкостью, которая хуже любой строгости:

— Интеллигентка Вера? Гм... Дружок, попытайся с ней сблизиться. Умные вопросы задавай, хозяев поруги-

вай. Не стесняйся — все на пользу делу. Человек ты сметливый, желчный, да и хозяина не шибко любишь. — Полковник пересилил себя и благодушно усмехнулся. — Знаю, знаю... Кто без греха! Барышню Веру проводи, случаем, из Жолтиковой рощи в город. Конечно, барышня попытается скрыться, чтобы ты не мог установить ни дома, ни улицы. Понимает, по адресу легко обнаружить, кто такая эта пропагандистка Вера. Скроется — не беда, человек — не иголка в стогу, отыщется в Твери. Как доведешь ее до дому, запомни и прямым ходом сюда. Как проследим твою Веру, так и получишь двадцать пять рублей на корову... Дело тонкое, деликатное, и я очень на тебя надеюсь.

Наталья Николаевна

Конкордия жила у своей старшей сестры Натальи Николаевны. Ее муж был смотрителем духовного училища в Твери.

Иннокентий Иннокентьевич пользовался в городе уважением. Добрый, мягкий, и к родственникам жены благоволил. Конкордия, приехавшая из Парижа, была принята радушно. К ее возвращению приехала из Иркутска матушка Любовь Петровна и младшая сестра Калерия. Все собрались под одной крышей. Найти причину, которая бы позволила снимать комнату в другом месте, Конкордия не могла. Этого бы не поняли ни сестры, ни матушка, ни Иннокентий Иннокентьевич.

Жить под одной крышей, чем так гордились в семье, оказалось сложно. В первые дни много говорили о Париже, вспоминали детство. Но прошли дни радости, прошло и праздничное настроение от встречи. Потекли будни.

Конкордию Николаевну ввели в комитет, работы было непочатый край. Она вела кружки, печатала проклама-

ции, доставляла их на фабрики, заседала в комитете, ссорилась с противниками готовившегося съезда партии — и, конечно, редко бывала в семье. И в доме начались неприятности. Куда так часто уходит Конкордия? Появилась отчужденность, и повисла настороженная тишина, которая всегда предшествовала взрыву. Матушка выходила к столу с заплаканными глазами, сердился Иннокентий Иннокентьевич, затаилась Калерия. И Наталья Николаевна решилась на разговор.

В поведении Конкордии пастораживало все: и постоянные отлучки из дому, причины которых она не желала объяснить, и появление в обществе нигилистов (для Натальи Николаевны нигилистом был каждый, кто носил черную шляпу и пенсне), и книжонки на плохой бумаге, спрятанные под подушкой. Судя по всему, сестра не изменила своего образа жизни, который едва не довел до беды. Столько всеми пережито. Бестужевские курсы... Арест... Высылка из столицы... Конкордия ничего не рассказывала старшей сестре, но правду скрыть не удалось. Та поехала в Петербург и все узнала от знакомых. При аресте Конкордии нашли револьвер. Как раз Карпович убил министра просвещения. В полиции можно было плести сказки о том, что она, сибирячка, с детства привыкла к оружию, что с покойным батюшкой хаживала на охоту, что револьвер привезла в Петербург для самообороны. Кстати, батюшка в жизни не убил и мухи. Иркутск не глухая тайга, в их семье оружия не водилось... Конечно, оружие сестре передал кто-то из нигилистов, опасаясь обыска. Значит, Конкордия водилась с теми, кто и оружие имеет? Хороши знакомые! Боже мой, сестра потеряла сострадание к матери, позорит имя отца.

Наталья Николаевна от этих раздумий испытывала горестное чувство. Начиналось сердцебиение, тяжкое удушье. Она все время ждала беды, которая должна была обрушиться на их семью. В отчаянии хваталась за голо-

ву и повторяла в безудержном гневе: «Бесстыдница! Эдакая бесстыдница! Совесть потеряла. Не безродное перекати-поле. Слава богу, есть и матушка, и сестры — и так вести себя».

А этот отъезд в Париж! Хлопоты с паспортом, хождения в министерство... Если бы не привели в движение связи по линии Синода, то и паспорта бы не получила. И она, и матушка считали отъезд спасением... В Париже образумится: музеи, театры, магазины...

Наталья Николаевна провела в Париже медовый месяц. И с удовольствием вспоминала Елисейские поля, прогулки по набережным Сены, поездки в Версаль, веселую парижскую толпу... Париж казался раем, где царили радость, веселье, успех. Этот город поможет излечить сестру от безумных социальных идей, ибо, побывав в этом раю, каждый здравомыслящий человек должен понять, как нужно ценить жизнь, как прекрасно женщине всегда оставаться женщиной и как легко опрометчивым поступком все погубить.

Она не застала Конкордию в ее комнате. И опять заняло сердце, предчувствуя недоброе.

Комната была просторной и светлой. Сестра все еще оставалась для нее девочкой. И она готовила комнату с любовью. Кружевные накидки на постели. Туалетный столик. Цветы в вазах. И аквариум, как в детстве. В прошлом, казавшемся с высоты прожитых лет светлым и безоблачным, Кона возилась с рыбками, делала причудливые гроты из ракушек.

Наталья Николаевна часто вспоминала родимый дом в Сибири и Кону в коротеньком платьице, стоящую у аквариума. Лицо прижато к стеклу, нос расплюсчен, глаза широко раскрыты. И такое в этих глазах превеликое любопытство!

Наталья Николаевна взяла со столика портрет Конкордии. Строгий овал лица. Густая длинная коса, нос чуть

вздернутый, не без задорности, красивый и маленький рот. Но главное очарование в глазах, мечтательных и грустных, требовательно ожидающих чего-то.

Вздохнув, она поставила портрет на место. Когда-то с сестрой они делились всем. И кто бы мог предположить, что так далеко разойдутся их пути, что возникнет отчуждение и в их патриархальный дом придут такие огорчения!

Когда все началось? Когда?

На столике — листы линованной бумаги. Наталья Николаевна поднесла лорнет к глазам. Почерк сестры, правда, текст написан большими печатными буквами:

«Есть на Руси много болванов, и первый из них наш царь Николай Романов!»

Наталья Николаевна опустилась на диван, потрясенная. Тупая боль сжала сердце. Она поднесла флакон нюхательной соли к лицу и, ощущая липкую противную дрожь, прикрыла глаза. Проскрипели настенные часы, и громкий бой заполнил комнату. Вошла Конкордия. Сняла шляпу и удивленно посмотрела на сестру. Наталья Николаевна молча протянула листовку. К глазам приложила платок. Плакала, не сдерживая рыданий.

«Опять сцена... — поморщилась Конкордия. — Сейчас придет матушка, и начнутся уговоры, слезы... Нужно уехать и снять комнату...»

— Кона... Значит, есть на Руси много болванов... И это о царе-батюшке, богоданном... — Наталья Николаевна от возмущения задохнулась. — Такие откровения из-под пера дворянки...

— Рифма не из лучших, но по смыслу неплохо... Ты придержишься другого мнения?

— Кона, я отказываюсь говорить в таком тоне. Ты забыла все, чему учили и дома, и в гимназии. Русь сильна верой в царя, наместника бога на земле. Царю отдал свою жизнь и твой отец.

— Русь сильна пародом русским, и этим народом неумело и преступно управляет царь! — словно отрезала Конкордия. — Учили меня святым глупостям... И с большим трудом от них приходится избавляться.

— В тюрьмах и на сборищах с мастеровыми! — гневно выкрикнула Наталья Николаевна. — Ты пользуешься слабостью матушки, ее любовью и тем, что нет в живых отца!

— Это нечестный прием в споре! Нечестный... Мы говорим об убеждениях, политике, а ты взываешь к чувствам и дочернему долгу. Впрочем, бывают и такие случаи, когда дороги отцов и детей резко расходятся, но это не мешает сохранять взаимное уважение и любовь.

— Какие страшные речи! Да ты оправдание уж придумала.

— Оправдание придумала не я, а жизнь. — Конкордия с грустью смотрела на сестру. Раздражение, неожиданно вспыхнувшее, улеглось. Она старалась оправдать сестру. — Софья Перовская была приговорена к смертной казни, легко можно представить, что переживала ее мать. При последнем свидании мать ни о чем не расспрашивала дочь и не упрекала ее, а просто гладила по голове, как в детстве, и этим помогла ей найти силы в смертный час. Вот она, истинная материнская любовь! А мать не разделяла ее убеждений. Ласкала ее, готовила к той страшной черте, за которой начинается небытие.

— Софья Перовская — цареубийца! — закричала Наталья Николаевна, вповь теряя самообладание. В этом споре она не могла уступить сестре.

— А Вера Фигнер? — Конкордия не могла прекратить спор, хотя и понимала его бессмысленность. — Вера Фигнер в своей речи на суде говорила об уничтожении абсолютистского образа правления. И ее приговорили к смертной казни. И она познала оскорбительный ритуал смертницы. Было на Руси и такое!.. Позорное рубище...

Вопючая солома... И тут произошла встреча с матерью сестрой! Сестра передала букет чайных роз. Мать не упрекала дочь. Она не понимала ее действий, но уважала ее идеалы.

— Кона, девочка...— заплакала Наталья Николаевна, прижав голову сестры к груди, покрывала ее лицо поцелуями.— Страшно... Очень страшно...

— Не волнуйся, Наташа! — мягко сказала Конкордия.— Я не цареубийца. Есть другой путь борьбы, есть другая правда... Я не могу изменить свою жизнь. Считаю это бесчестием. Я вижу, как страдает народ, а главное — я знаю, как ему помочь. Могу ли я послушаться голоса совести?

— А матушка? Калерия? Я? Калерия молится на тебя и готова быть рядом. Что тебя ждет? Каторга? Плаха?

— Плаха? Это из области романтизма, Наталья! — Конкордия невесело улыбнулась.— Матушка меня простит. У нее большое и доброе сердце. Калерии нужно многое узнать, чтобы решить свою судьбу. Что касается тюрьмы, то зарекаться не приходится... Впрочем, проживем — увидим!

Наталья Николаевна вытерла слезы.

— Кона, мы с матушкой собираемся в Троицкую церковь за Тьмакою. Знаю, благочестием ты не отличаешься, но это очень старинная церковь.

— Согласна, если с матушкой,— постаралась закончить разговор Конкордия Николаевна.

Наталья Николаевна поцеловала сестру и, шурша юбками, вышла из комнаты.

Был октябрь, теплый и сухой. Листья осины, тропутые первыми ночными заморозками, рвал ветер.

Конкордия Николаевна бережно вела матушку под руку... В октябре на Скорбященской площади липы все еще были в листве.

Конкордия Николаевна радовалась и солнцу, и доброму настроению матушки, и веселости Калерии, и горделивой важности Натальи, и нетерпению Иппокентия Иннокентьевича.

Семья в полном сборе шествовала воскресным днем по улицам Твери. Чинно и достойно. Раскланивались со знакомыми, встречали одобряющие взоры молодых людей. Матушка словно помолодела.

У Скорбященской площади были сыпучие пески. Поднимались высокие сосны, как свечи, золотились стволы с потеками смолы. Ветер с Волги шевелил пески, играл засохшей травой. И только Тьмака, мутная и грязноватая, уныло катила свои волны. За мостом высилась Троицкая церковь.

Иннокентий Иннокентьевич, который замыкал процессию, робко поглядывал на Конкордию Николаевну. Открытый и независимый характер девушки внушал ему, робкому и молчаливому, почтение. Он страдал оттого, что его супруга так решительно осуждает сестру, по ни во что не вмешивался. Верил, что Наталья Николаевна во всем разберется сама, ведь воспитывает она детей, руководит семьей. Сам Иннокентий Иппокентьевич все время проводил в училище да изучал старину, до которой был великий охотник.

— Иннокентий Иннокентьевич, что же вы примолкли? — обернувшись к нему, спросила Конкордия Николаевна. Лицо ее светилось радостью. — Ведь никто не сможет так рассказать о Троицкой церкви, как вы, а из вас и слова не вытянешь.

— Ну, девицы-красавицы, — Иннокентий Иннокентьевич был польщен. — Это явное преувеличение, хотя и приятное, а история монастыря, действительно, удивительная. Церковь извела и набеги, и вражьи осады. Господь хранил ее, и за три столетия она ни разу не горела. Под ее сводами укрывались женщины и дети,

через оконца-бойницы осажденные отбивались от врагов. По преданию, на сводах осталась кровь: смерть уравни-
васт всех — и нападающих, и осажденных. — Иннокентий
Иннокентьевич осенил себя широким крестом. — Бывало,
враг падал нежданно, и тверичи не успевали скрыться
под спасительными сводами. Битва вскипала у ограды.
Кровь лилась рекой и через эти отверстия, что продела-
ны для воздуха, и падала на голову тех, кто жарко мо-
лился за своих погибающих собратьев. История — крова-
вая мельница, а крылья ее — судьба. — Иннокентий Ин-
нокентьевич умолк и взглянул на жену. Он явно стыдил-
ся своего порыва. Помолчав, продолжил уже спокой-
нее: — В церкви три придела... Гигантский брус соеди-
няет арки в главном алтаре. Массивные своды поддержи-
ваются столбами. Да-с, строили на века!

Конкордия с интересом слушала шурина. Действи-
тельно, знаток. И все же Наталья подавляла его! За-
молчал и будто постарел.

Троицкая церковь не радовала глаз: мрачные оконца,
зажатые зелеными решетками, смахивали на тюремные.
И света-то не пропускали, а по ним лилась кровь! Мас-
сивные ставни кованого железа... И было непонятно, ка-
ким образом их подняли на такую высоту.

— Царские врата — главная достопримечательность
церкви. Бесценная мозаика из слюды, вызолоченная резь-
ба... — Иннокентий Иннокентьевич вновь воодушевился. —
Над царскими вратами — Благовещенье — Пресвятая дева
и склонившийся над ней архангел. Искусство, высочай-
шее искусство!

Матушка щедро раздавала пищим милостыню. Без-
рукий калека держал во рту деревянную чашу. Карлица
отрепленно тянула псалмы. Матушка вложила монету в
ее руку. Грязный мальчишка с тонкой шеей, папоминав-
ший голодного галчонка, тихонько канючил. Старик, за-
росший, как леший, стучал костылями. И в его кружку

упала монета. Калеки трясли лохмотьями, крестились, обнажая уродство и нищету.

Конкордия Николаевна была недовольна собой. Не сдержалась в разговоре с сестрой. Старина... Умные рассказы... А боль какая? Сил нет смотреть на людские страдания и унижения.

— Кона, как ужасно! — Калерия с трудом сдерживала слезы. — Я читала в «Ниве», что злые люди воруют детей и уродуют их, чтобы они жалостливее выглядели на паперти. Есть какие-то шайки, есть главари, которые нещадно бьют этих несчастных.

— Сколько нужно сделать, чтобы эту нищету уничтожить! — Конкордия помогала матушке подняться по лестнице. — На морозовской мануфактуре бедность не меньшая. В казармах — рахитичные дети, прозрачные до синевы, на кривых ножках, с раздутыми животами. Смрад. Духота. Зловоние. На полатах спят в три смены. Одеяла из грязных лоскутов да тряпье, — им выгораживают угол семейные. Нищета попирает человеческое достоинство, и, пожалуй, она страшнее, чем эти убогие... Из уродства сделать профессию! Нет, такое возможно только на Руси.

— Кона... Калерия... Девочки мои... — Матушка с укоризной взглянула на дочерей, затеявших неподобающий разговор. Она приложилась к иконе Спасителя, перекрестилась. — Помолитесь, родные, и постарайтесь обратить свои души к богу.

Спаситель загадочно взирал на них с почерневшей от времени доски. Серебряный оклад вспыхивал красноватым отсветом в дрожащем пламени лампы. В церкви было немного народу. Приглушенные голоса, отталкиваясь от сводов, падали подобно тяжелым всплескам дождя. В одном из приделов стоял гроб, окруженный желтым светом горящих свечей. Летучими мышами сустились монашенки. Вдова с распухшим от слез лицом, видимо,

не могла поверить в случившееся. И, казалось, ждала, что смиренные монашенки, праздные взоры случайных людей, сладковатый запах ладана — все это исчезнет, как кошмарный сон.

Матушка, богобоязненная и сострадательная, с низким поклоном поставила свечу и перекрестилась.

— Обращаю ваше внимание на святое изображение Благовещенья. Нить, которую прядет святая дева, красного цвета.— Голос Иннокентия Иннокентьевича понизился до шепота.— Дубовая доска, та, что у алтаря, скрывает вход в подземную галерею, там церковное имущество...

Конкордия с горьким недоумением посмотрела на шурина. Для него ничего не существовало, кроме этой старины. «Благовещенье... Преданье... Ангел с оливковой ветвью...» А у гроба вдова и маленький сынишка. Старуха мать и нищие родственники. Обыватель, как он страшен в личине рачителя старины и добросердечия.

Наталья Николаевна тихо взяла сестру за локоть. Не забывая отвечать поклоны, спросила у мужа:

— Говорят, Троицкая церковь очень богатая?

«Наталья — достойная подруга своего мужа-обывателя. Нет, нужно уезжать из этого дома. Матушка с Калерией собираются в Петербург, вот и прекрасный случай перебраться в столицу».

— О сокровищах Троицкой церкви ходят легенды. Архимандрит Сергей, тот, кто присутствовал при венчании на царство царя Федора...— доносился громкий шепот Иннокентия Иннокентьевича,— сделал подарок царю. Брильянт чистой воды...

— Иннокентий Иннокентьевич, мне кажется, вы увлеклись.— Конкордия с трудом сдерживала неприязнь.— Видеть такое горе вокруг и думать...

— Кона, Кона... Такие речи в храме божьем? —

всплеснула руками матушка и силой повела дочь к выходу.

Наталья Николаевна понимающе переглянулась с мужем. Этого и следовало ожидать! Какая неблагодарность! Социалисты вскружили ей голову.

Калерия старалась не смотреть на старшую сестру. Видно, и она разделяла возмущение Конкордии.

Возвращались из Троицкой церкви невесело. Конкордия Николаевна хмурилась и ругала себя за несдержанность. Калерия робко взглядывала на Иннокентия Иннокентьевича. Она не могла так бурно, как сестра, проявлять свои чувства. Наталья Николаевна была оскорблена: Конкордия совершенно забыла о приличии. Иннокентий Иннокентьевич не понимал причины отчуждения свояченицы и сутулился пуще обычного. Матушка Любовь Петровна совсем растерялась: надеялась, что они всей семьей помолятся, и в доме наступит мир и благолепие, как в Иркутске. А получилось нехорошо — пропасть, как полынья в ледоход. Откуда у Кони такая непримиримость и горячность? Как направить ее по иному пути? Живет же Наталья в довольстве и счастье!

— Иннокентий Иннокентьевич, я получила письмо из Иркутска. — Конкордия, уловив одобрительный взгляд матушки, завела разговор с шурином. — В духовной семинарии волнение. Воспитанники ходили на митинг в лес, произносили крамольные речи.

— Беда... Беда... И мне прислали письмо — в семинарии аресты, иных приговорили к штрафу. Там местное общество повело себя непозволительно — прямо в зале суда пустили подписной лист, чтобы помочь виновникам избежать наказания. — Иннокентий Иннокентьевич оживился. Он уже забыл об обиде. — Слава богу, у нас в училище все спокойно. Правда, запрещенные книги и мы изымаем из тумбочек.

— О чем только думают в Иркутске! — вмешалась

Наталья Николаевна, но, перехватив испуганный взгляд матушки, умолкла.

На мосту им повстречались мастеровые. Конкордия скосила глаза. Волнухин, кружковец, лениво перебрасывался словами с городовым. Стоял праздно. Глазами кого-то искал в толпе богомольцев. Почему с ним городской? Откуда такое приятельство?

Конкордия Николаевна опустила кружевную накидку. Повернулась к Калерии, которая с нежностью жалась к ней. Конкордия Николаевна не опасалась Волнухина, но встречаться с ним почему-то не хотелось. Обычно она приходила в Жолтикову рощу переодетая работницей. Провожал ее Егоров, связанный с Тверским комитетом. Мастеровые берегли пропагандистов и любопытства не проявляли. Более того, провожали, чтобы филеры ненароком не увязались. И все же ей не хотелось, чтобы Волнухин узнал ее в обществе Иннокентия Иннокентьевича, ему любой городской скажет, что тот — смотритель духовного училища. А если что, то подлинную фамилию ее установят, как и принадлежность к Тверскому комитету РСДРП.

Волнухин облокотился на перила моста и бросил окурок в Тьмаку. Городовой, приветствуя Иннокентия Иннокентьевича, взял под козырек.

Конкордия Николаевна оценила деликатность Волнухина. Наверняка ее заметил и отвернулся.

Узел белья и извозчик

И все же встреча с Волнухиным насторожила Конкордию Николаевну.

Как-то в Париже она присутствовала при разговоре Владимира Ильича с товарищами из России. Речь зашла о конспирации. Припомнили времена, когда кто-то из

пропагандистов ходил по селам. Пропагандист выдавал себя за крестьянина. Все было прекрасно. Побеседовали, хозяин уложил своего гостя спать на сеновале. Утром тот умылся и решил почистить зубы. Крестьянин смекнул, что дело нечистое, и отвел беднягу к становому. Документы оказались в порядке, но крестьянин божился, что гость его — не тот, за кого себя выдает. «Барин, истинный барин: умывается и зубы чистит!» Владимир Ильич смеялся и заметил, что в конспирации нет мелочей.

Да, действительно, в конспирации мелочей нет.

Город еще спал, когда она выскользнула из дому. С узлом, куда сложила ситцевую кофту, застиранную юбку, жакет из вельвета. Обычно так одевались фабричные девушки.

У пекарни торчал городской с толстым животом и висячими усами. Наталья Николаевна принимала его по праздникам на кухне и высылала с горничной рубль. Городовой козырнул барышне и опять застыл. Пекарня занимала первый этаж дома. На вывеске краснолицый мужчина, напоминавший городского, с французской булкой в руке, а на другой у него болталась связка бубликов, смахивающих на колеса.

Конкордию Николаевну смешил и этот улыбающийся толстяк с вывески, и бублики, и хозяин, проводивший день-деньской на лавочке. Он был в валенках да жилете на заячьем меху. Хозяин пекарни поклонился барышне и уставился на узел, который она несла.

Девушка нахмурилась — несчастье провинциальных городов, где все знают друг друга. И еще. Попробуй продержаться на воле, когда начальник губернского жандармского управления полковник Уранов делает карьеру.

Она свернула на Дворянскую улицу и столкнулась с Волнухиным. Чудеса... Ранний час... Пустынная улица... И Волнухин... И опять почувствовала неясную тревогу. Неужели следит? Нужно поговорить с Егоровым.

Конкордия нырнула в проходной двор. Вот и знакомое парадное. К счастью, на втором этаже живет зубной врач.

В городе несколько зубных врачей, и адреса их хорошо известны Конкордии Николаевне. У одного из них, Свиридова, явка. И прежде чем прийти на эту явку, приходилось обходить квартиры других врачей, чтобы сбить с толку наружное наблюдение. Конечно, если оно имеется. Наблюдения она не замечала, но Куделли предупреждала о коварстве полковника Уранова.

На звонок вышла заспанная горничная. Конкордия Николаевна предусмотрительно оставила узел в прихожей. Горничная, зевая, попросила ее подождать.

Конкордия Николаевна подошла к окну, отодвинула занавеску. На углу стоял Волнухин и смотрел на парадное.

Врач широким жестом пригласил ее в кабинет. Пожевывая длинный ус, попросил открыть рот. Покопался там какими-то крючками и, сохраняя невозмутимость, хотя, очевидно, был удивлен столь ранним визитом, посоветовал укреплять десны дубовой корой. Зубы были в порядке. Спасибо Куделли, надоумила жаловаться на кровоточивость десен.

Ушла от врача черным ходом. Взяла узел и посетовала на бедность тетки, которой якобы несла вещи. Во дворике, зажатом домами, пахло сыростью. Под кустом бузины грелся на солнышке черный котенок с тонкой шеей и большой ушастью головой.

Конкордия Николаевна оказалась в тихой улочке с разросшимися кустами бузины, серебристой полынью и сухим репейником. Домишки маленькие, словно выросли в землю. На окнах полыхала герань. Прыгали чижи. Дворник в белом фартуке и валенках скреб метлой, перегоняя опавший лист.

С площади доносился бой часов. Значит, семь!

Свиридов, хозяин явки, жил у Смоленской церкви. Идти было недалеко, но Конкордия Николаевна не решалась прямой дорогой отправиться на явку. В конспирации нет мелочей — это святой закон!

Еще одна булочная. И опять вывеска вдоль дома. Румяный мужчина, баранки, крендели. В Твери не жалели красок на вывески. Зашла и купила калач, пахучий, горячий. У ног завертелся котенок. Он казался близнецом тому, что сидел под кустом бузины, но был обладателем круглого живота. Кинула кусочек калача и, улыбаясь, смотрела, как котёнок вгрызался в него мелкими острыми зубами.

Пожалуй, пора было и на явку. Конкордия Николаевна привычно оглядела улочку. Наваждение — опять Волнухин. Натянул картуз на глаза и вышагивал, накручивая конец кушака на палец.

Конкордия Николаевна прижалась к стене и не спускала глаз с Волнухина. Тот подошел к дворнику, закурил. Поблагодарил и приподнял картуз. Ее удивило его лицо — страдающее и усталое. Складки у рта, мешки под глазами. Вчера в Жолтиковой роще он говорил о пожаре, приключившемся дома, и о своей мечте — купить корову. Значит, поденщиной подрабатывает. Вот и шатается по городу. Но все-таки надо быть настороже.

Наконец Волнухин скрылся за поворотом.

Подхватив узел, Конкордия Николаевна направилась на нужную ей улицу. В городской библиотеке ждали новинок из Петербурга. И вновь в скверике у клумбы, размытой дождями, Волнухин. Развернул газету «Тверской вестник» и греется на солнышке.

Случайность? Нет... И место избрал — городская библиотека. Здесь обязательно сыщешь нужного человека. Выслеживает?

Она нырнула в парадное и пристроилась у окна на лестнице. Волнухин газету не читал. Скучал, чтобы убить

время. Выслеживает, подлец, конечно, выслеживает. Значит, встреча на мосту не была случайной. Охранка заинтересовалась ею, и Волнухин выслеживает, чтобы полковник Уранов мог установить фамилию девицы, которая ведет рабочие кружки в Жолтиковой роще. Плохо... Плохо... И почувствовала, как краска залила лицо — да он, прохвост, кружковцев выдаст охранке! Провокатор... Провокатор...

Пробили городские часы. Забасили колокола собора. Бой часов утонул в плавном и могучем перезвоне.

Волнухин сложил газету, сунул в карман и побрел в пивную. А вот и филер. Респектабельный господин в шляпе, надвинутой на глаза. В черной крылатке, с тростью. Перекинулся с Волнухиным несколькими словами и скрылся.

Конкордия Николаевна и на этот раз зашла к дантисту. Снова пахло хлороформом, угрожающе поблескивали инструменты, и она широко раскрыла рот.

На улице ни филера, ни Волнухина. Голосил лоточник с раками. Медленно ехал извозчик. Верх пролетки откинут — теплый день. Извозчик уныло перебирал вожжи и зевал, поглядывая по сторонам.

Конкордия Николаевна вскочила в пролетку. Прижалась к сиденью, перевела дыхание:

— На вокзал! К московскому поезду!

Из пивной торопливо выбежал господин в крылатке и замахал тростью:

— Извозчик! Извозчик!

Конкордия Николаевна вздрогнула от неприятного и произительного голоса, оглянулась. Волнухин не появился на площади, но в окне пивной она его заметила. Значит, высиживал в пивной, выслеживал... Механика простая: Волнухин передал ее филеру. Филер не из местных, трехрублевых, а столичный.

Филер метался по площади. Конкордия Николаевна

радовалась: Тверь не столица, и извозчика на каждом углу не сыщешь. Славно, славно... Но радовалась недолго. Из переулка, где и домов не более десятка, выкатил извозчик. Лошадь сытая. Да, столичная школа слежки — шпик преследовал жертву пешочком, а извозчик поджидал в тихом переулке!

— Гоши, голубчик, к тетушке спешу... — Конкордия Николаевна решила попетлять по городу. Если не удастся оторваться, то пробудет некоторое время на вокзале. Арестовать ее не должны — рано, значит, главное — не провалить явок.

Извозчик привстал, щелкнул кнутом и, нахлобучив картуз, загикал.

Как-то в Петербурге, в бытность ее на Бестужевских курсах, она оказалась в подпольной типографии. Брала листовки, отпечатанные по случаю студенческих волнений. Неожиданно вбежала Фокина, та самая, на квартире которой ее позднее арестовали. Обычно сдержанная и насмешливая, Фокина казалась неузнаваемой. Побледневшее от волнения лицо, выбившиеся из-под шляпы волосы, трясущиеся руки. И голос испуганный и дрожащий. Стали ее утешать, и Фокина с ужасом рассказала, как за ней началась слежка, как села на извозчика, как ее преследовал шпик тоже на извозчике. Страшнее этой слежки нет: за спиной храпит лошадь, цокают копыта, оглобли упираются в спину.

Конкордия Николаевна металась по городу. Заволжская часть, берега Тверцы, городская больница, «Общество врачей» — за ней всюду гнался шпик.

Косился извозчик: барышня попросту теряет время, а не разыскивает заболевшую тетушку. Ну да ему какая беда — поди, заплатит!

И все же Конкордии Николаевне удалось оторваться от преследования. Спас ее обоз. Степенные мужики шли рядом с подводами, понукая притомившихся лошадей.



На подводах бревна, укрытые рогожей. Подводы перегородили улицу, мужики вступили в перебранку с извозчиками.

На явку к Свиридову, дантисту, она добралась с большим опозданием. Свиридов выразительно показал на часы и покачал головой. Конкордия Николаевна схватила свой злополучный узел и закрылась в боковой комнате, где она обычно переодевалась. Торопливо стащила платье с матросским воротником, модным в этом сезоне, высокие ботинки. Натянула ситцевую юбку, вельветовый жакет, спрятала волосы под платок.

Свиридов заставил ее выпить стакан молока. Усадил на кухне и гремел посудой. Заметил ее волнение и усталость, но расспрашивать не стал: сама расскажет, если найдет нужным.

— Берите, сметанная булочка. Смолоду здоровье не бережем, думаем, до самой смерти не истратим, а потом спохватываемся, да поздно!

Дантист слыл добряком. Сын его отбывал каторгу за побег из Минского централа. Исключили из университета. Посадили за пропаганду. События разворачивались так трагически, что и каторге радовались. С тех пор и стали для него близкими молодые люди, появлявшиеся на квартире с замысловатыми паролями. Он их кормил, втайне надеясь, что и в Сибири кто-то поможет его сыну. Возможно, он обманывал себя, но по-другому поступать не мог. Жизнь становилась бесцветной и унылой без этих стремительных визитов.

— Сегодня меня дворник Степан с днем ангела поздравил, — дантист улыбнулся. — Самый простой способ получить на водку. Рассказывал о Логинове, ткаче. Логинова будут судить... В тюрьме он тяжко заболел и наговаривает на себя всякие небылицы про убийство какое-то. Повиниться — это в русском характере. Величие Достоевского в том, что он это понял. Жаль парня... Про убий-

ство правду-то мало кто знает, а от страха у обывателя глаза на лоб лезут.

Дело Логинова взбудоражило весь город. Конкордия Николаевна, торопливо глотая горячее молоко, ответила:

— Нужно разобрать в кружках дело Логинова... Со всеми подробностями и выводами. И пропаганда живая, и ситуация касается каждого. Кстати, кружковцы меня поразили — на первом занятии попросили не рассказывать о прибавочной стоимости.

— Почему? — Доктор поправил очки. — Это же основа политической экономии.

— И я удивилась. А они мне объяснили. Пропагандист приходит на занятия кружка, начинает им рассказывать о прибавочной стоимости и больше не появляется. Через какое-то время появляется новый пропагандист, и опять заводит разговор о прибавочной стоимости, и снова пропадает. Вот кружковцы из-за суеверия и попросили меня не говорить об этом. И смех и грех. — Конкордия Николаевна улыбнулась. — Почему так часто проваливаются пропагандисты?

— Не без причины, голубушка! — Свиридов почесал бороду. — Не без причины... Если хорошенько подумать, истину отыскать можно.

— Да виновных за ушко и на солнышко! — согласилась Конкордия Николаевна и, взглянув на часы, заторопилась. — Пора. На фабрике Берга кончается смена. Мне кое-кого надобно повидать, а там и в Жолтикову рощу на занятия. За маскарадом зайду вечером.

— Фабричным девушкам, да с такой косой, — рад-радешенек! — Свиридов любовался Конкордией Николаевной.

Дело Логина

— Послушай, браток, есть разговор.— Василий, невысокий паренек с фабрики Берга, чиркнул спичкой и закурил. Лицо его, освещенное огнем, было лукавым.— Да, Егоров, разговор.

— Завел свою волынку. Ты без разговоров не можешь.— Егоров поглубже надвинул кепку и растянулся на сухом листе. Но именно за разговорчивость он и взял парня в «секрет».

Они охраняли кружковцев от казавшегося невероятным и все же возможного появления полиции. День выдался тяжелый, Егоров бегал по городу, оповещал кружковцев о занятиях, потом в назначенный час в трактире у заставы встретил Веру, пропагандистку, чтобы отвести ее кратчайшим путем в Жолтикову рощу. Шуршал опадавший лист, кружил и словно неохотно устилал малоприметные тропки. Потрескивали сучья. Лес казался полным шорохов. Приходилось забираться в чащобу, подальше от опасности. Вера не отставала ни на шаг. Егоров удивился, как легко и свободно она шла по лесу, погружавшемуся в синеющую темноту. Кружковцы собирались у обгорелого пня — место уединенное, прикрытое с трех сторон болотцем, а у тропки — густым орешником. На занятия приходили поодиночке, с осторожностью, боясь привести хвост. И хотя все уже собрались, Егоров не решался покинуть березки, где они укрывались с Василием. Он всматривался в тропинку, которую заволакивал туман, вслушивался в крики сойки, боясь услышать звон шпора да вороватые шаги. Но все было тихо, и он стал понемногу успокаиваться. Тверской комитет поручил ему охрану кружковцев и особенно Веры, пропагандистки. Время тянулось медленно. Сидел он в «секрете» не первый раз, вынужденное бездействие его угнетало, поэтому он и взял с собой Василия, расторопного паренька, которого

любил за легкий нрав. Парень был надежный и смешливый.

— Сказывают, полковник Уранов обещал выдать тому, кто укажет комитетчика, две тысячи наградных. Значит, досадили комитетчики полковнику! — рассказывал Василий. — Размяться-то самое времечко. Сидишь сычом, а н ноженъки и затекают. И так девки болтают, что больно я нежный! — Василий поднялся с земли и начал растирать одеревеневшие ноги. — Беда, когда о двух тысячах наградных узнает наш Волнухин — он корову задумал покупать.

Егоров поморщился: жадность к деньгам Волнухина ему тоже была известна.

— Две тысячи? Это по-царски! — засмеялся Василий.

— Дурья голова, «по-царски»! — Егоров понимал, что Василий скоморошничает. — Деньги-то за предательство!

— Вся своя и себя господу предадим! Господь принес себя в жертву за нас. — Голос у Василия стал елеиным. — Коли господь за нас страдал, так греха бояться нечего. Вот и разделим эти две тысячи с Волнухиным поровну. А? Нет, мне бóльшую часть: Волнухину деньги на коровенку нужны, а мне — чтобы одаривать девок!

— Трепло ты, паря! — Егоров похлопал Василия по плечу. — Была не была — наши все прошли, давай слушаем Веру.

— Смотри, ты главный! — сразу посерьезнел Василий и загасил окурок. — Послушать умного человека всегда хорошо, ты не бойся, я буду на самом краю сидеть.

«Секретчики» подсели к остальным.

В Жолтиковой роще кружковцы собрались в последний раз. Осень выдалась теплая. У обгорелого пня потрескивал костер. Спорили о безобразиях, творимых на фабриках, да мечтали о хорошей жизни, к которой звала пропагандистка Вера.

Волнухин сидел насупившись, воротник пиджака под-

нят. С пропагандисткой старался не встречаться взглядом, в споры не вступал, курил, перебирал одному ему ведомые мысли.

— Слыхали, братва, про две тысячи полковника Уранова? — начал Василий.

— Две тысячи... Многовато... — поддержал его дядя Дмитрий, пожилой, степенный человек, любивший обстоятельность в каждом деле. У него борода и непомерно большие усы. Выправкой смахивал на гренадера. — Сквозь толпу и на локтях не проберешься, Волнухин.

«Дядюшка Дмитрий и тот камушек бросил в огород Волнухина», — Конкордия Николаевна посмотрела на Егорова.

— Как это многовато? — язвил Василий, затягиваясь махрой. Он радовался возможности побалагурить.

— Столяры да плотники от бога прокляты: за то их проклинали, что много лесу перевели. Без комитетчиков рабочее движение пропадет, без интеллигентов не победить царя. И тысячи — это разве цена тем, кто рабочим помогает? — возмутился Егоров.

— Придется Уранову раскошелиться! — Василий подтолкнул плечом Волнухина и, нагнувшись к костру, достал тлеющий прут. — Нет, этот Уранов хитрюга. Потому и тыщи назначил, что знает — пикто на них не позарится.

Волнухин молчал, папироску отбросил, словно она мешала собраться с мыслями.

— По городу ночью пройти невозможно. От страха перед комитетчиками Уранов осатанел.

— Слово «товарищ» как красный лоскут для быка, — перебил Егорова Василий.

— Не лезь перед батькой в пекло, — остановил его Егоров. — Послушайте сказочку. По Дворянской улице шел благообразный мужчина. В котелке. В руках трость, перчатки. К нему городской с пудовыми кулачищами:

«Стой, такой-рассякой! Кто? Откуда?» — Это Уранов приказал ловить комитетчиков. Барин оробел и тоненьким голосом: «Я товарищ прокурора!» — Егоров понизил голос и сжался, показывая, как испугался барин. — «Ах, такой-рассякой! Товарищей-то мы и ловим!» Развернулся и смазал барина по физиономии.

Огопь разгравшегося костра выхватывал из темноты смеющиеся лица. Егоров размахивал руками и свирс поворачивал глазами, подражая городовому. Длинная тень делала его фигуру неправдоподобно большой.

— Кстати, о суде над Логиновым. — Конкордия Николаевна, посмеявшись вместе с кружковцами, перевела разговор на другую тему. — Логинов прислал из тюрьмы письмо... — Она пересказала содержание письма.

Логинов работал на ткацкой фабрике полковника Берга. Он слыл человеком вспыльчивым и неуживчивым. На беду, Логинова невзлюбил директор фабрики Кукк. Каждый раз делал ему замечания. И то не так, и это не так. Кричал, грозил уволить, штрафами задавил. Из деревни к ткачу приехали родственники, переночевали в казарме — штраф, Кукк удержал трехдневный заработок. Потом оштрафовал Логинова за хождение по фабричному двору без фонаря. Месяц закончился, а у Логинова одни штрафы. Он почернел от горя. Кукк решил снять Логинова со второго ткацкого станка, якобы за неумение, это была обида для такого отменного ткача, как Логинов. И терпению пришел конец.

«Издевка, одна издевка, — твердил в цеху Логинов, — убью Кукка, убью. Это он задумал меня извести». Сказали об этом Кукку, тот посмеялся и продолжал издеваться над ткачом: то пряжу задержит, то нитки гнилые подсунет. Логинов с трудом переносил обиды. Рабочие с опаской следили за неравной схваткой. Однажды Логинов принес револьвер в цех. В обеденный перерыв цех опустел. Логинов стоял у станка и связывал пряжу.

«Попался, бабье трепало! Выгоню, как собаку...— вскричал Кукк, неожиданно подбегая к нему. На щеках его были красные пятна.— Закон на моей стороне!» Логинов не выдержал: «Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили!» Выхватил револьвер и замер. Но Кукк не упирался: «В три шеи выгоню. На каторге сгною, мерзавец!» — «Нет, барин, не сгноишь, сам раньше перед богом предстанешь!» Логинов опомнился, когда Кукк упал, схватившись за живот. Кинулся к Кукку, пытался помочь. Бормотал: «Барин, барин, отпусти душу на покаяние! Прости грешного». Кукк потерял сознание.

Худая весть облетела фабрику: «Убили Кукка...» Сторожа попытались схватить Логинова. Тот отшвырнул их. Несчастье придало ему силы. Поклонился народу, а сторожам сказал: «Сам виноват, сам и повинюсь!» И пошел в полицию. Глаза безумные, на руках кровь. За ним толпа. Провожали до полицейского участка. В полиции сначала не поверили, что убийца сам явился с повинной. Потом повалили, начали топтать ногами. Рабочие жалели Логинова. Мученик, за правду пошел... Да что сделаешь, коли один супротив хозяев?

— Затравили Логинова, как зверя дикого. За свои действия он не отвечал, а его судят! За покушение на хозяина — каторга! У него семья...— с горечью сказал Егоров.

— Ему не выдержать каторги — от чахотки погибнет! — Василий скомкал папироску.— Не закрыли чужой прорехи своими руками! Сегодня чужая, да завтра — своя! За Логинова не заступились, он преступник, а Кукк — герой! Рабочие голову поднять боятся! На фабрику ввели солдат, городовые частоколом. Мастера, почитай, с нагайками гонятся... А штрафы какие? С каждого правого и виноватого!

— Вот и беда...— сказала Конкордия Николаевна.—

Логинов вступил в неравное едипоборство, никто его не поддержал, никто не отговорил. Каждый считал — моя хата с краю! Сегодня беда с товарищем, завтра — с тобой! Правильно говорит Василий. Да и путь Логинов избрал неверный. Нужно было рабочим остановить фабрику, предъявить требования.

— Пришла беда — открывай ворота! Теперь от одних увольнений ошалеешь. Каждого... Каждого... В спину... — Волнухин сжался, и в глазах, злых и холодных, мелькнул испуг. — Каждого в шею.

— Притча старая, как отец сыновей учил: в одиночку каждый колосок легко сломать, а попробуй-ка сломать сноп! — Егоров обернулся к Волнухину и показал кулак: — Жалостливую волынку не тяни. Не из пугливых...

— А что делает комитет для спасения Логинова? — Волнухин не ответил Егорову, словно его не слышал. Тонкие губы скривились, и обнажились желтые прокуренные зубы. — Все кричим: «Комитет, комитет!» Да где он, комитет? Покажите мне хоть одного комитетчика? Как плохо рабочему человеку, так и комитета нет!

— В первую очередь Логинову должны помочь товарищи по фабрике, — отрезала Конкордия Николаевна, ощутившая в вопросе Волнухина подвох. — Комитет есть и действует. На всех листовках его подпись. Подробнее ничего сказать не могу, я к комитету отношения не имею.

— Волнухин, как полковник Уранов, всю правду про комитет хочет знать. Может, тебе и адресок дать? — не унимался Василий и, уловив одобрительный смешок, закончил: — В партии есть дисциплина и конспирация, и не рабочему человеку ее нарушать!

«Непременно надо предупредить товарищей о Волнухине, — подумала Конкордия Николаевна. — Пусть проверят. И не откладывать, а вот прямо сейчас рассказать Егорову о своих тревогах».

Затухал костер, разбрызгивая золотой столб искр. Егоров, присев на корточки, длинной палкой растаскивал горячие угли. Они угасали, покрываясь серым безжизненным пеплом.

Торжественно из-за туч выплыл месяц. Ели отбрасывали на тропку горбатые тени. Серебрились пики осоки, сторожившей болотце. Упыло кричала одинокая птица. Ночная сырость расползалась по ельнику.

Конкордия Николаевна покрепче стянула концы платка, зябко поеживаясь.

— Вера, я провожу вас! — Егоров пропустил Конкордию Николаевну вперед. — Расходитесь, товарищи! Листовки, которые получили от товарища Веры, раздайте на фабриках, да и о деле Логинова расскажите правду.

— Когда следующее занятие? — Голос Волнухина звучал сипло.

— Оповестим, как обычно, — предупредил ответ Конкордии Николаевны Егоров. — Расходиться группами каждые пятнадцать минут.

— Волнухин... Волнухин... — Василий перепрыгнул через тлевшие угли. — Нам с тобой по пути, попридерживай пруть — дай уйти товарищам. — И, повернувшись к Вере, добавил: — Смотрите, не сбейтесь с дороги!

— Да лучше я провожу товарища Веру! — Волнухин размял папироску и решительно встал с земли. — Пропандистов нужно жалеть, а то любая беда может приключиться.

— Сиди, сиди... — Брови Егорова недовольно сошлись у переносицы. — Ни к чему нарушать порядок.

Последние дни ноября полковник Уранов провел беспокойно. Битва с Тверским комитетом, которую он развернул по всем правилам, превратилась в затянувшуюся схватку — облавы, обыски, налеты по подозрительным

адресам и явкам. Но обыски результатов не дали, облавы заканчивались ничем, засады на явках, как правило, проваливались.

Одну операцию Урапов провел самолично. Арестовывали комитетчика Гусева. К дому, который стоял в саду, подкрались незаметно. Но когда попытались ворваться в дом, Гусев опрокинул горящую лампу и выпрыгнул в сад. Сад был окружен забором в добрые две сажени высотой. Гусев перескочил через этот забор! Полковнику и в голову не пришло, что надо выставить филеров со стороны улицы. Человек — не иголка. И тем не менее Гусев пропал! Пропал в небольшом городе! Значит, его укрыли. Виной всему — сочувствие населения смутьянам и бунтовщикам. За укрывательство следовало сурово наказывать. Интеллигенция затеяла игру с полицией — укрывательство, переодевание, ночлеги подозрительных лиц. У смотрителя духовного училища Иннокентия Иннокентьевича укрывалась Конкордия Громова, закоренелая преступница, член комитета, пропагандистка!

Сколько сил он, полковник Уранов, положил на Волнухина и считал его неплохим агентом. Но предательство заподозрили, и Волнухина убили, заманив на мельницу.

Полковник Уранов решил действовать. Следовало любым путем обратить внимание департамента полиции на события в Твери. Громова скрылась из города неожиданно и, конечно, до убийства Волнухина. Филеры на вокзале засекли, когда она ночью садилась на проходящий поезд. Засекли, но не взяли. И Уранов подтасовал факты. Материалы наружного наблюдения приказал уничтожить, а неожиданный отъезд Громовой — связать с убийством Волнухина. Ложь, заведомая ложь, но Уранов пошел на эту ложь. Политическое убийство рабочего Волнухина единомышленниками! Каково? По всей России полетели телеграммы с описанием событий в Твери, с

особыми приметами государственной преступницы Конкордии Николаевны Громовой и просьбы о препровождении ее в случае обнаружения к нему, полковнику Уранову. Телеграмма министру внутренних дел... Телеграммы в департамент полиции... Телеграммы в губернские жандармские управления.

Всероссийский розыск... Нужно доказать причастность профессиональной революционерки Конкордии Николаевны Громовой и Тверского комитета РСДРП к убийству. Процесс будет сенсационным! Социалисты отрицают тактику индивидуального террора — и вот ими убит рабочий Волнухин... Сенсация. Если удастся доказать причастность комитетчиков к убийству, то это отвратит рабочих от партии, подтолкнет к вступлению в легальные организации, до которых такой охотник полковник Зубатов. Затеялась большая политическая игра, и полковник Уранов не должен упустить счастливый случай.

И опять шифровка на пограничные пункты. Срочная. Секретная. «При выезде за границу дочери священника Конкордии Николаевны Громовой арестуйте, препроводите в распоряжение начальника Тверского губернского жандармского управления, телеграфируйте. Полковник Уранов».

Поспешный отъезд

Стучат колеса московского поезда. Громяхают буферные тарелки на стыках рельсов. За окном ночь. Изредка промелькнет встречный состав, и по черному стеклу полыхнут резкие полосы света. Проплывает в полутьме вокзал с тусклыми фонарями и одинокой фигурой дежурного. И опять погружаются в темноту поля и села, леса и полустанки. Осень, поздняя осень...

В купе горит тусклый свет. У окна сидит дама в пальто с меховой пелериной. Лицо под густой вуалью. Молчаливая и безучастная. Она откидывает вуаль и платком вытирает глаза. И вновь погружается в свои мысли.

На соседнем плюшевом диванчике — господин. В сюртуке с широкими отворотами. Господин готовился ко сну, когда проводник привел в купе даму. Вот и пришлось водрузить пенсне и приняться за чтение газеты.

Дама села в поезд где-то после Твери. Пальто и шляпа хранят следы дождя. Очевидно, она перешла из другого вагона: в Твери на перроне, где он прогуливался, не заметил ее. Дама тихо поздоровалась и припала к окну. Что можно было разглядеть в крошечной тьме?

Господин кашлянул и зашуршал газетой. Дама вздрогнула и опустила вуаль.

Конкордия Николаевна думала о своем расставании с Калерией, таком неожиданном и тяжком. Думала о Волнухине. Конечно, это он ее выдал охранке. Кажется, выдал за двадцать пять рублей, — так сказала Куделли. Впрочем, Волнухин лишь игрушка в руках полковника Уранова. Этот умный и коварный враг из тех, кто прекрасно усвоил школу Судейкина, инспектора секретной полиции еще в пору борьбы с народовольцами. Тогда Судейкин завербовал Дегаева, и тот стал провокатором. Вред нанес народovolьцам огромный. Уранов, как и Судейкин, самолично присутствовал на допросах, отбирал нужных ему людей. Времени не жалел — запугивал, угощал папиросами, сулил свободу и награждал деньгами...

Ей не хотелось верить в предательство Волнухина. Да и как поверить, что товарищ, с которым делила опасности и трудности, стал врагом? Самое горькое разочарование — это разочарование в людях. К этому невозможно привыкнуть, невозможно с этим смириться.

В Тверском комитете Конкордии Николаевне за-

претили продолжать занятия в кружке. Запретили и появляться на улицах, где поджидал ее Волнухин.

А вскоре пришлось бежать из Твери: стало известно, что Уранов установил подлинную фамилию «Веры». Арест был неминуем.

Бежать из Твери было нелегко. Здесь жили ее сестры — Калерия и Наталья. Здесь матушка. Здесь кружковцы... Она — член комитета, пропагандистка. Дел — непочатый край. И опять ее обжигала мысль — когда еще на трудных дорогах подполья она свидится с матушкой, такой одинокой после смерти отца. Она мало бывала дома, но сознание, что может поделиться с матушкой радостью и болью, прижаться к ее лицу, найти утешение, стоило многого. А Калерия? К младшей сестре она испытывала особенную нежность. И не смогла уехать, не провадавшись с ней.

Конкордия Николаевна встретила сестру в саду. В дождевике с капюшоном Калерия напоминала гномика, которого в детстве им подарила матушка. Торопилась и, не разбирая дороги, бежала по лужам. В руках зажала записку и саквояж, в него уложила одежду. Притащила и деньги — свои в кошельке, расшитом бисером, и Иннокентия Иннокентьевича, шурина, обрадованного неожиданным отъездом беспокойной свояченицы.

Конкордия целовала сестру в распухший от слез нос, в упрямо сжатые губы, холодные щеки. Маленькая и беспомощная, Калерия прыгала по лужам и торопила ее. Боялась ареста.

Извозчик, похожий на гробовщика, натянул брезентовый башлык и плыл, разбрызгивая колесами воду. Испуганной Калерии мерещился стук пролетки преследователей. Перрон был залит дождем. В лужах отражались круги, отбрасываемые фонарями. На станции в туалете Конкордия Николаевна сменила мокрое платье, поблагодарив сестру за предусмотрительность, сунула ей мокрый

узел. Сестра крестила ее дрожащей рукой и целовала. В поезд она села за три минуты до отхода. Дала рубль проводнику, и тот проводил ее в купе первого класса...

— Любопытствуйте, мадам.— Господин решился прервать молчание соседки.— Мы живем в удивительный век технических новшеств. Вам, женщине, это может быть безразлично, но мне, помещику... Разрешите? Это статейка о последних достижениях техники.

— Да, да...— обрадовалась Конкордия Николаевна, ее спутник будет читать, значит, она получит возможность молча думать.

Господин был доволен. Дорога всегда располагала к откровениям и долгим разговорам.

— «Ораторы и электрофон... Телефонная техника, как известно, достигла таких успехов, что является вполне возможным не только слушать чью-либо речь на расстоянии, но и угощать своих гостей и знакомых такою речью всех сразу. Любопытный образчик такого угощения имел место недавно в Лондоне. Предметом угощения послужила речь министра-президента Бальфура.— Господин восторженно покрутил головой и, удостоверившись, что соседка — само внимание, продолжал: — Дело было так: один из лондонских лордов давал парадный обед в ресторане лондонского «Метрополя». Как раз в этот же самый вечер Бальфур намеревался произнести политическую речь в клубе. И вот лорду — хозяину упоминаемого обеда пришла в голову мысль доставить своим гостям возможность услышать знаменитого оратора, не выходя из обеденной комнаты. Для этого он распорядился соединить «Метрополь» с клубом электрофоном (упрощенным телефоном), а от аппарата провести отдельные слуховые трубки для каждого гостя. Эта затея удалась самым блестящим образом, и обедающие превосходно слышали речь Бальфура, несмотря на то, что речь была произнесена на другом конце Лондона».

Господин откинулся на диванчике и, ликуя, спросил:
— Каково? Не извольте сомневаться, все чистейшая правда. Вот и снимок. Взгляните, не откажите в любезности.

— Поразительно! — оживилась Конкордия Николаевна.

На снимке сидели чопорные лорды за длинным столом и, прижав к уху трубки, слушали. С таким достоинством, что и она прониклась важностью производимого эксперимента. Да, техника делает чудеса!

Господин листал газету и поглядывал на соседку, удивляясь ее молчаливости.

— Вы в Москву? — наконец не выдержал оп.

— Да, в Москву.— Конкордия Николаевна справи-
лась с ознобом, который мучил ее после прощания с Ка-
лерией, и сняла пальто.— В Москву к тетушке.

— А сами откуда изволите быть? — любопытствовал господин, не без удовольствия рассматривая свою со-
седку.

Конкордия Николаевна вынула булавки, сняла шляпу, и стали видны темные косы, затянутые в узел. На мато-
вых щеках проступал румянец. Глаза, полные грусти, придавали лицу особенную привлекательность. Хороший
рост и величавая осанка.

«Да, не перевелись красавицы на земле русской. Ка-
кое благородство и достоинство! В Париже любая мам-
зель из эдакой красоты капитал бы себе составила, а эта
барышня, поди, и не ведает о чудесном даре».— Госпо-
дин вздыхал и жалел об ушедшей молодости.

— Я в этих местах проездом.— Конкордия Николаев-
на умолкла. Лгать не хотелось. Ложь осложняла положе-
ние, ей и без того предстояли немалые трудности. Она
никогда без необходимости не говорила неправду, зная,
как трудно предугадать последствия.— Проездом из Па-
рижа...

— Боже мой! Вы недавно из Парижа! Париж... Самые блаженные воспоминания связаны с этим городом. В молодости я жил в Париже — папаша отправил меня избавляться от революционного духа. Да-с, не смотрите с таким удивлением. Именно избавляться от революционного духа! Кто не грешил в молодости вольнолюбием? В Париже я захлебнулся от удовольствий. И понял, что обеспеченные люди должны дорожить своим положением. Дворянам, избранным богом и царем, жизнь дарит радость и удовольствия!

— А бедным людям?

— Бог создал бедных и богатых... И не нам, грешным, его судить!

— Долго вы прожили в Париже? — Конкордия Николаевна помрачнела: эдакую мораль себе придумал! — Бывали в музеях? В Сорбонне?

— Изредка... Скорее для приличия — возвратишься в Россию, и от барышень отбоя нет: ах, Лувр, ах, Версаль... Засмеют эмансипированные дамы... Но от Сорбонны увольте! К тому же я влюбился. Лукавая и грациозная француженка. Батюшка дважды выкупал меня из долгов, потом приказал вернуться. Дома ждала невеста, — так из меня и не получилось якобинца!

— Якобинца? — не без удивления переспросила Конкордия Николаевна, разглядывая самовлюбленного соседа. Слово-то какое употребил.

— Каждому свое — дамы из модных магазинов не вылезают, — без тени раздражения ответил сосед. — Я не в претензии на такое времяпрепровождение. Не осуждайте и меня.

— Прискорбно, но поездки женщин в Париж воспринимаются лишь как праздное любопытство. Некоторых интересуют и науки!

— Конечно... Конечно... Но человек-то слаб!

— В какой-то книге я натолкнулась на интересную

мысль: человек, как слабый тростник: капля воды, порыв ветра могут убить его; но, даже умирая, он все-таки будет царить над природой, потому что, умирая, он будет сознавать, что умирает.— Конкордия Николаевна осталась собой недовольна: перед кем она бисер мечет?

— Я дочь не отпустил учиться: заведет разные нежелательные знакомства, попадет в историю... Увольте...— Господин заметил, что слова произвели неблагоприятное впечатление: — Я не ретроград и понимаю пользу образования, но жена... Как переубедить? Впрочем, я и не обвиняю — материнскому сердцу всюду чуждаются опасности.

— Дочь согласна с вами?

— Нет, разумеется. Пробовала поступить на Бестужевские курсы. Попечитель мне прислал письмо. К счастью, без родительского согласия не приняли.

«Материнское сердце...— Конкордия Николаевна загрустила.— Наверняка матушка заметила исчезновение Калерии, побежавшей ее провожать. Да, сестра, конечно, не могла умолчать о приключившемся несчастье...»

И опять она скрывалась, как беглянка, не объяснив причину внезапного отъезда. И опять начинались скитания по чужим углам, полуголодная жизнь, опасности, которые бередили сердце матери. Все произошло так стремительно! А если бы ее арестовали на глазах родных, было бы еще хуже. Матушка не перенесла бы этого. Нет, пожалуй, все к лучшему.

— В доме слезы, сцены. Мать с дочерью не разговаривают! Дочь просила отпустить ее в Швейцарию учиться. Мать ни в какую. Тяжелые времена... Мы жили проще... — продолжал жаловаться сосед.

Конкордия Николаевна молчала. Проще? Это во времена, когда Ковальского, расстреляли у открытой моги-

лы, а могилу сровняли с землей. Потом по этой могиле с музыкой прошли войска. Когда Софью Перовскую везли на казнь со скрученными руками, в позорном балахоне, с доской на груди: «Цареубийца». Когда Вера Фигнер в одеянии смертницы каждую зарю считала последней и ждала свершения приговора. Когда на глазах Александра Ульянова вешали его друзей. Проще... Можно в жизни гореть, можно и тлеть...

Разглагольствования соседа раздражали. Она отвернулась к окну. Ночная темнота завораживала, сулила новые опасности, новые лишения.

Ночной гость

Речь им сказал я,
Не ожидал я,
Что за волненье
Вдруг поднялось!
Какие споры!
Почти до ссоры!
Без объяснений
Не обошлось.
Дело уладилось
И уж изгладилось
Из моей памяти —
Как вдруг опять,
Опять попался:
Не удержался
На первом курсе
Речь я сказать.

Молодой человек, закатив глаза, с комической важностью ударил по струнам гитары.

Конкордия Николаевна пила жиденький чай и жевала бутерброд с колбасой. Рядом сидела Ольга Ивановна. Она так же закатывала глаза и, подражая молодому человеку, гнусавила:

Что тут случилось!
Все возмутилось —
Ужас какой!
Шум, крик поднялся,
Я опасался
Сходки большой.

Молодой человек скосил глаза на Конкордию Николаевну. Та встряхнула головой и подхватила песню студенческих времен:

Мне так досталось,
Что не осталось
Больше охоты
Речи держать...
Кантом клянусь я,
За ум возьмусь я,
Буду молчать,
Буду молчать!!!

Ольга Ивановна была подругой Зеликсон, с которой Конкордия Николаевна очень дружила. После побега из Твери Конкордия Николаевна приехала в Москву и, узнав, что Зеликсон за границей, направилась к Ольге Ивановне.

Зеликсон говорила Конкордии, что Ольга Ивановна — человек редкостной доброты. Вечно в чужих хлопотах и заботах. И каждому улыбка. Кто-то нуждался, бедствовал, и она была обязана оказать помощь.

— Сегодня у нас пир! — Ольга Ивановна разливала чай и раскладывала щипчиками сахар. — Муж заработал деньги. И немалые — двадцать пять рублей!

— Лучше расскажи, как этими деньгами распорядилась! — со смехом перебил Ольгу Ивановну муж, не сводя с нее влюбленных глаз. — Натурально, пять рублей нам на жизнь...

— Натурально, пять рублей... — подтвердила и Ольга Ивановна, словно винила себя в расточительности. — Не сегодня, так завтра нужно съезжать с квартиры: дворник косится, прислуга якшается с городовым, а матушка,

добрейшая душа, ночами ждет нашего ареста. Но и для дела нужны деньги. Позарез!

— О чем вы? — Конкордия Николаевна размешивала ложечкой сахар.

— В типографии бумаги нет. С деньгами в Московском комитете плохо. От сочувствующих почти нет денежных поступлений. В политику играют и барыньки. «Ах, деспотизм... Ах, политические свободы... Ах, эмансипация...» — Она сердито размахивала руками. — Дамы угощают меня взбитыми сливками и кофе в золоченых чашечках, а деньги высылают с горничной на подносе, как кухарке. И высылают по трешке! Что делать? Берешь и трешки — без денег бумаги не приобрести! Вот и экспроприировала двадцать рублей у собственного мужа!

Конкордия Николаевна вновь возвратилась к своим мыслям:

— Может быть, и мне здесь пристроиться? С меньшевиками повоюю, да и в типографии пригожусь.

— Нет, невозможно. Более того, и на улицах показываться небезопасно — филеры... После убийства Волнухина и шума вокруг этого вас будут искать — эдакое невезение — бегство и убийство. Мудрецы из охранки не упустят случай... — Ольга Ивановна с сожалением посмотрела на Конкордию. — Люди очень нужны, но аресты каждую ночь, и вам придется переждать в тени. Главное — паспорт и надежная явка. Завтра отведу вас к одному кудеснику. Есть надежная явка в Екатеринославе...

— Куделли тоже дала мне явку в Екатеринослав. Все дороги ведут в Рим.

— Хитрюга! Запоминайте пароль: «Мне нужно вставить фарфоровый зуб». — «Фарфорового зуба у меня нет. Приходите завтра — возможно, привезут из Гомеля». — Ольга Ивановна старательно произносила слова.

— Явка у зубного врача, — уныло подтвердила Конкордия Николаевна. — И все-то вам известно, дорогая!

— На том стоим! — Ольга Ивановна прижалась к Конкордии Николаевне и принялась ее утешать: — Там люди нужны не меньше, чем в Москве. Район рабочий, пропагандистов мало. И одни провалы... Вы для них человек новый, пока разберутся, что вы за личность, каких дел-то наделаете! А тверская эпопея забудется — и вернетесь в Москву. Вместе будем работать. Славно?

— Разумеется, если до тех времен ты уцелеешь... Да, да. — Муж не сдавался под укоризненным взглядом Ольги Ивановны. — «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Я классиками убеждаю тебя не быть безрассудной.

— Ты сегодня невозможный! — Ольга Ивановна поцеловала мужа, не желая продолжать разговор... — Утро вечера мудренее.

Конкордию Николаевну отправили спать в так называемую фонарную. Комната оказалась угловой, с большими венецианскими окнами. Огонь Конкордия Николаевна решила не зажигать. Уличный фонарь наполнял комнату серебристым и таинственным светом.

Она подошла к окну и застыла зачарованная. Падал снег, он укрыл землю и сыпучими гроздьями повис на березе. Вот и провода подобны канатам, и стекла залепили густые узоры. Дворник в подшитых валенках перевалился через сугроб и принялся лопатой сгребать снег. Чудак! Всю красоту разрушил!

Конкордия Николаевна с осуждением посмотрела на неуклюжего дворника. Падал и падал снег. А если сугробы вырастут до третьего этажа и закроют эти окна в комнате? Она рассмеялась. Всю ее наполнило радостное ожидание чего-то необыкновенного. Как-то сложится ее жизнь в Екатеринославе? Большой соблазн остаться в Москве — город знала по рассказам отца. И все же от Екатеринослава, видно, не отвертеться.

В квартире наступила тишина. Все разошлись по комнатам. Конкордия Николаевна проверила еще раз, какие двери ведут к черному ходу. Спать решила не раздеваясь.

И лишь коснувшись подушки, вновь оказалась в Твери, на вокзале. Плачущая Калерия держала узел с ее вещами и просила писать. За Калерией выросла матушка и стала тянуть ее за руку. Калерия плакала и не пускала в вагон. Кондуктор, толстый и мрачный, свистел, раздувая щеки...

Ольга Ивановна наклонилась над заснувшей Конкордией. Трясла за плечо. Халатик на ней распахнут, видны худенькие плечи и тонкая, как у Калерии, шея.

— Кона, Кона... звонят!

Конкордия Николаевна вскочила. Уходить? Полиция?

Ольга Ивановна сделала предостерегающий знак:

— Тихо... Кто-то из своих. Заприте дверь!

В голоса, раздававшиеся в прихожей, вплелся еще один. Потом раздался смех Ольги Ивановны.

— Радость-то какая... Аркадий, друг мой! Почему не предупредили телеграммой — встретили бы.

Конкордия Николаевна облегченно вздохнула.

И кто это ввалился? Она старалась унять сердцебиение. Странно, в минуты опасности она замирала и ничего не ощущала, а когда опасность проходила, то и сердце ныло, и под ложечкой сосало. И руки дрожали, словно после крутого подъема в гору. И опять стук — на этот раз к ней.

— По вашей милости столько волнений! — Ольга Ивановна втащила в фонарную комнату молодого человека. — Знакомьтесь, полуночники, а я на кухню схожу за харчем.

Молодой человек смущенно переминался с ноги на ногу. Шуба распахнута, шапка в руках. Боже, да он с чемоданом. Конкордия Николаевна попыталась переставить чемодан, желая освободить проход, и отпрянула — че-

модан-то неподъемный! Гость протирает вспотевшие стекла очков и рассматривал ее близорукими глазами. Откашлялся, платком вытер слез с бородки и представился:

— Самойлов... Присяжный поверенный...

Конкордия Николаевна кивнула. Видимо, плохой конспиратор. Взял и выпалил и фамилию, и звание. Конечно, все от смущения. И сама смутилась, чувствуя, как краска заливает шею, лицо...

Самойлов ссутулился. Неуклюже стянул пальто и бросил на диван. Вид несчастный. Большие очки в темной оправе сидели на кончике носа. В глазах все то же смущение и неуверенность. Казалось, он только сейчас понял происшедшее: в третьем часу ночи ввалился в чужой дом, переполошил всех. И эта женщина, имя которой он от волнения не расслышал, с пристальным взглядом! А он в пальто, с чемоданом, прямо в комнату. Неловко...

— Олюшка,— Самойлов снял очки.— Таков был приказ — с поезда сразу на квартиру...

— Но не почью, мой друг! — Ольга Ивановна вернулась с кухни и расставляла тарелки с холодной телятиной.— Шум, бум, и наверняка па дворника налетели... Дворник-то связан с охранкой.

— Вы не сказали, что для ночи нужно сделать исключение,— с завидной невозмутимостью произнес Самойлов.— Дворника не встретил... И куда с таким чемоданом?

— Правильно, Ольга Ивановна... Куда деваться с чемоданом? — решила поддержать молодого человека Конкордия Николаевна.— Раз для ночи исключения не сделали, то и нечего пенять!

Чемодан большой и затянут крепкими ремнями. Самойлов поставил его у ног и не сводил с него глаз.

— Значит, привезли, Аркадий? — Ольга Ивановна кинулась к чемодану и пыталась его поднять.— Ой, да как же вы его тащили?.. Голиаф! Его же невозможно поднять!

— Коли нужно, так возможно! — философски заметил Самойлов и платком вытер лоб.

Бедняга взмок от непосильной ноши. Интересно — оружие или шрифт? Конкордия Николаевна приглядывалась к новому знакомому. И оружие, и шрифт в подполье имели равную цену.

— Аркадий, значит, шрифт?! Выручил матушку Москву! — Ольга Ивановна принялась целовать его. — Вот уж великое спасибо!

Конкордия Николаевна начала понимать происходящее. Нужда в шрифте в Москве была отчаянная. И вот Самойлов, ученый деятель и книжник, привез шрифт!

— Аркадий, вы наш спаситель! — Ольга Ивановна поставила на стол миску с горячими щами. — Наверняка от голода голова кружится, — и, не желая смущать Самойлова, пусть поест, принялась рассказывать: — Помню, оказалась я в Твери. На явке хозяин струсил до противности. Он не накормил меня, кричал, протестовал, что его квартиру продолжают использовать в качестве явки. Он давно отошел от заблуждений молодости, он — патриот... В полицию, мол, заявлять не желает, но если его не оставят в покое, то... Ох уж эти сочувствующие! Ночь, мороз, город незнакомый. Решила дождаться утра. Хозяин, желая показать полное презрение, начал при мне раздеваться и укладываться спать!

— Негодяй! — возмутился Самойлов.

— Ешьте, ешьте, щи остынут! — Конкордия Николаевна видела, что молодой человек стесняется.

Самойлов и сам не мог объяснить, почему его, нестеснительного человека, смущала эта высокая изящная девушка. В разговор она вступала редко, больше молчала. Но в глазах он уловил такую доброту, что готов был повторить путь на неведомый хутор, куда тащился на перекладных в гололед; согласился бы вновь провести долгие ночи в поезде, когда не смел сомкнуть глаз, обе-

регая чемодан, а потом снова очутиться на Каланчевке, откуда плелся до этой квартиры, испытывая чувство смертельной усталости.

— Я ем, как птичка! — вновь завладела разговором Ольга Ивановна и с улыбкой пояснила: — Так считает мой муж. Но в чужом городе у меня всегда появляется чудовищный аппетит. Гоняет тебя «бдительное око», как зайца, в портмоне пусто — до еды ли? Как-то меня арестовывал ротмистр. Взял в руки «Капитал» Маркса и без иронии заметил: «Все «Капитал» изучаете, а в портмоне-то двадцать копеек!»

Конкордия Николаевна засмеялась. В глазах мягкий блеск. И улыбка такая, что у Самойлова дух захватило... Красивая девушка... И смех такой приятный...

От смущения он боялся опрокинуть миску с горячими щами, жирными, вкусными.

— Щи у меня традиционные. — Ольга Ивановна вернулась из кухни с новой миской. — Как-то я жила на квартире у чиновницы. Дрянная баба — следила, вынюхивала от безделья, что ем, куда иду. Я сидела без денег. Из дома не присылали, в партийной кассе взяла три рубля, больше совесть не позволила. Утром солью самовар, чтобы хозяйка удостоверилась в моем завтраке и в дороге. Однажды на кухне варились щи. Я умирала от голода. Выждала минуту и, когда хозяйка удалилась в комнату, бросилась к дымящейся кастрюле и обмакнула хлеб. Горячий хлеб глотаю, а у самой слезы. И так бывает! Вот и берегу щи для неожиданных гостей.

— «Так вот где таилась погибель моя! Мне смертию кость угрожала!» — с комической важностью проговорил Аркадий и вытащил из миски кость.

Женщины рассмеялись.

— Утром махнем в Сокольники, — заявила Ольга Ивановна. — Чемодан доставим. Там есть домик, утопающий в вишнях. Прелюбопытный домик...

— Это зимой-то! — заметила Конкордия Николаевна.

— Будет весна — вишни и зацветут! — возразил Самойлов, захваченный своими мыслями. — Вишен там преле большое множество.

«Романтик. И человек душевный. Привез несколько пудов шрифта, а думает о цветущих вишнях в зимнюю пору, да еще в ночь таких волнений. Мечтатель...»

— В этом домике и спрячем шрифт. Наборщик там от Сытина. Все тот же. Поживете с ним на положении «невидимки». В баню будете ходить полтора раза в месяц.

— Почему полтора раза? — спросила Конкордия Николаевна.

— Три раза в два месяца, — ответил ей Самойлов. — Летом хорошо, в вишневом саду ночами спасаемся. Коли уцелеем, так через три месяца смена. Кроты... Кроты земли русской!

«Как просто говорит о возможном провале. И без рисовки, как о чем-то естественном. Впрочем, в Москве типографии более полугода не продержаться. В Твери они проваливались чаще, как шутили в подполье, чем возникали», — подумала Конкордия Николаевна, и сердце зануло, предчувствуя недоброе.

— Наборщики требуются, шрифты и бумага! — Ольга Ивановна обращалась к Самойлову. — Зачем переходить на положение кротов, если нет работы! Бумаги нет, а денег кот наплакал...

— А калошная фабрикантша? — Самойлов выказывал осведомленность в московских делах.

— Что вы? Она разочаровалась в социалистах, — не без юмора ответила Ольга Ивановна. — Продержала меня в передней и через горничную просила больше не приходить!

— Как с печатной машиной? — спросил Самойлов, отламывая кусочки хлеба и бросая в миску со щами.

— Плохо... Ворожим, ворожим, да толку мало. Я слышала, в Киеве прекрасно работала подпольная типография, генерал Новицкий никак не мог ее заполучить. Когда бостонка износилась, то ее в ящиках поставили на площади у памятника Богдану Хмельницкому. Привезли ночью, сгрузили ящики и на рогоже дегтем написали: «Передается генералу Новицкому за негодностью!»

— Бостонку невозможно достать для подполья! — Самойлов не одобрял шутки киевлян. — Хозяин, у которого я купил машину, клялся, что она не очень-то изношена. Значит, думаете, провел меня?

— Это как водится... Взял старую калошу и подсунул! — смеялась Ольга.

— Пока повременим с суждениями — есть мастера, настоящие умельцы, вот и послушаем их!

— А теперь спать! — потребовала Ольга. — Прекратим наши споры: утро вечера мудренее.

Садовое кольцо

Мчались саночки. Мелькали дома, залепленные снегом, сугробы, освещенные солнцем, уличные фонари, пожарные каланчи, церкви.

Кучер с окладистой бородой покрикивал на лошадей. Ветер рвал красный кушак, кучер смахивал на лесного разбойника, который с удалью и веселым гиканьем мчался сквозь снежную пелену, не разбирая дороги. Только свист в ушах да снег, слепивший глаза.

Конкордия Николаевна любила быструю езду. В парижском пальто, в собольей шапочке, повязанной белым оренбургским платком, она сияла молодостью и счастьем. Рядом восседал Аркадий Самойлов. Сутуловатый и смущенный, он поднял воротник демисезонного пальто и нахлобучил шапку. Морозец с северным ветром пощипывал лицо.

Самойлов не мог отвести глаз от соседки: Ольга Ивановна нарочно посадила их рядышком. Влюбился... Влюбился... Как все произошло? Встретил ее и понял, что именно с этого дня и началась его жизнь. Все бывшее казалось несущественным и незначительным. Все происходившее после встречи обретало особенный смысл, постулки — действительность, слова — многозначительность. Весь он был переполнен щемящей радостью и ликованием. Чувствовал себя смелым, сильным, красивым.

Потом, рассматривая себя в зеркале, он дивился эдакой невиданной наглости, но здесь, в санях, ощущая близость удивительной девушки, упивался собственной ловкостью. Упивался и не знал, как ее проявить. Скосив глаза, видел соседку с пушком на верхней губе, сверкающими ровными зубами, с длинными ресницами. Хороша... Хороша... Временами ловил насмешливые взоры Ольги Ивановны, сидевшей напротив. Та придерживала рукой чемодан со шрифтом. Насмешки не сердили его, а вызывали умиление. Он любил эту, по сути, незнакомую женщину с таким звучным именем Конкордия. И ему хотелось сказать такие удивительные слова, какие никто до него не говорил, хотелось рассказать, как пела его душа, как счастлив бы он был никогда не расставаться с нею, единственной, защитить ее, спасти от всех невзгод и опасностей, — но слов этих произнести не мог, и только сияющий взор был устремлен на Конкордию Николаевну.

Аркадий Самойлов не заметил, как они проехали через всю Москву. Временами он выхватывал из сверкающего снежного вихря дома, предметы, долго удивлялся их несказанной красоте и тому, что раньше их не замечал. Красота была там, где он и не подозревал. Сколько раз он бывал в Страстном монастыре, знал и колокольни с золотыми маковками, и литые кресты. Но сегодня голуби, прижавшиеся к карнизам, красные лапки которых, как казалось Аркадию, обжигал мороз, будили нежность. Воробьи,

распустившие перья от ветра, вызывали жалость. Махонькие птицы, какие морозы выдерживают! Он шалел от этих мыслей и тряс головой, желая очнуться, но водоворот новых ощущений увлекал его. И он удивлялся ликованию жизни, яркости красок и неизведанному радостному чувству. Она была рядом!

Большие карие глаза Конкордии Николаевны выдавали ее волнение, от которого сладостно кружилась голова и учащенно билось сердце. Молчание Аркадия ее не раздражало, хотя она хотела услышать слова, которые бы позволили понять, что испытывал этот большой и неуклюжий человек. Даже побриться не успел — щеки в рыжей щетине, — Ольга Ивановна приехала на рысаке и помешала. Пока все спали, вышла в город и взяла рысака. Конечно, она права в своей поспешности — такой груз невозможно хранить в квартире, находящейся на подозрении у полиции. И странно, мысли ее были захвачены не тем, что они неслись по воскресной Москве с чемоданом в двойных ремнях и грузом, за который каждому полагалась каторга. Конкордия Николаевна ничего не боялась — ни шпиков, ни городских, ни опасности — все казалось второстепенным и незначительным, — более того, она верила, что судьба не посмеет наказать ее в тот момент, когда она наконец обрела счастье.

Опасность обостряла чувство радости и новизны. И не думалось, что в Москве она проездом, что показываться на улицах ей рискованно, что приметы ее разосланы по всей России, что нужно поскорее укрыться в чужом городе. Вся задержка в паспорте, как только его раздобудет, так придется уехать на юг, и бог знает, когда на извилистых дорогах увидится с этим удивительным человеком. Ею владело чувство спокойной и гордой уверенности, что встреча эта не случайная, что они не могут так вот просто расстаться. Конечно, жизнь в подполье трудна и риск великий, но все как-то устроится, они будут вместе, и это

главное. Как все устроится, она не знала, но верила свято и не волновалась.

— Два рыхлых интеллигентика задумали обмануть государя императора... — Аркадий наморщил лоб и, не отрывая взора от Конкордии Николаевны, продолжал рассказывать Ольге Ивановне какую-то историю.

Конкордия Николаевна засмеялась: историю она не слышала, но сильная фигура Аркадия плохо увязывалась с представлением о рыхлом интеллигентике.

— Вы о чем?

— Старая история... В Бутырках на прогулке ко мне подошел надзиратель. — Аркадий замолчал под испуганным взглядом Ольги Ивановны. И вдруг глаза его заискрились: — Да нет, на банкете в купеческом клубе...

Конкордия Николаевна прикрыла рот ладошкой и залилась радостным смехом: Аркадий и купеческий клуб? И представить-то невозможно! Конечно, конспирация нарушается безбожно... Но как славно! Если бы сказали раньше, что она будет смеяться ничего не значащим словам, не поверила бы. Значит, сидел в Бутырках? И спохватилась — она ничего не знает об этом человеке. Чувство, захватившее ее, было таким стремительным и сильным, и все то, что в другое время испугало бы и заставило призадуматься, казалось сейчас несущественным.

И опять от раздумий отвлек голос Аркадия: ту историю о Бутырках прослушала, теперь он говорил о другом.

— «Ваш билет?» — Аркадий понизил голос и не в силах погасить радостный блеск в глазах, досказывал о поездке за чемоданом на юг. — Билет?! Пожалуйста, милейший, кредитный. Подал я ему деньги, а в душе беспокойство: вдруг заартачится? Кондуктор повертел деньги, почесал бороду и аккуратнейшим образом сложил их и убрал в портмоне. Приложил руку к козырьку и двинулся вдоль вагона. Я проводил его глазами и начал укладываться спать, не обращая внимания на соседа...

Конкордия Николаевна не вдумывалась в слова Аркадия, просто слушала его голос, басовитый и приглушенный. И сразу очнулась, упрекнула:

— Проще было бы купить билет! К чему героизм?

— С билетом возникло осложнение. Меня подвезли на полустанок и впахнули в вагон. Ночь. Купе закрыты. Я простоял у окна, дожидаясь кондуктора. Хотел на ближайшей станции приобрести билет, но не удалось.— Аркадий обстоятельно рассказывал дорожные перипетии, сердцем понимая, что вопрос был не простым, что Конкордия Николаевна страшилась миновавшей опасности.

Снег повалил густой и крупный. Сквозь метель пробивалось солнце. Снежные облака наползали на солнце, да ветер отгонял их. И началась схватка далекого светила с непогодой.

Ветер оторвал край, напоминавший павлиний хвост, и приставил его к облачку с северной стороны. Сереющая громада уподобилась медведю, который вытянул голову и пытался похитить солнце, как в детской сказке. И голова растаяла — теперь всадник с пикой мчался за солнцем. Развевалась бурка, золотилась пышная грива коня, выросла черная хвост. Всадник прищипывал коня, заносил над солнцем огромную пикую — и опять ветер не позволил захватить светило — разметал, разорвал и всадника, и коня.

В Сокольниках у церкви санки остановились. После ремонта церковь сияла яркостью красок, золотом колокольни. Расписная ограда напоминала вяземский пряник. Белые голуби придавали театральность и церкви, и воскресному дню. Малиновый звон летел над землей. Голуби кружили, хлопали крыльями.

Лихача отпустили. Смешавшись с толпой богомольцев, пошли по сокольничьим просекам. Конкордия Николаевна и Ольга Ивановна поглядывали по сторонам: нет ли

слезки? Аркадий легко подхватил чемодан со шрифтом. Дерзость? Конечно, но другого выхода нет.

В этот день им сопутствовало счастье. Сокольнический лес был праздничным от зеленых елей и первого снега. К земле пригибался под тяжестью снежных шапок кустарник. Тонкие метелки осин синели на голубом небе. Ветер раскачивал вершины дубов. Прыгали красногрудые снегири.

Конкордия Николаевна под требовательным взглядом Ольги Ивановны шла рядом с Аркадием и вела неторопливую беседу.

Та пропустила их вперед и замыкала шествие — предстояла самая опасная часть пути. Адрес подпольной типографии знали немногие, и в том числе она. Конечно, страшно привести хвост и провалить типографию. Конкордия Николаевна кокетливо наклонила голову, смеялась и казалась искательницей приключений; потом не могла вспомнить ни единого слова из разговора с Аркадием.

Домик, зажатый кустарником, увидела издали. Разросшиеся ветки, опущенные снегом. Узкой тропинкой прошли к калитке. Дверь оказалась заблаговременно открытой. Ольга Ивановна ворчливо приказала обмести веником ботинки.

В горенке домовито шумел самовар. Пахло дымком и сдобными пирогами. Хозяйкой конспиративной квартиры оказалась маленькая женщина с веселыми глазами, Аннушка, как величала ее Ольга Ивановна. Она захлопотала и вытащила на стол румяные пышки.

Аркадий потер озябшие руки. Он отдыхал и от тяжелого чемодана, и от опасного пути, и от пережитого волнения. Доставил, доставил!

Дверь закрыли на крюк, и хозяйка, приоткрыв занавеску, погрозила псу с черными кругами вокруг глаз. Пес, громыхая цепью, скулил и просился в дом. Морда торчала в окне. Пес стоял на задних лапах и вилял хвостом. Хо-



зайка делала ему таинственные знаки да держала под контролем единственную тропинку, ведущую к дому. Ольга Ивановна постучала щеткой два раза по полу. Переждала и еще раз постучала. Аркадий раскидал дерюжки и приподнял крышку подпола.

— Принимай чемодан, Иванушка! — Ольга Ивановна перегнулась и, если бы Аркадий не подхватил, наверняка свалилась бы вниз. — Вылезай, чертяка! Шрифт... Шрифт привезли!

Иванушка оказался детиной саженного роста. И внешность как у былинного богатыря, — окладистая борода, голубые глаза, густой бас и нсторопливые движения.

— Молодцы, собачьи дети! — Иванушка легко выпрыгнул из люка и с высоты своего роста восторженно посмотрел на Ольгу Ивановну.

Яркий дневной свет мешал ему, привыкшему к полутьме подвала, и он слегка щурился:

— Молодчаги!

Ольга Ивановна засмеялась:

— Иванушка, в подвале-то ты подрост! Смотри не дури, пробьешь головой пол... Одна морока — прятать-то куда будем?

— Сорока... Что знала, все перемолола! — беззлобно отвечал парень, который явно стеснялся своего роста. — Да, один язык перемелется, другой проболтается.

— Проболтается? — с деланным испугом погрозила пальцем Ольга Ивановна. — Получи воскресный подарок — чемоданчик. Доставил его Аркадий, всю благодарность ему. — Она отскочила, боясь попасть в объятия богатыря.

Иванушка долго тряс Аркадию руку, похлопывал по плечу. Тот молчал, а потом взмолился:

— Побойся бога — все кости переломал... Медведь лесной, а не наборщик!

Аркадий подтолкнул парня плечом. Конкордия Нико-

лаевна поняла, что радость Иванушки ему приятна, что он гордится невиданной силой товарища и что ее присутствие обостряет эти чувства.

Иванушка поднял чемодан, как перышко, и с псожиданным проворством исчез в подполе.

— У Левки все ловко! — похвалила наборщика хозяйка. — Доловились и мы до лисы!

— Аннушка, чайку бы погорячее!

Иванушку усадили за самовар. Ольга Ивановна хотела скрасить жизнь «невидимке», которому появляться на людях было не положено. В комитете узнают — трепку зададут за нарушение конспирации. Правда, Аркадий свой человек, а уж о Конкордии говорить не приходится.

Пили чай и похваливали хозяйку. Аркадий повторил рассказ для Иванушки о том, как удалось раздобыть шрифт и перевезти в столицу и как он ввалился ночью к Ольге Ивановне и перепугал весь дом...

Иванушка смеялся, будто бил в набат. Хозяйка вытирала фартуком глаза и грозила Иванушке, боясь, что он смехом привлечет в домик нежданных гостей. Конкордия Николаевна с удивлением взирала на Аркадия — какой рассказчик! Ни смешливых слов, ни тени улыбки, ни лишнего жеста — одно лукавство и хитрость, от которой слушатели хохотали до слез. И все это ради Иванушки.

— Иванушка на все руки мастер! — Ольга Ивановна, посерьезнев, обратилась к Конкордии Николаевне: — Знатный гравер от Сытина. Да, Сытин знает цену рабочим рукам и то часами смотрел, как Иванушка художничал. Когда решили Иванушку спровадить в Сокольники, то он пришел к Сытину отпрашиваться. Тот за голову схватился, вознаграждение предлагал.

— Не трясись головой, как упрямая кляча, татарам продадим! — Аннушка взяла Иванушку за руку. — Боятся похвалы, как девка!

— Твоим рукам и я цену знаю... За чемоданом-то

пускался в вояж с твоим паспортом.— Глаза Аркадия потеплели.

— Значит, из техников. Удачно... Удачно...— Конкордия Николаевна поняла, зачем ее привезли в этот домик в Сокольники — вся ее жизнь зависела от получения паспорта.

Паспорт, который достала в Твери Куделли, не выдерживал серьезной проверки. Нужен добротный документ, по нему следовало легализоваться и продолжать работу в подполье.

— «Хлеб есть умесшь?» — «Умею!» — «А еще что?» — «Да коли поднесешь, так и выпью».— Иванушка подмигнул Конкордии Николаевне и пояснил: — Меня маманя многому научила в деревне. Пойдем за перегородочку — покажу...

Они сидели в комнатухе, отгороженной от горенки фанерой. На столике для рукоделия прыгал солнечный зайчик, разноцветный, как павлинье перо. В корзинке с шерстью блестели спицы. Пяльцы с холстом в ярких маках. Иголки в подушке черного бархата. Недошитые наволочки, вышивки, цветные нитки, рисунки...

Иванушка сдвинул со столика работу в корзину. Достал сундучок с двойным дном, и на столе появились кисточки, пузырьки с красками, бланки, печати, тюбики, резинки.

Пожалуй, нет в подполье науки труднее, чем подделка паспортов и документов. Подлинные и фальшивые, они составляли особую отрасль познаний. Документы требовали высокого умения, точных навыков, от этого зависела жизнь товарищей, доверившихся твоему опыту, знанию и искусству, зависела их свобода, выполнение партийных заданий. С этими паспортами засылали в другие города, спасали после побегов из тюрьмы и с каторги, обряжали паспорта в солидные кожаные переплеты и с ними совершали переезды через границу.

Конкордия Николаевна понимала ценность документа. В большинстве городов явки оказались проваленными, филеры и провокаторы сопровождали каждый шаг. И если бы не Ольга Ивановна, то она не знала бы, что и делать. Теперь путь один — в Екатеринослав, где нужно восстанавливать типографию и налаживать работу. Но для поездки необходим паспорт. Надежный...

Иванушка напоминал ювелира. Взял кисточку и, положив на колени полотенце, вершил таинство. Голос, зажатый фанерной перегородкой, приглушенно рокотал:

— Лучше всего раздобыть чужой паспорт. Коли приметы будут совпадать — полиция в вид на жительство вписывает приметы, — то изменить фамилию ничего не стоит. — Кисточка сделала едва приметное движение и затрепетала, как живая. — Где достать? Есть фельдшер, пьянь бесхвостая, в больнице работает, когда нужно сдавать паспорта умерших в полицию, то за десятку их тащит Ольге Ивановне... У меня на руках паспорт мужчины, из мещан, семидесяти годков.

Конкордия Николаевна засмеялась — пожалуй, паспорт не подойдет. Иванушка бросал на нее изучающие взгляды, не оставляя мысли приспособить его для женщины.

— В подлинном паспорте, «железке», большая сила! — Иванушка капнул на кисточку пахучую жидкость и закрыл пузырек. — Предположим, взяли человека в полицию, копнули и послали запрос в другой город — кем выдан паспорт. И ответ придет хороший: там-то родился, там-то крестился и зарегистрирован раб божий такой-то в церковной книге. Конфуз! Полиция возвращает паспорт — человека оскорбили недоверием!

Конкордия Николаевна не прерывала рассуждений Иванушки. Иванушка колдовал над документом, подносил к глазам, смотрел на свет, даже трогал кончиком языка.

— Хороши и паспорта от сочувствующих, те, что попадают в чужие руки на время. Ольга Ивановна берет такой паспорт от курсистки, к примеру, с курсов Герье. — Иванушка вновь открыл пузырек и макнул кисточку. — Мы по этому паспорту выписываем копию — фамилию, имя, звание, возраст... Не придумываем, как дурачки, а изготавливаем дубликат. И опять человека взяли в участок...

— Типун тебе на язык! Как ворон, ты каркаешь: «Взяли да взяли»... Мне работать нужно, сесть в тюрьму нехитрое дело! — Конкордия Николаевна рассердилась, и на щеках проступил румянец.

Иванушка огорчился — эдакая непонятливая. И сказал, как ребенку:

— Ольга Ивановна требует, чтобы я все тебе разъяснил конкретно. Она меня знает с давних пор, когда кружок у сытинцев вела. Конкретно...

Конкордия Николаевна улыбнулась — видно, слово-то из новых. Вот и щеголяет.

— Не сердись, Иванушка! Конкретно... — Конкордия Николаевна вздохнула: — Нужно все знать.

— Жизнь наша не сладкая — и в мире что в море, а молва что волна... — Парень почесал затылок.

— Ради бога, Иванушка! Не философствуй! — взмолилась Конкордия Николаевна. — Расскажи лучше о паспорте. Паспорт и паспорт, раньше особенного значения этому не придавала.

— Почему?

— Да, видно, от простоты.

— Простота? Выть тебе волком за твою овечью простоту! Разве можно в подполье так рассуждать? Паспорт главное главного! «Есть шуба и на волке, да пришита!» — это я приставу сказал, когда меня ненароком сгребли на ярмарке. Привели в участок, проверили документы — порядок. Пристав позеленел, ан пришлось выпустить.

— «Есть шуба и на волке, да пришита!» — засмеялась Конкордия Николаевна, удивленная образностью речи своего собеседника.

— К примеру, я скопировал для тебя паспорт. Сдала ты его на прописку в полицию. Там заподозрили неладное — посылают телеграфный запрос по месту рождения, и все подтверждается... Тут и курсистка довольна, и тебе одно удовольствие. — Иванушка хитро усмехнулся и, скосив глаза, закончил: — Это коли в серьезном не замешана...

— Мудрец... Мудрец... — с восхищением отозвалась Конкордия Николаевна. — На все есть господин случай.

— Но прежде всего документ. Вот я и толкую — паспорта нужны поддельные... Фальшивый паспорт легче в наших условиях изготовить: на чистый бланк любые приметы занесешь, да и печать нужную поставишь... — Иванушка перебрал свои квадратные и треугольные резины. — Главное — ничего не перепутать: и серию правильную, и цвет в зависимости от отношения к воинской повинности, и печаточку...

— Действительно, целая наука! — восхитилась Конкордия Николаевна. — У кого учился?

— Да есть мастера! — уклонился от ответа Иванушка, и глаза его остановились на Аркадии. Тот вошел незаметно, стоял у двери.

«Значит, и Самойлов из техников, — Конкордия Николаевна почувствовала, как заныло сердце. — Техников сразу на каторгу отправляют. Боятся больше, чем фальшивомонетчиков».

— Недавно закупили бланки у воров... — осторожно начал Иванушка, поглядывая на Аркадия.

— Как у воров? — переспросил Аркадий.

— Воры обокрали волостное управление и прихватили бланки. Куда им в таком количестве?! Вот и сбывают по рублику. Да, за каждый бланк! — пояснил Иванушка и

вопросительно замолчал, не зная, как к этому отнесется Аркадий.

— Значит, приобрели чистые бланки...— Аркадий подумал и, отвечая на одному ему известные вопросы, подтвердил: — Славно... Славно.

Конкордия Николаевна молчала. Предстоящая разлука с Аркадием вдруг стала такой ощутимой, что ею овладело отчаяние.

Казалось, Аркадий понял ее состояние. Иванушка настороженно перевел глаза с Аркадия на Конкордию Николаевну. Почему так изменились эти люди? Погрустнели, умолкли. Неужто из-за паспорта? И, желая их успокоить, сказал:

— Хорошо, что я вас повидал. Документик изготовлю первый класс. Глупому счастье, умному умение бог дает! — Достал чистый бланк и деловито спросил: — На какую фамилию изготовить документ?

— На имя Самойловой...— вздохнув поглубже, проговорил Аркадий и, боясь посмотреть на Конкордию Николаевну, повторил: — Да, на имя Самойловой...

Конкордия Николаевна молчала. Лишь в глазах вспыхнула радость.

Екатеринослав

«1904 год, 13 января.

Сегодня я, дорогая Кона, получила твое письмо, вечером того же дня отвечаю тебе. Рада всею душою, что ты здорова и благополучно пока живешь (на свободе). Времени прошло с тех пор, как мы расстались, хоть и не много, но пережито много. Теперь же успокойся и не думай обо мне: я тоже совсем здорова.

Более или менее неприятные дни я пережила уже, да не всегда же мы должны жить исключительно для себя. Ради родной сестры или брата все можно пережить, даже

и для чужого человека должна была бы сделать это, так что все это пустяки.

В данное время я живу в Твери одна. Мама усхала к Соне 11 января. Хотела поехать с нею и я, да, представь, два раза ходила в это «бесовское учреждение», но все одно и то же говорят: «Поживите», но до каких пор — неизвестно... Деньги, которые просила уже не один раз (100 руб.), не отдают, хотя вид мой возвратили и продолжают приставать, хоть и не в такой степени, как раньше.

Недавно вызывали меня в фотографию Орлова и сняли три карточки. Фотограф при этом заявил мне, что «для правительства». И когда я попросила снять мне еще три, то он ответил, что надо сперва спросить в «бесовском учреждении».

Письма наши все задерживают, об этом узнавал Ин. Ин., так как у него есть деловые из Иркутска, но ему ответили, что их возвратят нам, но еще не скоро. Меня теперь, после отъезда мамы, сдали ему на поруки и обязали его дать подписку, что он ответит строго, если я исчезну из Твери. Письма останавливают, потому что думают найти твой адрес, ибо они тебя совсем потеряли из виду, а о том, где ты, им все-таки, как видно, хочется знать. Я думаю, Кона, вся эта ерунда протянется еще с месяц, а там буду свободна. Все наши, то есть семья Наташи, здоровы. От Сони получаю часто письма, она здорова и, как видно, не скучает. О чем ты просишь передать ей — напишу...»

Конкордия Николаевна поцеловала письмо. Никогда сентиментальностью не отличалась, но, видно, так истосковалась по сестре и родным, что и сама удивилась собственной нежности. Это было первое письмо после поспешного отъезда из Твери.

Она работала в Екатеринославе. Жила в неудобной маленькой комнате, которую снимала у путевого обходчика в Чечеловке.

На рабочей окраине дома лепились, как ласточкины

гнезда: Крыши были покрыты соломой, почерневшей от непогоды. Здесь проходила узкоколейка, поросшая репейником и полынью. Ранним утром по узкоколейке пыхтел паровичок с высокой трубой, оглашая окрестности унылым гудком. Грохот и шум сотрясали домик путевого обходчика.

Путевой обходчик пил горькую и частенько лежал в полыни, уткнувшись головой в песок. Сон его охраняла здоровущая дворняжка. Она скалила зубы и рычала на каждого, кто приближался к хозяину.

Конкордия Николаевна всла кружки в железнодорожных мастерских. В Чечеловке, куда и пристав не часто заглядывал, ей было легче затеряться. Работы оказалось много: явки провалены арестами, и приходилось осторожно восстанавливать партийную сеть.

В Твери, расставаясь с сестрой на вокзале, Конкордия Николаевна не дала адреса. Связь установила с предосторожностями — она писала в Тверь на винный склад, где служил приказчиком знакомый Калерии. Калерия с okazji пересылала письма в Екатеринослав на имя студента Шипова, а тот передавал Конкордии Николаевне.

В комнате чадил лампа. Расползался сладковатый запах керосина. Конкордия Николаевна жалела матушку, которая выехала в Петербург и, используя связи, хлопотала о дочери. Сестру Калерию фотографировали как уголовную, цинично отбирали письма и деньги. У Иннокентия Иннокентьевича неприятности — ему, духовному лицу, письма не выдавали, как неблагонадежному. Об Аркадии Самойлове она запретила себе вспоминать. Она и на вокзале простилась с ним холодно. Мысли об Аркадии она гнала, но почти каждую ночь видела его во сне.

За стеной прокричала кукушка и хрипло забили ходики. Конкордия Николаевна распечатала второе письмо.
«14 января.

Уже два месяца, как мы ниоткуда не получаем писем,

за исключением твоих последних, которые ты мне послала по последнему адресу. Когда Ин. Ин. спрашивал, почему не доставляют нам писем, то ему сказали, что они лежат в «бесовском учреждении» нераспечатанными, а когда их вскроют, то, пожалуй, найдут в каком-нибудь из них твой адрес, а ведь это самое печальное: тебя найдут. Если ты можешь, то сама, конечно, поразмысли, что тебе предпринять: остаться в этом городе или уехать куда-нибудь. Я уж, право, не знаю. Когда будут распечатывать письма, наверно, позовут и меня, но когда это будет — для меня неизвестно. Ты, Кона, пиши мне пока одной по адресу: винный склад, такому-то, как и писала. На Иннокентия Иннокентьевича не посылай никаких известий... Деньги пересылаем тебе на имя Нины Васильевны Зощенко, от нее ты и получишь. Последний мой адрес не опасен, можешь пока писать. Остаемся все здоровы, чего и тебе желаю. Пиши».

Конкордия Николаевна улыбнулась: Калерия стала конспиратором — ни лишних имен, ни адреса.

Прогудел паровичок. Три часа ночи! Стены домика задрожали, в шкафчике зазвенела посуда. Конкордия Николаевна подошла к печи, боялась потревожить хозяйку. Отодвинула заслонку, достала чугунок со щами. И сразу выплыла в памяти морозная ночь, когда с вокзала ввалился Аркадий, и поездка по Садовому кольцу — солнце, метель.

С хозяйкой Конкордия Николаевна дружила. Та угощала ее нехитрыми блюдами, ставила молоко, зная, что утром постоялка, как она называла ее, убегала голодной. Хозяйка, хохотушка, нравилась своим жизнелюбием. Одних детишек семеро по лавкам, как в пословице. Мальчишки русоголовые, с оттопыренными ушами и хитрыми глазами. Где она добывала деньги, чтобы накормить их, Конкордия Николаевна понять не могла. От пьяницы мужика толку немного. А как хохотушка мыла мальчишек! Грела чугунок, заваривала щелок и насильно, ругаясь и хо-

хоча, затаскивала их в лохань. Мальчишки сопротивлялись, она ловко раздавала подзатыльники, бегала за ними с мочалкой. Мальчишки падали на скользком от пены полу и хохотали. Характером-то в мать! Шум, крик стоял невообразимый. Во дворе лаяла собака. Кто-то из мальчишек, улучив минутку, впускал Жучку. Веселье вспыхивало с новой силой — собака носилась, облизывая мальчишек, скулила. Хозяйка с проклятьями намыливала и Жучку. Потом все успокаивались, садились за стол, выскобленный добела, пили чай. Сахар к такому дню припасала Конкордия Николаевна.

Конкордия Николаевна подержала над чугуном книгу, присланную из Твери от Куделли. На тринадцатой странице тайнопись, которая проявлялась над паром. Куделли писала: полковник Уранов заполонил город полицией. Убийство Волнухина объявил политическим актом и виновником — ее, Конкордию Громову. Разослали циркуляры с описанием примет, телеграммы на пограничные пункты. Прибыла инспекция из Петербурга — и посыпались новые циркуляры о государственной преступнице Громовой, коей объявлен всероссийский розыск. Калерия днями просиживала в управлении: Уранов снимал допрос. Полковник втолковывал перепуганной девушке, что, чем раньше будет обнаружена Конкордия, тем меньшая кара ее постигнет. Наталья объявилась больной и от стыда не выходила из дому. Иннокентию Иннокентьевичу пришлось оставить духовное училище.

Конкордия Николаевна задумалась. Уранов делает карьеру — в Твери политическое убийство. И кем совершено — социал-демократами! Вот вам, противники террора!

Ротмистр щелкнул портсигаром. Закурил, пуская дым тонкими кольцами. Рядом жандармский унтер держал револьвер. На расстоянии нескольких шагов сидела Конкор-

дия Николаевна, которой приказали держать руки за спиной. В углу несколько рабочих. Они с недоумением смотрели на молчаливых жандармов.

В квартире железнодорожника Ястребова происходил обыск, невиданный ранее в Чечеловке. Когда-то Ястребову принадлежал весь этот домик, но времена наступили лихие, и его пришлось продать. Купил домик какой-то купец, который и стал сдавать комнаты внаем рабочим железнодорожных мастерских.

При аресте присутствовал жандармский полковник. Он восседал за столом с угрюмым одутловатым лицом и, не мигая, смотрел на Конкордию Николаевну. Вопросов задержанной не задавал, следил за процедурой ареста. Полковник курил. Ротмистр Шульц волновался. Он впервые производил арест крупной террористки. Полковник, служивший ранее в петербургской охранке, предупреждал его об осторожности. Она-де и отлично стреляет, и ядом не преминет воспользоваться. Полковник предоставил ротмистру возможность провести первый допрос. Тот видел в этом скрытый подвох и медлил, дожидаясь результатов обыска.

Конкордия Николаевна равнодушно взирала на все происходящее. Керосиновая лампа, поставленная рядом, не слепила, как хотел того ротмистр, а коптила и вызывала тошноту своим резким запахом.

Жандармскому унтеру с револьвером в руках трудно было находиться в застывшей позе — арестованную он явно побаивался, она, по его представлению, могла выхватить револьвер и пристрелить.

— Ваша настоящая фамилия? Настоящая! — Ротмистр говорил торопливо, желая подчеркнуть опытность в подобных делах. — Вероисповедание? Значит, отказываетесь отвечать на вопросы?

— Следствие предупреждает об ответственности за

дачу ложных показаний...— Полковник произнес привычную фразу, но осекся под насмешливым взглядом.

— Я и не собираюсь давать никаких показаний! — Она повернула голову: — Прикажите вашему человеку убрать револьвер. И не откажите в любезности объяснить, что за спектакль здесь разыгрывается?

— Фамилия? — Ротмистр приготовился к допросу и вопросительно смотрел на полковника.

Тот молчал и барабанил пальцами по столу. Обычно полковник не выезжал на подобные операции, но тут случай особенный. Полковник выехал, чтобы вместе с ротмистром Шульцем подвергнуть террористку перекрестному допросу.

— Полноте, господин ротмистр! Такие предосторожности при аресте незнакомой женщины?! Очевидно, собрали всю городскую полицию, да и подкреплением не побрезговали из Киева.— Женщина усмехнулась.— Фамилию мою вы должны знать.

— Возможно, и ордерок на арест потребуете?! — Ротмистр с ожесточением захлопнул папку и в блюдце загасил папироску.

Хозяйка всплеснула руками и заголосила:

— Смеетесь, господин офицер, над бедными людьми — из блюдца сделали плевательницу?!

Ротмистр Шульц бросил на хозяйку яростный взгляд:

— Цыц! Прикуси язык, стерва!

— Не кричи на бабу! — вступился Ястребов, смуглый, смахивающий на цыгана мужик. Обозлился и покраснел.

— Молчать, сукины дети! Молчать! — Ротмистр кричал, как в участке, и голос обрел привычную силу.— Разговорчики-и...

— Молчи, мать! — Ястребов мягко посмотрел на жену.— Они воруют, да они же горюют, а мы с тобой все живем!

— Молчу, отец... Молчу.— Женщина прижала к груди плачущего ребенка.

— Желаете отвечать на вопросы? — Полковник обратился к арестованной и недовольно посмотрел на ротмистра, устроившего такой базар. «Нет, для серьезного дела не следовало бы его брать», — подумал и нахмурился. Впрочем, как в такой ситуации развернется допрос, он и сам знать не мог.

— Как говорить, когда все время один окрик: «Молчать!» — Арестованная презрительно прищурила карие глаза. — Впервые довелось быть свидетельницей эдаких деяний со стороны представителей закона и порядка!

— Прекратить пропаганду! — Ротмистр побагровел и размахивал кулаком перед арестованной.

Полковник насупился. Ротмистра Шульца перевели в Екатеринослав недавно из Одессы. В чем-то он проштрафился: то ли избил кого-то в участке до полусмерти, то ли взятки неумеючи брал. Полковник в такую грязь не вмешивался. Мясник, а не офицер и к трудному делу сыска неспособный. Да, криклив, как кухарка, ни выдержки, ни достоинства, ни умения. Еще один солдафон в отделении! Жизнь не такая простая, а противник и коварен, и отважен, и люди в полиции нужны умные... К аресту тщательно подготовился — и операцию разработал самостоятельно, с Салатой, провокатором, накануне встретился, и ответ заготовил в Петербург. Салата и опознал террористку, о которой пришел циркуляр из Твери, и адрес указал. Поразмыслив, полковник решил изобличить арестованную прямыми показаниями свидетелей:

— Уберите эту женщину! — Полковник кивнул в сторону хозяйки, решив преподать предметный урок ротмистру. — Начинайте опрос задержанных, господин ротмистр!

Ротмистр Шульц недолюбливал полковника, считал его барином. Он был уверен, что миндальничать при допросах не следует, что только криком и бранью можно выбить показания. Хозяйку он выводить не стал, решив, что свои-

ми слезами та доставит много неприятных минут чванливому полковнику.

— Ястребов! — Ротмистр приказал хозяину дома выйти на середину комнаты. — По какому поводу собрались на вечеринку?! И почему водки нет?! Или это «Общество трезвости»?!

Ротмистр хохотнул, а полковник нахмурился. «Неумен... Неумен...» Смолчал, решил отложить объяснение с ротмистром. Да и к чему демонстрировать глупость перед злоумышленницей.

— Сегодня у меня именины, вот и решил отметить. Взял и пригласил дружков. — Ястребов показал на самовар, фырчавший на столе. — Баба пирогов напекла, пчелы свои — медок, пожалуйста, а водки не употребляем-с! И — член «Общества трезвости». Вас, господин ротмистр, мы не видавали на наших собраниях, к сожалению...

Арестованная усмехнулась и выразительно уставилась на красный, с прожилками, нос ротмистра. Полковник был доволен, хотя и понял, что Ястребов не из простачков.

— Почему в доме оказалась эта женщина? — Ротмистр положил руку на плечо задержанной.

Женщина брезгливым движением плеч сбросила руку.

— Случайно... Зашла к бабе моей порасспросить об одном местечке. В городе-то безработица... Мы в такой день, знамо, ее к столу.

— Твоя баба распоряжается работой? — язвил ротмистр, довольный своей находчивостью. — Ай да баба!

— Нет, барин, не распоряжается. Она кухарка у присяжного поверенного Александрова и хотела сосватать женщину в горничные. — Ястребов дружелюбно взглянул на задержанную, желая ее подбодрить.

Ротмистр взорвался от такой наглой лжи:

— Брось эти финти-минти... Заступник какой! Чепуху болтать вздумал, подлец!

— Странно, в Чечеловку приходит незнакомая женщина, чтобы получить работу у адвоката Александрова?! — Полковник поддержал ротмистра.

— Ничего странного — бабье дело. Друг за дружку так и держатся. К тому они дальние сродственницы! — пояснил Ястребов. — Дальние... Вода на киселе, а по деревне-то сродственницы!

— А Александров? При чем здесь Александров?

— Так я же говорил, что моя баба служит там кухаркой!

— Послушай, голубчик! — Полковник барственным жестом остановил Ястребова. — Женщина не могла оказаться в доме случайно... Кстати, как ее зовут?!

Ротмистр иронически посмотрел на полковника — господин хороший, хамье вокруг пальца водит да еще нагло враньем потчует!

— Как зовут?! — Ястребов вопросительно уставился на арестованную, словно увидел ее впервые. — Да лихоманка этих баб разберет. К нам вся деревня прет, коли каждую помнить, так и себя забыть можно. У меня с бабами разговор скорый: «Здрасте и досвиданье!»

— Нахал! Перед кем ваньку ломаешь! — Ротмистр с кулаками налетел на Ястребова. — С тобой по-хорошему... У, падло! Убыю!

Хозяйка закричала дурным голосом. Захлебнулась в слезах девочка. Полковник, не выносивший ни детского крика, ни женского плача, кривился и с возмущением смотрел на ротмистра.

— Я приказал убрать эту женщину!

— Какие противоправительственные речи произносила здесь пропагандистка?! — Ротмистр решил взять быка за рога. — Полиции известно, что задержанная является пропагандисткой!

— Речи?! Да она и рта открыть не успела — полиция заколотила в дверь! Дверь была не заперта — ничего за-

претного в доме не происходило! Не понимаю, зачем так колотить?! — Ястребов успокаивающе кивнул жене. — Именины... Коли возбраняется, так с извиненьицем!

Ротмистру захотелось ударить Ястребова, но мешал этот дуралей полковник. Круто развернулся на каблуках и шагнул к рабочим, задержанным в доме Ястребова.

— Старик, подойди поближе! — Ротмистр поманил благообразного путевого обходчика. И резко приказал городовым: — Пропустить!

— Слушаю, ваше благородие! — Старик с поклоном остановился перед ротмистром.

К старику подошел и полковник.

— Вы человек старый и верующий! — Полковник пухлыми руками сделал неопределенный жест. — Полиции нужно знать правду, что происходило на сходке. Думаю, греха на душу не возьмете?!

— Куда там грешить, ваше высокоблагородие! Скоро перед всевышним предстану. — Старик с достоинством поклонился и, откашливаясь, сказал: — Ржа губит железо, тля сады, а лжа душу.

Полковник усмехнулся — старик перевернул по своему притчу. Народец... Все с подвохом, под простачка!

— Значит, из верующих?! — вновь уточнил полковник, желая напомнить старику о его христианских обязанностях. — Слушаю, слушаю...

— Про что слушать, ваше высокоблагородие. Здесь мы, как хозяин сказывал, собрались чайком побаловаться да именинничка проздравить... И проздравить, и про жизнь погутарить...

— Эта женщина — опасная государственная преступница! — Полковник требовательно взглянул на старика. — Жаль, что лжете!

— Упаси бог, ваше высокоблагородие! — Старик перекрестился широко и истово. — Греха на душу не приму!

— Стыдно и грешно! — Полковник помрачнел, и у глаз легла складка неудовольствия. — Скажу церковному старосте и отцу Павлу...

— В кутузку его, разбойника! — Ротмистр с пренебрежением взглянул на полковника. Крамола и неповиновение, причем издевка явная, а старый дуралей антимонии разводит: «Церковный староста.., отец Павел»... Идиот проклятый!

— Полиция к рабочим претензии не имеет, — полковник прошелся по комнате. — Женщина обманом, используя неопытность, вовлекла вас в сообщество. Полиция давно ее разыскивает. Женщина обвиняется в убийстве рабочего, который, как честный человек, пришел в полицию и попросил защиты.

Рабочие угрюмо молчали — жалости к человеку, ставшему предателем, никто не испытывал. «Пришел в полицию просить защиты?!» Шутишь, ваше высокоблагородие! Дураки-то перевелись...

Ротмистр приказал задержанной подняться и предстать для опознания. Так и стояла с заломленными руками. Рабочие молчали. В глазах сострадание. Сердобольная хозяйка утирала слезы. Старик с упреком качал головой.

— Прикажите дать показания Салате! — Полковник помедлил и добавил: — Но прежде следует произвести тщательный обыск!

Позвали понятых. Соседей. Угрюмого мужика с женой. Женщина была полна сострадания к каторжникам, а в том, что дело закончится каторгой, она не сомневалась, плакала и принесла узелок с краюхой хлеба, который намеревалась вместе с пятаком отдать соседям.

В доме перевернули все. Поднимали половицы, гремели в шкафчике посудой, выбрасывали нехитрую рухлядь из комода. Чистая и праздничная горенка, пахнувшая пирогами и медом, уподобилась разворошенному муравейнику. Летал пух. Рабочие кашляли. Хозяйка плакала.

— Посмотри за иконой! — Ротмистр встретил недоуменный взор Ястребова и пояснил: — Полиции известна эта уловка.

Грузный унтер, побрякивая, взобрался на стул и сорвал икону. Старик, тот, кто крестился в разговоре с полковником, присмирел. Он пел в церковном хоре. Унтер делал привычное дело, и это поняли рабочие. Без почтения перевернул икону. Равнодушно ковырнул ножом и бросил Михаила-архангела на стол, словно ненужную фанеру. Михаил-архангел лежал под лампой и застывшими глазами взирал на святотатство.

Хозяйка заплакала тихо и горестно. Душа не понимала такого кощунства. Этой иконой мать благословляла. Икона-то семейная, от деда. И главное — наивная вера была поругана и поколеблена. У унтера рука не отсохла! И ротмистр не потерял дар речи!

Рабочие насупились.

Полковник в душе негодовал: этот дурак ротмистр, пожалуй, преуспеет более, чем социалисты со своей пропагандой! Нахмурился и решил строго взыскать в отделении с офицера.

Ротмистр спохватился. Тишина звенела. На рабочих смотреть страшно — осквернена икона! Он неловко приложил заднюю крышку и пригнул гвоздем. Небрежным жестом повесил на стену. Икона закачалась.

Хозяйка этого не перенесла. Не в силах справиться с волнением, она ушла в сад и громко кричала на Салату. Кружковцев-то предал он!

Салата от показаний не отказался. Долго тянул канитель, как обманом его вовлекли в кружок, как читали прокламации да говорили о хозяевах железнодорожных мастерских. Он стоял около полковника и с готовностью, поразившей рабочих, говорил о задержанной:

— Это она вела кружок железнодорожников... Ругала царя да призывала бороться против войны с японцами...

Война-то народу не пужна... Грабительская, мол, война...

Женщина печально слушала предателя. Слова причиняли физическую боль. Предатель... Как будет смотреть людям в глаза?! И Салата чем-то напоминал ей Волнухипа. Конечно, глазами. Бегающими и затравленными. И только в эти минуты она поняла, как затекли руки от напряжения, как устала от длительного спектакля. Ясно, полиция все знает, представление дается с единственной целью — придать большую гласность аресту террористки. «Крупную террористку взяли при таких-то обстоятельствах... Обезоружили ее в Екатеринославе, и геройство проявили полковник такой-то и ротмистр такой-то»... Тут и награжденные, и продвижение по службе! Но рабочие какие молодцы! Защищают, и самоотверженно. Ястребову она верила и раньше, но старик удивил. На занятиях каверзные вопросы подбрасывал, а каким орлом оказался! И в глазах тревога за ее судьбу — конечно, никто не поверил полковнику, что она убила рабочего. Кружковцы старались ее спасти — это большая радость. В слова Салаты она плохо вслушивалась. Кружилась голова, и лицо унтера, заплывшее и тупое, было отвратительно. И еще одно лицо привлекало ее внимание — хищное и горбоносое. Ротмистр со старательностью гимназиста составлял протокол.

«11 сего февраля проживающий в г. Екатеринославе в доме бывшем Ястребова по 4-й Чечеловской улице рабочий местного железного завода Иван Салата, явившись к приставу 5 полицейской части, заявил, что вечером того же дня в квартире Демина, где находится и он — Салата, будет противуправительственная тайная сходка рабочих числом 12 человек. В указанное Салатою время и место явились вечером пристав 5 части и начальник Екатеринославского Охранного отделения ротмистр Шульц, где застали в совместной квартире рабочих Салаты и Демина 12 человек рабочих местных заводов и одну молодую интеллигентную женщину, отказавшуюся назвать себя и

свое место жительства. Тут же Салата заявил ротмистру Шульцу, что сходка эта была противуправительственного характера и была руководима неизвестной женщиной, которая поясняла собравшимся о том, что война с Японией начата Россией потому, что государь сильно притеснял японцев, что рабочим на войну идти не следует, потому что после войны увеличатся подати и налоги, а потому рабочим нужно соединиться вместе и свергнуть царское правительство.

Произведенными обысками у всех участников сходки ничего преступного обнаружено не было...»

...И потом в отделении ротмистр Шульц, не скрывая торжества — с полковником на радостях они помирились — дописал протокол. Дописал, убедившись, что террористка не сможет себя отравить — в камере на столе водрузил кувшин с молоком.

«Неизвестная женщина, после ее ареста назвавшая себя дочерью священника Конкордией Николаевной Громовой, оказалась лицом, разыскиваемым телеграммой начальника Тверского губернского жандармского управления, как причастным к политическому убийству.

Произведенным обыском на квартире у Громовой ничего преступного обнаружено не было, сама же Громова препровождена мною 13 февраля под конвоем к начальнику Тверского губернского жандармского управления.

Об этом при вверенном мне управлении возбуждено дознание в порядке 1035 ст. Устава уголовного судопроизводства, о чем доношу Департаменту полиции.

16 февраля 1904 г.»

Ротмистр Шульц поставил замысловатую закорючку и откинулся в кресле. Слава богу, все закончилось. Нужно исхлопотать для Салаты десять рублей наградных да проследить, чтобы его перевели с завода в железнодорожные мастерские.

Февраль—кривые дороги

Полковник Уранов сиял. На лице улыбка, ее не часто можно было увидеть за последнее время. Он, начальник Тверского жандармского управления, объявил войну Тверскому комитету РСДРП и эту войну выиграл! Конкордия Николаевна Громова, о ком разосланы циркуляры, письма, секретные телеграммы, обнаружена и препровождена в его распоряжение. Предстоит крупный политический процесс — полковник сумеет это сделать, — процесс, который привлечет к себе внимание, а значит, вызовет его, полковника Уранова, из этой дыры, может статься, откроет дорогу в Петербург.

Телеграмму о прибытии Громовой доставили утром, и полковник распорядился об усиленном конвое для встречи и об одиночном заключении в Тверской губернской тюрьме. Но прежде он лично побеседует с подследственной. Московский поезд приходит в восемь. От вокзала до управления путь недолгий, к тому же некоторые формальности, значит, он сможет заняться государственной преступницей в девять часов.

Жизнь в провинциальных городках начиналась рано. Громову поведут под конвоем городских и конных жандармов. Да-с, сюрприз для семейки!

Полковник Уранов прошелся по обжитому и просторному кабинету. Позвонил. Раздвинулись портьеры, в дверях застыл адъютант, наклонив голову с прямым пробором. Выправка, выправка отменная, — залюбовался полковник и приказал:

— Громову по прибытии доставьте ко мне в кабинет!

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — Адъютант щелкнул каблуками и бесшумно исчез.

Поразмыслив, полковник переставил кресло на самую середину комнаты. Как хороший актер, он обставлял пред-

стоявшую сцену допроса, от которой зависел весь ход следствия.

В венецианское окно было видно, как доставили арестованную. Февраль — кривые дороги. Полковник усмехнулся: дороги в Твери всегда кривые.

Возглавлял процессию жандарм на кауrom жеребце. По бокам — жандармы, разукрашенные свистками, ремнями и оружием. Шашки сверкали в солнечных лучах. В центре арестованная. Она шла по грязи, не разбирая дороги, и путалась в полах легкого пальто, к груди прижимала узелок.

Сыпал снег с дождем. И мокрые хлопья лежали на плечах арестованной. Пальто было заляпано грязью, летевшей из-под копыт лошадей. Волосы, выбившиеся из-под меховой шапки, напоззали на лицо.

И еще одна участница этой драмы привлекла внимание полковника Уранова.

За процессией бежала девушка. Торопилась, боясь отстать, и с трудом вытаскивала ноги из грязи. Кулачками она поминутно смахивала слезы, временами пыталась приблизиться к процессии, но жандарм, раздувая щеки, дул в свисток. Девушка замедляла шаг, начинала сутулиться и спотыкаться. И та, которая была под конвоем, поворачивала к ней страдающее лицо. Прохожие останавливались...

«Все к лучшему... К лучшему...» — торжествовал полковник Уранов. Одна сразу поймет серьезность положения, да и для другой наука. Вот она, действительность! Шутить не времечко!

Полковник хрустнул пальцами, что служило признаком сильного волнения. Решил просмотреть бумаги, пока в канцелярии пройдут первые формальности.

Наконец адъютант ввел Громову. Она ежилась от холода и пережитого унижения.

— С благополучным прибытием, Конкордия Николаев-

на! — Полковник аккуратно завязал тесемки на папке и передал ее адъютанту: — Как доехали? Ба, да вы совершенно промокли. Чайку не прикажете?

Конкордия Николаевна с трудом воспринимала происходящее. Прибытие в Тверь, коридор из городских, отделивший ее, преступницу, от публики на перроне. Комната на вокзале, зажатая железными решетками, железной дверью и железным столом. Кувшин с молоком на случай, если у арестованной обнаружат яд. Путь по городу, крики конвоя. И этот ветер с мокрым снегом... Встреча с Калерией, отнявшая последние силы... Сестра с папкой для нот, с припухшим от сна лицом стояла на перекрестке и всматривалась расширенными от ужаса глазами в процессию. Ее сестру, Конкордию, вели под конвоем, словно лесного разбойника!

Полковник Уранов дал возможность арестованной освоиться с новым положением.

— Попросите подать в кабинет завтрак, — обратился он к адъютанту и, повернувшись к арестованной, сказал доверительно, как старой знакомой: — В дороге чайком не баловали, эти кондукторы — отчаянные жулики.

Полковник оказался радушным хозяином. Сам расставил на столе чашки, приложил руку к чайнику, чтобы проверить, достаточно ли он горячий, откинул салфетку на хлебнице, похвалил калачи.

— Пожалуйста, Конкордия Николаевна! — Полковник накладывал щипчиками сахар и, признаваясь в слабости, вздохнул: — Грешен... Люблю послаще...

Полковник ел весело. Отламывал румяные корочки калача, ловко намазывал маслом и, довольный, запивал чаем.

Конкордия Николаевна в дороге не ела: арестантский паек забыли выписать. Сильно сосало под ложечкой, так сильно, что она с трудом сохраняла непринужденный вид. К булочке не притронулась и с тупым равнодушием ждала, пока полковник закончит чаепитие.

— Значит, кто-то опередил меня с завтраком! — хотнул полковник и, скомкав салфетку, вернулся за письменный стол. Сел, покосившись на царский портрет, висевший на стене.

Конкордия Николаевна молчала.

— Я не буду от вас скрывать, положение тяжелое. — Полковник придал лицу озабоченное выражение.

Женщина подняла глаза.

— В ходе следствия по делу неизвестного вам Волнухина возникли прямые улики против вас, члена Тверского комитета РСДРП, принимавшей непосредственное участие... — Полковник не договорил, словно щадил женщину.

— По делу Волнухина? Каким образом?

— Версия, сложившаяся у следствия, проста и достаточно убедительна — вы не только агитацией среди кружковцев способствовали устранению инакомыслящего, но и непосредственно принимали участие в умерщвлении Волнухина.

— Умерщвлении? — Конкордия Николаевна от удивления подалась вперед. — Следствие в умелых руках может доказать любое беззаконие. Я это знала, но до такого не могла додуматься!

— Убийство-то не простое, а по политическим мотивам. Волнухин был убит — этот факт оспаривать не приходится.

— Мало ли убийств на святой Руси, какое это имеет отношение ко мне? Кстати, назовите точную дату убийства.

— Вы знали Волнухина? И имели основание ему не доверять? — Полковник старался избежать прямого ответа на нежелательный вопрос.

— Конечно, знала и не доверяла, но это не повод для убийства. К тому же я не знаю подробностей...

— Наивно... Наивно... Вы не отрицаете, что знали Вол-

пухина, более того, не отрицаете, что не доверяли ему.

— Я и вас знаю, к сожалению... И вам не доверяю. Что ж из того? Довод без доказательства. Подробностей не знаю, что и утверждаю, ибо по вашему распоряжению перехватывали мои письма к родным. Я долго не могла понять, что происходит с моими близкими. Почему они ответственны за убийства, которые происходят в Твери? — Конкордия Николаевна требовательно взглянула на полковника.

— Значит, связь с Тверью продолжалась. Я так и думал! Я взял под наблюдение семью преступницы, желая установить ваше местонахождение.

— «Преступницы»... Вы решили сделать карьеру в провинции, возбудив умы эдакой невидалью. — Конкордия Николаевна гневно выпрямилась. — Я протестую — вы без основания попирали законность, если таковая вообще имеется, и изволили обращаться с моими близкими, как с уголовными. Более того, мою несовершеннолетнюю сестру подвергали допросам и прочим унижительным процедурам. Ведь обвинение абсурдно, мой отъезд произошел за сутки до свершившегося убийства.

— Чем вы это докажете?

— Очень просто, нужно взять донесения агентов о моем отъезде и сравнить с датой убийства. — Конкордия Николаевна поняла, что нашла уязвимое место. — Если отъезд не зафиксирован — в тот день лил дождь и филерам не хотелось мокнуть, то мое исчезновение из города на следующий день не могло остаться незамеченным.

— Как докажете дату отъезда? — Полковник не ожидал такой прямоты — ни заpiresательства, ни уловок, а только требование материалов, на которых строится обвинение. Однако, хороша — палец в рот не клади.

— Не беспокойтесь, господин полковник. На суде найдутся и доказательства, и свидетели.

«Найдутся... Конечно, отъезд был организован...»

— Свидетелей вы обязаны представить следствию! — Полковник откинул календарь и взялся за карандаш: — Имена... Фамилии... Адреса...

— Не утруждайте себя, господин полковник! — Копкордия Николаевна рассмеялась. — К чему эдакое нетерпение? Имена свидетелей будут сообщены адвокату в день суда. В противном случае свидетелей приобщат к делу как соучастников, поставивших целью насильственное ниспровержение существующего строя.

Полковник Уранов молчал. Дело принимало нежелательный оборот. Выходит, недаром девица Громова в Париже изучала право и юриспруденцию. Знала, что эти познания ей пригодятся в России.

— В политических делах законность не очень-то соблюдается. В делах уголовных — убийство принадлежит именно к таким — без суда присяжных обойтись не удастся. И заседатели потребуют элементарных сведений о так называемом преступлении — нахождение убийцы в одном городе с жертвой. Ведь по элементарному разумению преступник в момент убийства должен территориально находиться вместе с убиенным. И этого вы не сможете доказать! Это липа... Самая настоящая!

— Не делайте из меня глупца! — возмутился полковник Уранов. — В тот день вы были в Твери.

— Нет, не была. Повторяю, ровно за сутки до убийства я выехала из города. Свидетели найдутся вполне добропорядочные, и суд не сможет их отвести. Обвинение шито белыми нитками, и, кроме конфуза и нежелательной огласки, ничего не получится. Не повезло, господин полковник, гора родила мышь!

— Прекрасно... Прекрасно... — Полковник овладел собой и заговорил с завидной непринужденностью: — Вы правы, и мы, следствие, и вы, подследственная, заинтересованы в одном — восстановить истину! И не нужно усматривать во мне злодея: я, как представитель законности,

буду благодарен каждому новому факту, если он позволит пролить свет на драму и доказать вашу невиновность...

— Прошу вас,— Конкордия не дала закончить тираду,— в моей невиновности нет ни малейшего сомнения. Это совершенно очевидно, но ваша забота в том и состоит, чтобы из невиновности сделать виновность! Почему жребий пал на меня? И здесь свой резон — я недавно вернулась из Парижа. По вашим понятиям, я связана с заграничной группой социал-демократов. Это придаст солидность и убедительность для простачков, уверенных, что революцию ввозят из-за границы...

— Значит, не отрицаете, что приехали из Парижа?

— Нет, отрицаю... Сегодня меня привезли из Екатеринослава,— невесело отшутилась Конкордия Николаевна.— Привезли на государственный кошт и на дармовых харчах. Да, я была за границей — таможня подтвердит, кстати, что при досмотре в вещах не нашли ничего предосудительного.

— Чем занимались в Париже? С кем встречались? — Полковник начал нервничать.

— Чем занималась? Самообразованием. В России мне не дали закончить Бестужевские курсы. Вот и сидела в Париже за книгами. Право изучала! Процесс познания доставляет великое удовлетворение. И еще одно — в сообществе преступном не состою!

— Выясним, Конкордия Николаевна.— Полковник сжал руками виски. Допрос длился около двух часов.— Выясним...

— Выяснить мало — нужно доказать. Ведь донесения охранки, наружное наблюдение — документы внутреннего пользования и для суда непригодны.

— Оптимизм, к сожалению, не имеет почвы — синодик ваших грехов так велик, что беспечность трудно объяснить.— Полковник солидно откашлялся и водрузил на нос очки.

— Это не беспечность, а здравый смысл и знание юриспруденции. Это не позволит запугать меня и запутать так называемыми непреложными уликами.

— Да-с... Девушка из обеспеченной семьи изучает Уложение о наказаниях, скрывается под чужими именами, якшается с какими-то сомнительными волнухиными...— Полковник устало посмотрел на Грому. — С красотой и умом, положением и богатством вы должны были блистать в обществе, радовать матушку! К чему все это? Социальные идеи — мода, дань ей отдают и сильные люди. Отдали дань и вы, Конкордия Николаевна. Теперь воочию убедились, как опасен и труден этот путь. Зачем упорствовать в своих ошибках?

— Ошиб-ках? — переспросила Конкордия Николаевна. — Мне жаль вас. Как изолировать себя от социальных идей, зла и несправедливости? Как заглушить совесть? Как оправдать собственное бездействие?

Полковник не отвечал. Задумчиво смотрел на молодую женщину. Поди ж ты, счастлива, словно ей известна высшая правда, которую он, полковник, не может уразуметь. Казалось, он был взволнован и вполне искренен:

— Мои встречи с социалистами, к великому сожалению, почти всегда заканчивались безрезультатно. Фанатизм глубоко укоренился в сознании ваших единомышленников, которые утверждают, что идеи могут сломать государственный строй. Я говорю неофициально — убежденность вызывает уважение. К солдафонам я не принадлежу и проявляю определенную терпимость к инакомыслящим.

— Bravo, полковник! Отпустите меня, коли терпимы к инакомыслящим, — не без издевки попросила Конкордия Николаевна. — Слова и фарисейство... Убежденность не есть религиозность, ибо она покоится на сознании. Непобедимый Рим сокрушили разрозненные восстания рабов — напрасно не придаете серьезного значения разрушительной силе идей! — Она наклонилась и, подражая полков-

нику, понизила голос: — За откровенность откровенностью: идеи весьма опасны для вас, как должностного лица!

— И опять безрезультатная встреча! — невесело усмехнулся полковник и приложил ладони к вискам, пытаясь спастись от боли. — Впрочем, я ждал большего доверия и откровенности...

— Доверия к начальнику губернского жандармского управления? — Конкордия Николаевна усмехнулась: — В камере буду себя казнить за то, что разговаривала с вами. Мне хотелось, чтобы вы знали степень моей юридической осведомленности.

— Есть ли личные просьбы?

— Оставьте в покое сестру Калерию. Она ни в чем не замешана. Боль мне сможете причинить и другим образом. В условиях тюремного произвола возможностей для этого достаточно.

— Вынуждены лишить вас переписки... Лишить права покупать продукты за собственный счет... — Полковник с сожалением развел руками. — Упорство наказуется. Условия тюремного заключения тяжелые, а после Парижа покажутся нестерпимыми.

— Выдюжим. Не в первый, да и не в последний раз...

— Огорчительно это слушать! — Полковник дернул ручку звонка. — Впрочем, готов принять в любой день и час, если решите дать показания.

— Полно, полковник! Не утруждайте себя... — Конкордия Николаевна встала.

Одиночка № 5

О Конкордии Николаевне Громовой, арестованной пятой одиночной камеры, забыли, как умели забывать в российских тюрьмах: на прогулки не выводили, передачи не приносили, на допросы не вызывали. Умысел полковника Уранова простой: слова словами, а тюрьма —

не мать родная, обломает. Протесты паказывались карцером, перестукивание — руганью надзирателей, желание вызвать прокурора — переводом на хлеб и воду.

Одиночка сырая, полутемная, с клопами, достигшими исполинских размеров от вольготной жизни, с набегамы крыс.

В тверской тюрьме находилась и Прасковья Куделли. В перловой каше, твердой, как дробь, оказалась записка. В тюрьме почти весь Тверской комитет. Ретивый полковник Урапов искоренял крамолу — рабочих допрашивал самолично ночами, запугивал и вынуждал к ложным показаниям. Куделли беспокоилась о Конкордии Николаевне, ибо ее держали на особо строгом режиме. Записка полна такой нежности и тепла, что Конкордия Николаевна, устав от одиночного заключения, недоедания и бессоницы, расплакалась.

И в пятую одиночку стали приходить посылочки — кусок сахара в бумажке, ломтик деревенского сальца, ржавая селедка... Передавал тайком надзиратель Петрович, при этом вздыхал и качал головой. Она не понимала этих сочувственных взглядов, пока не посмотрела в «зеркало». Налила в миску воды и, воспользовавшись солнечным днем, посмотрела на себя. Боже! Она не сразу признала себя в состарившейся женщине, худой, с мешками под глазами, морщинами и седой прядью. Это в двадцать восемь лет? Пожалуй, рановато. Долго вглядывалась, не веря, что так изменилась за год заключения! И здоровье распаталось — одышка, сердцебиение... Год в тюрьме — и ни элементарного следствия, ни обвинительного заключения!

В тот день, когда ее привезли в Тверь, в кабинете полковника Уранова она не предполагала, что следствие будет развиваться таким образом. Она шла на поединок, готовая разоблачить фальшивку, пугая оглаской и проявляя познания в юриспруденции. Смешно! О ней забыли —

кричи, бейся головой, рыдай. Отобрали все: и фамилию, и имя, и гражданские права,— все слилось в одно понятие — арестованная пятой одиночки!

Однажды зашел начальник тюрьмы в сопровождении свиты, респектабельный, упитанный полковник с хорошими манерами. О нем не скажешь — тюремщик! Равнодушно взирал на стены в грязных потеках и зеленых лишаях от сырости. Достал надушенный платок, поднес к лицу, не мог справиться со зловонием, доносившимся с кухни.

Начальник тюрьмы не замечал арестованной. Веселыми глазами смотрел поверх лица.

— Железо получаете? — спросил тихим, вкрадчивым голосом, устремив глаза в окно.— Это хорошо при цинге...

Врач, желчный, с унылым взглядом, трусливый, безвольный, ненавидимый всей тюрьмой, достал книжечку, буркнул:

— В каждой камере кто-то цингой болеет...

Конкордия Николаевна сидела закутанная в платок. И не встала при появлении начальства. Дежурный падзиратель от возмущения побагровел, готов был силой заставить ее подняться с места. Начальник тюрьмы сделал едва приметный протестующий жест. Конечно, к чему без нужды озлоблять политическую.

— Просьбы есть? Заявления...

— Почему не предъявлено обвинительное заключение? Почему содержат в тюрьме? Не разрешают свиданий? Лишили права переписки! — Конкордия Николаевна была спокойна, но каких это стоило усилий! — Есть ли ответ прокурора на мое заявление от декабря прошлого года? Прошел целый год, а следствие не сдвинулось с места! — Голос ее гневно дрожал.

— Свидания не разрешаются за преднамеренное и злое поведение. Переписка тоже.— Полковник потрогал рукой



печь, растрескавшуюся и облупившуюся.— Обвинительное заключение не может быть предъявлено до окончания следствия. По существующему законоположению обвинительное заключение становится известным только после завершения следствия.

Полковник упивался игрой в слова, круглые как галька, ровные от частого употребления и пустые, ибо были лишены смысла.

Врач уронил карандаш, и звук, неприметный в обычных условиях, гулко отозвался в каземате.

— Впрочем, после подачи последнего заявления истекло три месяца и возможно подать новое...— Полковник слыл демократом.— Да, да, подавайте...

— К чему же? — Конкордия Николаевна гневно посмотрела на него.— Если в течение трех дней не получу ответа от прокурора, не получу свидания, то объявляю голодовку!

— Голодовку? — вмешался в разговор врач.— Вы истощены до крайности, длительное время лишены воздуха... Не уговариваю... Но нужно взвесить силы... Для вас она может оказаться роковой...

— Какое проявление заботы! — Конкордия Николаевна грустно усмехнулась.— Бойтесь ревизии после смерти Павлова...

Полковника передернуло. Врач с остервенением отыскивал карандаш, который вновь оказался на полу. Действительно, от голодовки умер заключенный Павлов. Он был тяжело болен, и администрация не верила в голодовку: не враг, мол, себе. Но Павлов, измученный страхами за беременную жену — ее держали в изоляторе вместе с тифозными больными,— решился — ни пищи, ни воды! Началась нервная горячка, и Павлов умер. Тюрьма устроила обструкцию. В камерах выбили стекла, разломали нары. В тюрьму вызвали пожарные части, струи воды били по окнам — это зимой-то! Огласка произошла самая нежсла-

тельная. Писали газеты и в Твери, и даже в Петербурге. Вот и ждали ревизии...

— Силы мои мне известны... — с вызовом ответила Конкордия Николаевна и, уловив замешательство на лице полковника, удовлетворенно подумала: «Испугался!» — Беззаконию будет положен конец! Не остановлюсь и перед судьбой Павлова. Полагаю, что и история Марии Ветровой тоже не забыта. Я — бестужевка...

Полковник удалился. Надзиратель укоризненно покачал головой и засеменил, боясь отстать от свиты.

Прошли три дня. Самые долгие в ее жизни. Ни свидания... Ни прогулки... Ни ответа от прокурора...

Конкордия Николаевна объявила голодовку. Легла на койку, натянула под самый подбородок одеяло и отказалась от пищи.

С непривычной предусмотрительностью надзиратель придвинул к койке табурет. Загремела цепь — табурет-то прикован! — и вытянулась змеей. На табурете кружка с кипятком, ломоть хлеба, три куска сахара. В обед вместе с завтраком на табурете появился котелок с баландой. Вечером — еще кружка с кипятком и сахар.

Надзиратель заботливый. Все яства с табурета перенес на край стола, а к чаю ломоть белого хлеба! Помялся, откашлялся в кулак, упрашивая:

— Барышня... Барышня... Чай сладкий... Не из ведра... С заварочкой... Хлебец ситный... — Помолчал и философски закончил: — Надумали себе заботушку — ели бы, коли дает начальство. И вам хорошо, и нам привычно!

Конкордия Николаевна молчала. С момента объявления голодовки она не произнесла ни слова. В разговоры с администрацией отказалась вступать. Лежала, уставившись в облупившуюся стену... Воображение рисовало привычные картины. Зеленый мох похож на лес, вот и сторожка. Там и лесник может жить. Конечно, сторожка — крыша под соломой, изгородь кривая...

Надзиратель на цыпочках вышел, стараясь не скрипеть дверью, защелкнул замок. Со дня голодовки передвигался по камере осторожно, словно боялся разбудить тяжело больного. К окошечку, прорезанному в двери, через которое обычно передавали миски с едой, она не подходила.

Третий день голодовки. Кружилась голова. Конкордия Николаевна попыталась приподняться, и сразу же поплыла камера перед глазами, запрыгали черные точки... Начали падать вещи, все рушилось, качалось. Подступила тошнота, сильно забилося сердце. Организм был ослаблен за год пребывания в тюрьме... В желудке начались болезненные рези. Она облизывала языком запекшиеся губы. Силы придется расходовать экономно. Затянула потуже платок и принялась по памяти читать Некрасова. Почему она так тяжело переносит эту голодовку? Всего три дня. Потому, что организм обезвожен. И она вновь заставила себя читать Некрасова. Обступили видения: Иркутск... Она — маленькая девочка, сестры, матушка в лиловом платье. Рождество. Елка в зале, заваленная подарками. Музыка... И рождественский стол весь в яствах. Окорока с румяной корочкой, гуси, заливные поросята, пироги. Все красочно, как на картинах Рубенса. Эти картины она видела в Париже в Лувре. И опять стерляди, грибы, индейки... Но все это отдала бы она за глоток воды! Пожалуй, зря она от нее отказалась.

Глоток воды... И опять ее обступали видения — ранней весной она поехала с няней в деревню. Няня надумала навестить внучат. Был май. В тайге лежал почерневший снег. Зеленели ели, омытые талыми водами. И на опушке родничок. Какая там была вода! Ледяная, хрустальная, от которой ломило зубы. Она пила ее мелкими глоточками... В Шлиссельбурге, где томились народовольцы, голодовки бывали часто. Кто-то из народовольцев рассказывал, что в подобных случаях следовало обмочить губы водой — возникала иллюзия утоления жажды. Она обмакнула в

кружку палец, провела по губам и жарко слизнула капли воды. Нет, так и рассудок можно потерять. Она прикрыла глаза, словно спасаясь от видений.

Неожиданно для себя она начала думать об Аркадии, думать с тоской и полной безнадежностью. Где он теперь? Вспоминает ли ее? Знает ли о ее аресте? Конечно, не знает. И ей стало обидно до боли — она принимает такие муки, а он, Аркадий, об этом и понятия не имеет. Впрочем, разве он виноват, что их отношения так нескладно сложились. Она сама почему-то избегала с ним встреч. Нет, теперь и на этот вопрос она может ответить — да, избегала потому, что не имеет права на личную жизнь! Мудра, мудра... И опять она в который раз за последние дни вспоминала свою встречу с Аркадием у Ольги Ивановны, поездку по снежной Москве, горевшие восторгом его глаза и чемодан, поставленный в ногах, который мешал ей.

Ее охватило радостное и счастливое чувство, она начала свой долгий разговор с этим малоизвестным, но бесконечно для нее близким человеком. Хватит, помудрила, она все силы приложит, чтобы отыскать его, как только выйдет из тюрьмы. Сил у нее много, человек сам не знает, на что он способен, вот только бы уйти из каземата, а для этого нужно выстоять, выдюжить...

Копкордия Николаевна снова окунула палец в кружку и провела по губам. На столе и табуретке — море разлитое: баланда за все дни, сахар, на тарелочке пирожки и даже стакан молока. Тюремная администрация не скупилась на расходы. Эти три первых дня врезались в память кошмаром. Постепенно ею овладело равнодушие. Даже не всегда слышала, когда приходил надзиратель. Плохо понимала его слова, становилась вялой и безучастной. Оставалась равнодушной и при виде тюремного врача. Тот прощупывал пульс, озабоченно кивал головой, пробовал уговаривать. Приходил и полковник. На лице его она

прочитала испуг. И это открытие не удивило ее, — значит, сильно переменилась. И опять она впадала в сонное бесстрастие. Слов полковника не слышала, врачу, стоявшему с ложкой микстуры, не отвечала. Последний раз даже глаз не открывала. Постояли, пошептались и ушли. Дверь взвизгнула и стихла.

Конкордия Николаевна старалась больше спать. Закрывала глаза и приказывала себе заснуть. Сладостное и бездумное забытие было нарушено надзирателем:

— Барышня! — Надзиратель тряс ее за плечи. — Проснитесь! Да проснитесь же! Так и до беды недалеко...

Конкордия Николаевна с трудом открыла глаза. Веки были пудовыми и сами собой закрывались.

— Вам передача от сестрицы... От Калерии Николаевны...

Конкордия Николаевна не сразу поняла, о чем он говорит. Передача от сестры, от Калерии, значит, победа. Она и радости не испытывала. С усилием приподнялась на локтях. Вихрем закружилась камера, надзиратель, кулек, конфеты, которые сыпались из кулька.

Надзиратель помог ей прислониться к стене, подсунул подушку под бок. На колени положил передачу. Она от удивления протерла глаза — скатерть-самобранка: куличи, крашеные яйца, копченая колбаса...

Молча подняла глаза на тюремщика. Тот пояснил:

— Вот передача от сестрицы. — Загибал заскорузлые пальцы, перечислял: — Полковник сдался. В тюрьме волнение, тут комиссия по дельцу Павлова — разрешение вышло и на передачу, и на свиданьице...

Надзиратель жалел заключенную.

— А прокурор? — Конкордия Николаевна с трудом узнавала свой голос. — Что с моим заявлением?

— Голуба душа! Откуда мне знать? — Надзиратель поставил на стол бутылку вина. — По случаю вашей слабости...

— Петрович! Возьми стаканчик...— слабым голосом попросила Конкордия Николаевна.

— Чужое вино и пил бы, и лил бы, искупаться попросил бы...— Надзиратель заговорщически подмигнул и с готовностью поставил стакан.

Петрович слыл добряком. Служил исправно и арестантикам, как он их называл, утеснений не чинил. При случае и записочку передавал, и новости рассказывал, и лишний кусок хлеба подсовывал. И все ворчливо, с упреками, словно боялся, что доброта будет видна. Было в его добросердечии что-то от векового отношения русского человека к арестантам — жалостливое и сочувственное — он и пятак отдаст, и наставлений не пожалеет. Тюремная администрация недолюбливала Петровича, но и не увольняла. Прослужил он двадцать лет и в критические для администрации минуты мог успокоить горячие головы. Вот и терпела его администрация, ограничиваясь выговорами. Петрович к выговорам относился со смирением. Позднее Конкордия Николаевна не раз вспоминала мудрого Петровича. Арестами и тюремными баталиями жизнь ее была переполнена, и пребывание в тюрьме делалось непереносимым, если не встречался вот такой Петрович.

— Сладость какая! Как у попа на причастии! — Петрович пропустил второй стакан и провел по усам.— Без вина одно горе; с вином — старое одно, да новых два: и пьян и бит! Надо и тебе выпить... Силушки-то прибавится.

Надзиратель поднес кружку к губам Конкордии Николаевны и насильно заставил сделать несколько глотков. Вино обжигало горло и разливалось сладкой истомой. Голова кружилась, от умиления хотелось плакать и уже издалека доносился голос Петровича...

— Теперича спать... Одна слабость, потом кулича отломи. Чуток отломи, а то животом будешь маяться. Я здесь всего насмотрелся и упреждаю... Ну, бывай, голуба душа!

Радий

«Недавно открытый новый металл радий, обладающий, как известно, различными удивительными качествами и необычайной энергией, занимает теперь весь ученый мир. Наука еще слишком мало знакома со свойствами этого удивительного продукта природы, но существуют предположения, что он принесет немало пользы человечеству, когда будет исследован и когда люди научатся управлять его свойствами.

Вследствие этих возлагаемых на радий надежд, Шведская академия наук признала нынче необходимым наградить лиц, открывших радий, премией Нобеля. Так как участниками в деле открытия радия являются двое (или, вернее, трое) лиц — Беккерель, открывший радиальные лучи и так называемую радиоактивность, т. е. способность известных веществ испускать лучи помимо какого-либо постороннего воздействия на них, и супруги Кюри, которым удалось выделить из руды бария радиевую соль, то премия Нобеля разделена между Беккерелем и четой Кюри.

Радий в настоящее время получается покамест лишь исключительно в виде разных солей, т. е. в соединениях с другими веществами. В чистом виде его еще не удалось выделить. Но и в составном виде он представляет собою величайшую редкость, потому что его чрезвычайно трудно добыть... Английский фунт радия, таким образом, стоит около 6 миллионов рублей, а тонна — более 13 миллиардов. Эти бешеные деньги, конечно, никто в мире не мог бы истратить на приобретение тонны радия, но до сих пор и целую тонну радия добыть тоже невозможно.

Руда бария, содержащая радий, открыта была в Австрии в Иохимстале. Австрия в настоящее время запретила вывоз радиевой руды в другие страны и предоставляет ее

в распоряжение Венской академии наук, где теперь и производятся усердные исследования радия».

Конкордия Николаевна отложила журнал «Нива». Передачи приносил всю неделю Петрович и, видя, как она радовалась журналам, вручал сразу. За те четырнадцать месяцев, которые она провела в тюрьме, так от всего отстала. Теперь набрасывалась на каждое новое сообщение.

На этот раз помимо передачи пришло и разрешение на свидание с сестрой. Начальник тюрьмы решил не объявлять войны Громовой. Характер у нее непреклонный, в этом он убедился, — так и до беды недалеко.

Конкордия Николаевна, ослабевшая и усталая, плелась за Петровичем по тюремному лабиринту. Коридоры узкие. Пол устлан железными плитами. Гулко отдаются шаги.

Надзиратель шел впереди, стучал ключом о медную пряжку, чтобы избежать нежелательных встреч. Шел неторопливо, давая возможность заключенной не отставать от него. Болели ноги, голова кружилась, коридор казался бесконечным. И если бы не хитрый Петрович, ей бы не добраться до камеры, прозванной «свиданной».

Напарник Петровича замыкал шествие. Рябой и сухой как жердь, он шипел на Петровича, который вышагивал «по проспекту», наступал Конкордии Николаевне на ноги, а главное — торопил.

Петрович прикрикнул на него и сослался на инструкции, которые якобы запрещали бегать по коридорам. Бегать?! Нет, это он преувеличивал. Конкордия Николаевна вытирала холодный пот с лица и держалась за грудь, стараясь унять сердцебиение.

«Свиданная» против ожидания оказалась большой и светлой. Но что это? Вдоль нее протянута была в два ряда густая решетка, образуя коридорчик. По этому коридорчику прохаживался надзиратель. «Как в зверинце», — подумала Конкордия Николаевна.

В «свиданной» ни стула, ни скамейки. В красном углу икона в богатом окладе. Кто-то из купцов расщедрился. От усталости присела на подоконник. Надзиратель покачал головой. Потянуло сквознячком, и дверь для посетителей отворилась.

Калерия, отстранив надзирателя, бросилась к решетке. Обхватила прутья руками и замерла. В глазах боль, слова вымолвить не могла. По щекам потекли слезы. Жалко улыбкунула и попыталась поймать руку сестры.

Надзиратель выкатил живот и засеменял по коридорчику:

— Попрошу недозволенных разговоров и нежелательных рукопожатий не допускать... Во избежание возможной передачи записок!

— Кона, как здоровье, милая, родная моя? — Калерия не вытирала слез, надеясь, что сестра их не заметит. — Привет большой от Наташи... Иннокентий Иннокентьевич кланяется.

— Вполне... Вполне... — Конкордия Николаевна обхватила прут, ощущая, как ногти впиваются в ладони. — Спасибо за передачи...

— Наши очень волновались из-за голодовки. — Калерия никак не могла справиться со слезами.

Вид Конкордии ее потряс... Худая, почерневшая, словно после тифа. От слабости еле держится на ногах.

— Ничего, родная... Обошлось... Пожалуйста, только матушке ничего не пиши, будет волноваться.

— Конечно... Конечно... Сколько дней? — Калерия понимала, что не следует спрашивать о голодовке, но не могла совладать с собой. — Такие тяжкие дни... Между жизнью и смертью.

— Пять, Калерия... Пять... — Конкордия Николаевна тоже не хотела говорить об этом, но сил не было перевести разговор.

Конкордия Николаевна чувствовала себя разбитой и несчастной — одиночное заключение, голодовка, отнявшая последние силы, и бессовестный надзиратель, который вслушивался в разговор и оскорблял своим присутствием.

— Пять? Сказали в конторе только о трех днях... Пять дней! Это смертельно! — Калерия перекрестилась. — Какое злодейство!

— Нет... Человек умирает после семи дней без воды... Без пищи, говорят, на сорок второй...

— Прекратить разговор о голодовке! — вмешался надзиратель, возвысив голос.

— Как дела у тетушки? — Конкордия Николаевна боялась: сестра не поймет, что она спрашивает о Куделли.

— Тетушка? От нее нет известий.

— Ты поспрашивай про нее, я беспокоюсь.

«Значит, Куделли еще в тюрьме, — огорчилась Конкордия Николаевна. — Когда Калерия подпольные клички узнала. Бедная девочка. Нужно Петровича порасспросить с пристрастием».

— Хороша тетушка, коли племянницам не интересуется! — Надзиратель уставился круглыми глазами на Калерию. Арестованную он избегал затрагивать без крайности. — В разговоре все должно быть ясным — иначе свидание прекращу, а сестрицу уведу-с...

— Потрудитесь без надобности не вмешиваться в разговор! — Глаза Конкордии Николаевны полыхнули таким гневом, что надзиратель попятился.

Тюремщик обиженно оттопырил нижнюю губу и пробурчал что-то невнятное. Трудно с политиками — спасибо, сделали решетки, а то и до беды недалеко.

— Матушка ждет тебя в Петербурге. — Калерия с надеждой смотрела на сестру. — Вот скоро освободят, и мы уедем! Матушка очень хлопочет. Уж весна, воздух-то какой! Мы будем за тобой ухаживать. Дачу снимем в Петергофе, козьим молоком отпоим...

— Больше года в этой дыре... Ни обвинительного заключения, ни встречи с прокурором... Беззаконие сплошное, Калерия!

— О следствии, да незавершенном, разговаривать не положено! — Надзиратель поднес к губам свисток.

— Очень вас прошу... Очень... — Калерия судорожно искала в сумочке платок. — Мы так давно не видались...

Конкордия Николаевна молчала. Сестра с платочком, с распухшими глазами, рыдающая и заискивающая перед надзирателем, казалась маленькой и беспомощной. Бедная девочка, сколько страданий выпало на ее долю.

— Помолчи, Калерия... Помолчи, родная... Действительно, давно не виделись. Говорить ни о чем нельзя, но помолчать-то мы можем... Помолчать-то имеем право!

Сестры молчали. Калерия с восторгом смотрела на сестру. Больную, усталую, но не сломленную. Сестра в каземате вела тайную войну с начальством. Ей же тюрьма, окруженная высокой стеной и колючей проволокой, внушала ужас. А сестра здесь жила и боролась...

Калерия сильно изменилась за это время. В глазах, озорных и улыбчивых, теперь жалость и неуверенность. Душу надломило несчастье. Хождение по участкам, допросы полковника Уранова, упреки Натальи и вечный страх за нее, Конкордию. Это она во всем виновата. Но что делать? Было очень жаль сестру, да от несчастья она ее не уберегла.

Надзиратель достал часы-луковицу. Молчаливое свидание его пугало. Вечная морока с политическими! И он вздохнул: до конца свидания оставалось пять минут.

Калерия прижалась к решеткам. Старалась взглядом утешить и поддержать, защитить и ободрить.

Лицо Конкордии Николаевны разгладилось. В сдержанной улыбке дрогнули губы.

— Спасибо, моя девочка! — И, не дожидаясь свистка, она двинулась к двери.

— Люблю тебя, Кона! — Лучистые глаза Калерии сияли. — Ждем... Ждем...

Надзиратель передернул плечами: почему политическая ушла, не дождавшись конца свидания?

Мартовским днем 1905 года Конкордия Николаевна Громова покинула стены Тверской тюрьмы. Полковник Уранов не смог довести дело до суда. Обвинительного заключения она не признала, причислить ее к политическому убийству Волнухина оказалось невозможно. Подследственная проявила такое упорство и знание юриспруденции, что полковник отступил. Громкого процесса, который бы привлек внимание к Твери всей России, о чем так мечтал полковник, не получилось. Уранов подписал бумагу об освобождении.

Она стояла у ворот, ослепленная солнечным днем, нестерпимой яркостью красок.

Калерия на извозчике поджидала ее. Не в силах сдерживать нетерпения, она бросилась к сестре и, подхватив узелок с тюремными вещами, закружила охмелевшую от воздуха, от свободы Конкордию Николаевну.

Громова недолго пробыла в Твери. Получила явку в Одессу.

Москва, Малая Лесная

Сущевский полицейский участок помещался на Селезневке. Был он с караульной вышкой на случай пожаров, которые то и дело вспыхивали в бесчисленных улочках и тупичках, застроенных деревянными домишками, сарайчиками и конюшнями.

Декабрь был снежный и вьюжный. Сугробы заполнили

улучки с дощатыми тротуарами, сузили мостовую у Бутырской тюрьмы, да так, что тюремные кареты разъезжались с трудом.

Выкатилось солнце и залило радужным светом дома. Золотым шаром запылала колокольня старинной Пименовской церкви. Ударил колокол, поднялись с узорчатых карнизов голуби, оставляя в морозном воздухе белые разводы.

Молодая женщина в темном пальто и полушалке с трудом вытаскивала валенки из сыпучего снега. Ее круглое лицо покраснело от мороза и быстрой ходьбы. Ресницы от дыхания покрылись инеем и казались неестественно длинными, оттеняя глаза.

Она почтительно вслушивалась в слова городского, закутанного в башлык, с красным и полным лицом. Городовой шел широким шагом, женщина спешила, боясь отстать.

— Смотрю на тебя, Дмитриевна, и диву даюсь. Баба такая ядреная — кровь с молоком. Статная. Коса-то какая. Да тебя лучшая сваха засватает! И человек стоящий найдется. В летах. С капиталцем. — Городовой бросил острый оценивающий взгляд на женщину. — А ты опять постояльцев пустила... Фабричных...

— Вдовая я, Михаил Пантелеймонович. — Пушистые ресницы у женщины затрепетали. — Как жить без постояльцев? Капиталу-то нет. Покойник попивать любил...

— Попивать... Попивать... Пффу, бабье проклятое! — Городовой подкрутил ус и правоучительно сказал: — Не беда, коли в меру: пьян да умен — два угодья в нем!

— Ваша правда... С постояльцев за угол по трешке беру. Деньги на улице не валяются. — Женщина виновато развела руками. — На эти деньги едва концы с концами свожу — детишки-то малые у мамани в деревне...

— Вот купец-то... — Городовой многозначительно посмотрел на вдову.

— Купец по злу на меня наговаривает... По злу! Вдо-

вая я, беззащитная, а он — охальник...— Женщина не договорила и уголком платка вытерла слезы.

Городовой смягчился. Взял вдову за локоток. И со смешком заметил:

— Да не верю я купцу. Дикий он от своего богатства. Но в одном прав — постояльцы-то мужчины! Которого прописываем в полиции? А сколько без прописки? Злые языки любую напраслину возведут, а на каждый роток не накинуть платок.— Вразумительно кашлянул и продолжал: — Парней начала приваживать? Пустила бы семейных...

— Семейных? С детками... Да в доме перегородки-то фанерные.— Женщина подняла лучистые глаза.— Семейным нужны удобства, а я угол сдаю. Парни-то не такие прижимистые. Им и рубахи постираю, и портки залатаю — все лишний пятиалтынный. Руки-то щелоком сожгла, а купец...

— Купец кричит, что ты блудница! В церковь не ходишь, обедни не выстаиваешь, свечей угодникам не купишь, а днями и ночами милых дружков привлекаешь!

— «Купишь — не купишь», — передразнила купца вдова.— Богатый ума купит, убогий — и свой бы продал, да не берут.

Она смешливо нахмурила брови, улыбнулась так открыто, что городовой не выдержал и хохотнул.

— Конечно, тебе приходится копейки считать. Купила бы, да купило-то притупило! Парни добрые и на такую красоту падкие.— Городовой вздохнул и зачмокал губами.— Красу-то не бережешь, Дмитриевна! Грех большой — красота от бога!

— Какая там красота! Скажете...— Она смущенно потупила глаза.— Кабы не вы, то и головушки не сносить. Задушил бы злыдень! И на постояльцев возводит напраслину — зачем им нужно каток у колонки устраивать?

«Нарочно налили воды, чтобы купец упал и вместо одного горба набил бы два!» Креста на нем нет!

Городовой хохотал. Толстые щеки тряслись от удовольствия. Действительно, горбун злится — такая краля внимания не обращает! Не понимает старый черт, что ноша-то не по плечу. И слепому видно, что с колонкой-то один наговор. Хорошо бы ему второй горб получить! И он опять засмеялся.

— Почему замуж не идешь? — с нарочитой грубостью спросил городовой. — Не век горевать. Нужно о себе подумать.

— Кто возьмет вдову с малыми детьми? Как Степана придавило машиной на Гужоне, так и бедую! Кому нужны вдовы да сирые? — она всхлипнула и потерла нос рукавичкой.

— Ифу, дура баба! И вправду, что слепая курица — поговорить толком нельзя! — Городовой недовольно хмурил брови. — Глаза у бабы на мокром месте. Дело толкую — замуж нужно выходить. От голодранцев постояльцев проку не будет, а ты, голуба душа, получишь желтый билет!

— Маменька родная! Страмотища-то какая! — вдова заголосила, не обращая внимания на прохожих. — Чья горлица, там она и кормится! Кто мне запретит держать постояльцев? Дом-то мой! Муженьком мне оставлен! Взгляните на документики, не прогневайтесь, Михаил Пантелеймонович!

Она остановилась на перекрестке и, приподняв юбку, достала сверток из чулка. От волнения и обиды у нее дрожал подбородок и кривились губы.

— Вот дура баба! Дорогу богомольцам загородила! — Городовой досадливо махнул рукой.

Слез он не переносил и к тому же не верил, что эта миловидная и скромная женщина может заниматься чем-то зазорным.

Богомолки двигались неторопливо. Руки молитвенно сложены, глаза опущены. Одна из них, черная и худая, зашепелявила:

— Не плачь, сестра, из-за антихриста! О, грехи наши тяжкие!

Богомолка пребольно толкнула городского, тот отступил в сугроб.

— Откуда чертова кукла силы берет? Локти, как шило. Ведьма злющая... После храма господнего ей бы милосердие раздаривать, а она коршуном глядит. Да не реви, Дмитриевна! Не реви! Пристав сказанул для острастки. Это его купец накрутил... Разбираться-то мне поручено...

— Какие слова! Желтый билет! Да в меня каждый камень бросит! — Вдова быстро перекрестилась и, глотая слова, попросила: — Не обессудьте вдовую! Вот трешка... Замолвите словечко в участке. Отцом родным буду почитать, вечерком милости просим на чарочку.

Городовой сунул трешку в карман. И подобрел:

— Не плачь, баба! Может, и сватов к тебе пришлю. А ты меня отцом собралась величать? Лучше бы милым дружкой. А?

Вдова молчала. В глазах такая тоска, что городской смутился.

Они свернули на Новослободскую. Сугробы заставляли пешеходов жаться к домам. Около дома купца Курникова городской остановился. Купец недавно вернулся из святых мест — то ли в Палестину хаживал, то ли в Афон. Сына, студента, причастного к беспорядкам, держали в Бутырской тюрьме. И конечно, городской пустился в рассуждения:

— Воротила... Богач... А счастья-то нет! Тебе, горе-мыке, не повезло — мужа схоронила, детей от голода в деревне держишь, это еще куда ни шло. А такому человеку срам припимать за сынка. Ни уважения в купеческом клубе, ни почтенница от компаньонов... Сынок из арестан-

тов! — Городовой отряхнул снег с башлыка: — Подожди тут, а я зайду купца проведать.

Она молча кивнула головой. Вдоль забора щенок с радостным лаем гонялся за кошкой. Кошка округлила глаза и, прижимая уши, свешивалась вниз. Там, внизу, бешеным лаем заливался щенок. Ставил на доски толстые лапы, скалил зубы, вываливал красный язык, подпрыгивал, но достать проказницу не мог. Кошка понимала свою неуязвимость. Она изгибалась, перепрыгивала на нижнюю доску. Казалось, вот-вот сорвется, а нет. Она стрелой взвивалась на забор. Щенок грозился учинить нахалке расправу, но сделать ничего не мог.

Вдова повеселела — столько радости и жизни было в этой пезамысловатой игре. Засмотрелась и пропустила момент, когда городовой выкатился из магазина Курникова. От него несло водкой.

— Дитё... Дитё малое и перазумное — развлекаться кошками да собаками. А замужем была!

Появление городского испугало кошку. Она подпрыгнула и с забора перескочила на дерево. На тротуар посыпался снежок, легкий, как облачко.

Вдова посторонилась. Мимо нее прошла женщина с бидоном, высокая, статная, с красивым и запоминающимся лицом. Бидон оттягивал руку и был закручен в тряпку от стужи. Глаза их встретились. И молочница прибавила шаг.

— Поди, с другого конца Москвы тащится со своим бидоном. Собственная корова... Деньгу-то лопатой гребет! — не утерпел городовой.

Она молчала. Недавний испуг сменился усталым равнодушием. Она проклинала в душе словоохотливого городского, который затаскал ее по участкам. И так каждый день в дом заглядывал, а теперь и купец свару затеял, кляузами да глупостями извел.

Она плохо слушала городского, который рассказывал,

что купец Курников от горя ума лишился — ходил по тюрьмам и вел с заблудшими душами спасительные разговоры. И еще купец жаловался, что его, купца первой гильдии, не пустили в Бутырки, что сын отказывался выходить к нему на свидание, что надзиратели разорили его взятками, что он решил завалить Суцевскую полицейскую часть колбасами да калачами — и это в наказание тем в Бутырке, которые не захотели пускать его беспрепятственно в камеру.

Бутырская тюрьма окружена высокой стеной. На караульных вышках застыли стражники в тулупах, обхватив винтовки. К воротам змеей вилась очередь. Женщины с белыми свертками — бутылка молока, ситный и записка каракулями. В этой очереди выделялся молодой человек с тонким нервным лицом, в потертой студенческой шинели. Длинными пальцами он растирал побелевшее от мороза лицо. Он тоже принес передачу и терпеливо ждал очереди.

Очередь, скорбная и безмолвная, неторопливо двигалась по снегу.

— Шмит Николай Павлович! Миллионщик, хозяин фабрики. Поставщик двора его высочества! Докатился барин, докатился! — Городовой с негодованием повторял разговоры, ходившие по Москве о молодом фабриканте, студенте Московского университета. — Стал хозяином — и пошла плясать губерния! И жалованье рабочим увеличил, и пенсии престарелым...

— Разве это плохо? — вступилась вдова. — Бедным помогает!

— Плохо али хорошо — другой разговор. Главное — не положено! Хозяин есть хозяин, и к чему якшаться с мастеровыми. На фабрике ввел восьмичасовой рабочий день, его пригласили отцы города, чтобы сделать внушение, из тех, кто постарше да поумнее, а он кричал о долге перед народом, да и дверь хлопнул!

— Решительный, значит! — Вдова внимательно посмотрела на молодого человека из очереди. — И узелок на груди держит, чтобы молоко не замерзло. С характером!

— С характером! Из дома родителей переехал в дом Плевако, адвоката. От собственного выезда, знатного на всю Москву, отказался и все пехом, пехом — пятак-то на конку жалеет!

— Жалеет? Пятак?

— Чудит барин — деньги, мол, не мои, народные! Блажит... Сам-то из Морозовых, первейших миллионщиков, и тех позорит.

— Из Морозовых? — Вдова всплеснула руками. — Богач!

— Знамо дело — богач! По Москве слух идет, что задумал этот Шмит стать царем. Пока молчок, баба! — Городовой приложил палец к губам. — Тсс...

— Вот те крест! — В глазах вдовы интерес. — Могу и клятву страшную дать.

— Бабья клятва! — Городовой презрительно сплюнул. — Раскинь своим умишком, зачем ему, миллионщику, принимать сторону мастеровых? Деньги губит, хороводится с сомнительными людишками, среди своих стал белой вороной... А?

— Может, он святой человек! — с неожиданной страстью выпалила вдова. — И слова о совести, о долге для него настоящие, а не те, что купцы кричат да ставят пудовые свечи в церкви для куража...

— Не балуй, баба! — Городовой с укоризной взглянул на спутницу. — От постояльцев глупостей набралась. Смотри, тут не желтым билетом пахнет, а каторгой! И ходить к тебе с передачами некому будет. Разве что я приду...

Городовой, довольный шуткой, хохотнул и ущипнул вдовушку за упругую щеку:

— Бежи домой и помни: счастлив твой бог, пока я в участке! Да, вечерком пагряну на самоварчик...

Вдова проводила городского почтительным взглядом.

«Московский Совет Рабочих Депутатов, Комитет и Группа Российской Социал-Демократической Рабочей Партии и Комитет Партии Социалистов-Революционеров постановили: объявить в Москве со среды, 7 декабря, с 12 часов дня, всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание».

Конкордия Николаевна обняла вдову и не в силах сдержать волнения крепко расцеловала.

Они сидели в домике на Малой Лесной улице, что рядом с Бутырской тюрьмой. Домик плохонький, задавленный кустами сирени, с покосившимися ставенками и скрипучими половицами, с чижом в клетке, с теплой печкой и черным котом.

Под висячей лампой яркий круг. На столе чистая клеенка и аккуратные стопки газеты «Известия» на шершавой бумаге. С пахучим шрифтом. Эти бесценные листки от сытинцев через всю Москву принесла Конкордия Николаевна под видом молочницы. Она повстречала Дмитриевну в тот самый момент, когда городской делал ей очередное отеческое внушение.

В Москву Конкордия Николаевна приехала из Одессы. Приехала в декабре, в разгар революции. Остановилась у Зеликсон-Бобровской, отыскав с трудом ее комнатуху, которую она снимала у лакея Немецкого клуба. Зеликсон пришлось съехать с роскошной генеральской квартиры свекра — шпики прохода не давали. Рисковать она не могла и ушла в подполье. Сняла угол за печкой, соорудила кровать из чурбаков да досок. Недоедала, педопивала, но по-прежнему была приветливая и счастливая.

Порасспросив о делах в Одессе, она дала явку на Малую Лесную. Здесь и произошло знакомство Конкордии

Николаевны с Марией Дмитриевной, хозяйкой конспиративной квартиры.

Казалось, Мария Дмитриевна была создана для этой роли — приветливая, тихая, добрая. Для каждого имела и ласковое слово, и нежную улыбку. Она никогда ни о чем не расспрашивала, была ровная и спокойная. Выслушав пароль, лезла в русскую печь и доставала чугунок с горячими щами. Дружинники вваливались ночами, голодные, уставшие. Мария Дмитриевна подливала в миску щей, не слушая возражений, и улыбалась, видя, как поздний гость, давясь и обжигаясь, поедает их с жадностью. Да, щи были особенные — золотистые, с жирком, пахучие. Она ставила миски, резала крупными ломтями краюхи хлеба и разводила самовар. И каждому становилось теплее.

Конкордия Николаевна дивилась мужеству этой женщины. Однажды Мария Дмитриевна попросила ее отвезти браунинги на Пресню дружинникам фабрики Шмита, прозванного в охране «хозяином чертова гнезда». Уложила браунинги в коробку от торта, обвязала красной лентой, чтобы прикрыть проволоку. И спросила с обезоруживающей простотой: «Коли боитесь, то откажитесь — здесь ничего зазорного нет!» Конкордия Николаевна поняла, что мужество ей присуще как любое чувство — зрение, слух, осязание, и она не удивляется тем, у которых этого чувства нет.

И еще их сблизил котенок. Простой подвальный котенок. Черный. С тощим хвостом и белым пятном на шее. Она подобрала его в Монетчиковом переулке, у типографии Сытина. Котенок замерзал и плакал. Мяуканье она не слышала, просто видела, как котенок открывал рот и высовывал красный язык. Он был таким жалким, что духу не хватило пройти мимо. Присела. Котенок заурчал и, выгибая спину, начал ласкаться, позвонки просчитывались от худобы. Она не могла оставить его замерзать на улице. Спросила у дворника, надеясь в душе, что отыщет-

ся хозяин. Конечно, бездомный. Она и сама была бездомной. Ни паспорта, ни прописки, ни квартиры... Ругательски себя ругая, сунула котенка за пазуху и потащила по Москве. Зашла по дороге в мясную лавку и на пятак купила обрезков. Котенок давился, жадно урчал, топорщил хвост, взъерошился. Тигренок! Она смеялась, смеялась и толстый мясник, но котенка не взял. И опять она считала версты с котенком. Решила зайти к Зеликсон, но, вспомнив про угол за печкой, постеснялась. Притащила котенка на Малую Лесную. Мария Дмитриевна котенку обрадовалась, лицо порозовело от удовольствия. И снова она дивилась ее добрым рукам — котенка отмыла, напоила молоком и отправила сушиться на печь.

Котенок пел песенки, нрав имел добродушный, играл и радовал каждого. Потолстел и стал членом большой семьи.

Котенок сидел на краешке стола. Смиреником скрестил лапки. Желтые глаза с узкими полосками зрачков затаили хитрость.

— Ах ты, тихоня! — обратилась к нему Конкордия Николаевна. — Скажи лучше, что за день сумел разбить?

— Ведро с водой повалил. Сам холодной воды испугался и по занавеске взобрался на шкаф... Занавеску оборвал, цветок разбил. Герадь-то бутонами налилась... Откуда вы такое сокровище выкопали — обжора, забияка и проказник!

Они смеялись. Котенок вытягивал лапки, пел свои нескончаемые песни.

Мария Дмитриевна убирала со стола. Котенок со щами запрятала в печь, в самовар долила воды. Ждала нового посетителя.

Конкордия Николаевна не знала, чем раньше занималась Мария Дмитриевна. Руки маленькие, не приученные к физическому труду. Манера поведения, простота, разговор интеллигентного человека. Мария Дмитриевна пи в

какие воспоминания не вдаввалась. Как упрекала себя Конкордия Николаевна за то, что ничего толком не узнала об этой удивительной женщине! Не узнала, а могла бы.

— И еще документ. «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам!» Послушайте, Мария Дмитриевна:

«Товарищи рабочие, солдаты и граждане!

С 17 октября, когда рабочий класс силой вырвал у царского правительства обещание разных свобод и «действительной неприкосновенности личности», насилия со стороны правительства не только не прекращаются, но усиливаются, и по-прежнему рекой льется человеческая кровь.

Свободные собрания, где можно слышать свободное слово, разгоняются оружием. Профессиональные и политические союзы жестоко преследуются. Свободные газеты закрываются уже сразу десятками. За стачки грозят тюрьмой.

А над «действительной неприкосновенностью личности» русского гражданина учиняют такие издевательства и насилия, от которых кровь стынет в жилах.

Снова тюрьмы наполняются борцами за свободу.

...Если бы собрать всю кровь и слезы, пролитые по вине правительства, лишь с октября, оно утонуло бы в них, товарищи!

Но с особой ненавистью царское правительство обрушивается на рабочий класс.

Заклучив союз с капиталистами, оно выбрасывает на улицу сотни тысяч рабочих, обрекая их на нищету, болезни и голодную смерть. Оно десятками и сотнями сажает в тюрьмы депутатов и вождей рабочих.

Оно грозит принять против представителей социал-демократической партии и партии соц.-революционеров какие-то «совершенно исключительные» меры.

Оно снова организует свои черные сотни и грозит новыми массовыми убийствами и погромами.

Революционный пролетариат не может более терпеть издевательств и преступлений царского правительства и объявляет ему решительную и беспощадную войну!

...На карту поставлено все будущее России: жизнь или смерть, свобода или рабство!»

Конкордия Николаевна, взволнованная, умолкла. Действительно, на карту поставлена жизнь. Изнурительная и тайная война — слежки, побеги, тюрьмы, подполье, где каждый день равен году, где настораживает каждый шорох, скрип половицы, шелест листвы и стук колес, — все это уйдет, сгинет. Отойдут в историю тайные явки, хождение по городу с оружием, встречи в полутемных подвалах и на конспиративных квартирах, окрики городских, облавы, пьяный свист черной сотни, ночные гости. Народ вздохнет — начинается новая жизнь, за которую пали лучшие из лучших.

Мария Дмитриевна тоже молчала, понимая состояние Конкордии Николаевны. Решительный час близок. С оружием, не таясь, можно будет сражаться на баррикадах, оставить эту квартиру на Малой Лесной...

— В Московском комитете шел долгий спор о тактике уличных боев. Мало дружинников. Когда начнется битва, то народ, конечно, поддержит. Но пока дружинников около полутора тысяч. Лучшая дружина на Пресне у Шмита. Николай Павлович давал Московскому комитету деньги на оружие, дружинников одел в бобриковые пиджаки, сам пропадал на стрельбищах в подвалах Высшего технического училища. Но против нас войско... Кадровое... Обученное... — Мария Дмитриевна замолчала.

— Только баррикады способны сдержать натиск казаков. И уже началось! На Тверском бульваре спилили деревья и скрепили их проволокой. Тактика дружинников — действовать небольшими группами. — Конкордия Николаевна словно продолжала с кем-то спор. — Меньше-

вики со своей осторожностью вносят неразбериху и в такие великие дни!

— Экипажи и конки можно перевернуть... Как бы мне хотелось туда, на улицу...

— Сытипцы вооружились пиками да кинжалами, ковали ножами. Здесь так тихо, а в городе настоящая буря.

— С темнотой и сюда придет...— Мария Дмитриевна посмотрела на часы.— Наташа, пора в путь. Там за перегородкой ротонда. Роскошная. Барская. Повезете оружие на Пресню.— И, заметив, что ротонда эта смутила Конкордию Николаевну, пояснила: — Молочницей не пройти. Любой драгун остановит.

— Ротонда так ротонда. Обряжусь, а вы обращение комитета раздавайте курьерам вместе с оружием! Хорошо? — Конкордия Николаевна взяла на руки котенка.— Пора, Вася! Пора...

Котенок зевнул, показав ряд острых зубов, и замурлыкал, потом прошмыгнул за перегородку и пристроился на сундучке. Стены чуланчика были заклеены цветными картинками из журнала «Нива». Конкордия Николаевна бегло взглянула на них. С театра русско-японских военных действий. Офицер с черной повязкой, калека без ног размахивал знаменем перед портретом государя...

Конкордия Николаевна закрутила волосы перед осколком зеркала, машинально напудрила нос. Рассмеялась — и все для того, чтобы вырядиться в ротонду. Осунулась-то как! Матушка наверняка бы сказала: «Остались одни глаза да нос!» Все от недоедания да беготни по городу.

Надвинула на лоб крошечную меховую шапочку, проклиная моду. В такой мороз и расстаться с платком!

В дверь постучали. Мария Дмитриевна неслышным шагом — Конкордия Николаевна дивилась, как мягко она ступала, — подошла и отодвинула ситцевую запавеску, в глазах настороженность.

Ввалился парень. Стянул ушанку и восторженно провозгласил:

— Началось, товарищи! Началось!

Парень качался от усталости.

— Вы откуда, товарищ? — Конкордия Николаевна вышла из-за перегородки и, распахнув ротонду, присела на лавку.

Мария Дмитриевна собирала на стол. Громыхала за-слонкой печи, вытягивая ухватом чугунок. Поставила миску и налила тарелку щей. Посыпала солью ломоть хлеба и передала парню. Вопросов не задавала — ждала, пока придет в себя.

— Началось! — Парень вкладывал в эти слова особенный смысл. — В городе строят баррикады. Тащат все, что под руку попадет. Поднялся народ. Я от сытинцев. И там баррикада! Против кучки дружинников, засевших в типографии, двинули две роты пехоты, эскадрон драгун и два орудия! Типография начала гореть. Кто-то вызвал пожарников, так офицер не давал погасить пожар! Зверье! На фабрике Шмита убили товарища Карасева, партийного организатора. Бои такие жаркие, что тело убитого предать земле не успели. Ждут, пока отобьют казаков. — Парень обхватил голову руками: — Оружия мало! Дмитриевна, давай оружие!

— Мало оружия... Мало... — согласилась Мария Дмитриевна. — Ты не самоуправствуй! Я — кладовщик, кому приказано, тому и отпускаю. Давай документ! — И добавила мечтательно: — Денег мало, а то бы за границей можно было закупить.

— Транспортировка больших трудов стоит, — с горечью заметила Конкордия Николаевна.

— По Москве пробирается возчик с дровами... — Парень хитро прищурил глаза. — За мзду помогу разгрузить эти дрова...

— Хитрюга! Сидит и молчит. — Мария Дмитриевна обрадовалась.

— Значит, понадобится и моя помощь, — Конкор-

дия Николаевна решительно отставила коробку с тортом.

— А ротонда? — улыбнулась Мария Дмитриевна.

— Снова повешу, когда стемнеет, легче на Пресню будет пробираться.

Подводу разгружали споро. Возчик в тулупе засунул рукавицы за кушак и громко канючил деньги на водку.

Дрова свалили около домика. Убирали в сарай, заваленный снегом. Среди березовых поленьев находились и три ящика с патронами. Возчик с дружинником мигом их втащили в дом.

Конкордия Николаевна из дому не выходила. Оттаяла себе кружок на стекле и смотрела.

— Избу крой, песню пой, а шесть досок на гроб паси! — балагурил возчик.

— Типун тебе на язык! — Мария Дмитриевна сердито одернула возчика. — У меня малые дети, а ты беду кличешь!

— Такая житуха, что и от смерти не отмахнешься! — Возчик решил затеять разговор с купцом, торчавшим на соседнем крыльце. — Правда, отец?

Купец поманил возчика пальцем и, стараясь перекрычать гулкий перестук поленьев, попросил:

— Привези дровишек и мне за трешку. Может, уступишь?

— Вдовая и та взяла, а ты торги разводишь! — Возчик ловко бросал поленья в сарай. — Посторонись, отец, ненароком и по голове может...

— У вдовы постояльцы молодые да сладкие. — Купец гаденько хихикнул, зло покосившись на соседку.

«Марию Дмитриевну нужно убрать отсюда, — Конкордия Николаевна с тревогой вслушивалась в перебранку. — Но где в такие дни отыскать дом для конспиративной квартиры? Да еще с подвалом, с двумя выходами! И проходные дворы на Лесную, и на Новослободскую, и на Сущевский вал?»

— Хозяюшка, дай водицы испить! — Возчик снял треух и обтер лоб. — Пар валит, как от лошади!

— Милости просим в дом! — Мария Дмитриевна поклонилась. — И погорячее водицы сыщем напиток!

Мария Дмитриевна и возчик вошли в дом. Дружинник быстро кидал дрова в сарай. Купец топтался на крыльце.

— Зря напраслину возводишь! И зачем тебе, отец, самому-то к колонке за водой ходить? Работников полно дом, а ты при таком богатстве надумал сам ведра таскать? — Парень возвысил голос: — Нет, отец, это, видать, за девками подглядывать вздумал, вот и поскользнулся на льду... А все кричишь, что постояльцы виноваты! Грех на душу берешь!

— Бандиты... Бандиты... — Купец даже охрип... — Девки мне нужны? Охальники...

Мария Дмитриевна пакинула на дверь крюк. Возчик торопливо переставил стол и ногой откинул половик. Показался квадратный люк. Конкордия Николаевна кочергой потянула дверцу люка. Мария Дмитриевна взяла в руки зажженную керосиновую лампу. Возчик взвалил ящик на плечо и осторожно начал спускаться в подпол. По стене передвигалась от лампы тень, уменьшаясь по мере того, как возчик спускался по ступеням.

Лампу поставили на краю люка. Конкордия Николаевна заглянула туда. Подвал оказался просторным и сухим. Ящички, ящички, ящички. Под брезентом винтовки, охотничьи ружья. Богатство, настоящее богатство! Мария Дмитриевна волоком подтаскивала на половике к люку ящик. Возчик поднялся по ступеням и принял новый ящик. И опять начал медленно спускаться, словно погружался в озеро, прощупывая ногой глубину.

— Патроны? — не вытерпев, спросила Конкордия Николаевна. — Славно.

Возчик кивнул. Шея покраснела от натуги. На стене уменьшилась его тень. Мария Дмитриевна, согнувшись,

светила ему. Лампа освещала лицо молодой женщины, побледневшее от волнения, с тревожными глазами и припухшими губами. Чем-то она напомнила Калерию. У Конкордии Николаевны защемило сердце.

Наконец возчик вылез из подвала. Закрыв крышку и поставил на место стол. Мария Дмитриевна ловко подсунула половик. Возчик улыбнулся, словно тяжелую гору свернул.

Мария Дмитриевна спяла с двери крюк. И сразу преобразилась — порозовела, заискрились глаза, заулыбалась. Подала возчику кружку воды. Он пил большими глотками, закончив тяжелую работу. Протянув пустую кружку, он хлопнул по плечу Марию Дмитриевну, выражая свое удовольствие.

Конкордия Николаевна опять надела роскошную ротонду. Взяла коробку с браунингами. Пора... Пора...

Вот и наступила страшная минута, о которой думала и не думала Мария Дмитриевна. В домике ярко горел свет. Городовые принесли от купца десятилинейные лампы. Дворник, белобрысый Степан, трясущимися руками держал одну из них.

Мария Дмитриевна стояла у распахнутой крышки подпола.

По домику громыхали сапогами городовые. Напротив нее пристроился ротмистр:

— Будете отвечать на вопросы?

Мария Дмитриевна следила за всем происходившим. На лице не заметно волнения, одна грусть. Значит, конспиративная квартира рухнула, и склад оружия, принадлежавший Московскому комитету партии, провалился. И ящики с патронами, и бомбы, и винтовки, которые не успели вынести курьеры и дружинники, все это бесценное богатство стало добычей охраны. И в какие дни! Как

такое могло приключиться? Она сражалась с курьерами за каждую винтовку, за каждый патрон, как Кощей Бессмертный охраняя свои сокровища.

— Господин ротмистр, здесь бомбы... — Голос глухо доносился из подвала.

— Осторожно, осторожно, черт возьми! — Ротмистр обошел люк. — Значит, жили на пороховой бочке? Кто вы — фапатичка или душевнобольная?

Мария Дмитриевна молчала. Глаза смотрели сквозь крикливого ротмистра, дрожавшего дворника и почтительно молчавших городских.

— Возможно, вас не предупредили товарищи, — ротмистр едко выговаривал слова, — об опасности, которая вытекает из такого соседства.

— Нет, почему. Я понимала всю ответственность, — с достоинством возразила Мария Дмитриевна.

— Ответственность? Смертельную опасность, которой вы подвергались каждый день, каждую минуту, — спать на динамите, жить на складе оружия! — Ротмистр выкрикивал слова, будто желая образумить женщину. — Да поаккуратнее, поручик, черт подери!

Наконец из подпола вылез и поручик, белый как полотно. На мундире — следы пзвести.

— Нужны миперы. Там и запалы к бомбам, и динамит, и порох... Диво-дивное, как это хозяйство не взлетело на воздух.

Ротмистр приказал женщине поднять руки и заложить за голову. Усадил с пистолетом городского Михаила Пантелеймоновича, который с удивлением взирал на тихую Марию Дмитриевну, ведь именно ее он пугал желтым билетом, сватовством, кляузником купцом. В его представлении образ безответной вдовы никак не уживался с террористкой, которая с таким бесстрашием в течение длительного времени могла хранить тайну, спать на бомбах, укрывать дружинников. Он держал револьвер со взведен-

ным курком и не мог смотреть в глаза женщине. Через распахнутое окно — кто-то выпрыгнул в темноту — тянуло холодом.

Она не замечала городского, будто это была вещь, никому не нужная. И странно, его это обижало.

Он очень удивился, когда в полицейскую часть наехало начальство и стало готовить сложную операцию — проверяли оружие, брали усиленную охрану, опытных полицейских и назвали адрес: Малая Лесная, где помещался якобы склад боеприпасов бунтовщиков. Он хотел полюбопытствовать, в каком доме, но начальство так суенилось и нервничало, так боялось, что боевики откроют баталию, что он подступиться с расспросами не мог. Его взяли как околоточного. И, сидя на извозчике — ими запрудили и Лесную и Малую Лесную, — он мысленно перебирал все дома и никак не мог предположить, где именно произошла такая оказия.

Домик Марии Дмитриевны светился одним окошечком. Тихо лаяла собака у соседа-купца да поскрипывал снег под ногами. Домик окружили бесшумно, команду передавали шепотом, его подтолкнули к двери. Он вызвал хозяйку. И сам начал волноваться, видя, как ротмистр доставал револьвер из кобуры.

На стук ответила Мария Дмитриевна. Удивилась позднему гостю и попросила подождать.

Загремела дверь в сени, и распахнулось окно. Тишину взорвал выстрел, и чья-то тень промелькнула над сугробом. Всплеск огня, крики, и ротмистр, отбросив городского, ворвался в домик.

Мария Дмитриевна стояла молча в черном платье, на плечи наброшен пуховый платок. Она подобралась, стала выше ростом и хладнокровно смотрела, как домик заполняли жандармы. Красоте ее удивился даже ротмистр. Михаил Пантелеймонович ротмистра знал давно и отметил, что тот без привычной брани обратился к женщине.

Мария Дмитриевна была хороша — высокого роста, с тонкой талией. Русые вьющиеся волосы тугим узлом оттягивали голову. Красивое лицо исполнено достоинства. Губы строгой формы. На маленьком подбородке родинка. Густые брови дугой. И глаза, значительные и умудренные, словно ей была известна правда, не доступная ни ротмистру, ни ему, городовому.

И было странно, как мог он эту интеллигентку принимать за простенькую вдовушку.

Ротмистр брезгливо сбросил котенка с табурета.

На столе появилась чистая бумага. Ротмистр составлял протокол. Со слов поручика вел он долгую опись всего, что обнаружили в подвале.

Обыск учинили тщательный — выпускали пух из вспоротых подушек, поднимали половицы, перевернули сундук, просматривали книги, обрывая корешки.

И все это не имело ни малейшего отношения к Марии Дмитриевне — безучастной и немой свидетельнице. Только раз дрогнуло лицо, когда котенок потерся о ее ноги. Он пел песенку, веселую и нежную.

Ротмистр сапогом отбросил котенка, тот полетел в угол к печке. Михаил Пантелеймонович этого не одобрял — тварь-то божья при чем?

— Имя? Фамилия? — Ротмистр начинал первничать. — Сословие?

Кажется, она улыбнулась от нелепого вопроса, только краем губ, или это ветром качнуло лампу.

— Откуда оружие? — Ротмистр сыпал вопросами, не давая возможности арестованной прийти в себя, — так его учили вести допросы. — Кому принадлежит склад боеприпасов?

Она молчала. Лишь голова ее, выхваченная сильным светом лампы, чуть наклонилась.

— Имена соучастников? — Ротмистр передвинул револьвер и на край стола положил папаху. — Не сами, на-



деюсь, доставляли оружие? Значит, вам его доставляли — кто и откуда?

Она молчала. Лишь на лице презрение.

— По законам военного времени — Москва на чрезвычайном положении — я должен расстрелять вас без суда и следствия при обнаружении оружия. — Ротмистр вытянул шею и поежился, словно ему давил воротник. — Вы меня слышите?

— Разумеется, я вас слышу, — тихо и внятно ответила Мария Дмитриевна.

Голос ее был так неожиданно спокоен, что ротмистр присмирел.

«Да, смертница... Смертница... — понял Михаил Пантелеймонович. — Одна решила муку принять».

— Предупреждаю, что спасти вас могут только откровенные показания. Конечно, наказания не избежать, но вам будет сохранена жизнь! Ваша игра проиграна.

— Я не игрок!

Ротмистр закурил и, пуская дым тонкими колечками, пытался собраться с мыслями.

— И еще раз призываю вас к благоразумию — о вашем геройстве никто не узнает!

Она молчала.

— Подумайте, завтрашнего дня для вас уже не будет! У вас есть близкие, есть престарелые родители, которых убьет известие о смерти дочери. Неужели вы не боитесь смерти?

Она молчала.

Мария Дмитриевна почувствовала, как онемели ее запрокинутые за голову руки, как учащенно билось сердце и замирало дыхание. Конечно, матушка едва ли переживет ее смерть... Матушка...

Голос ротмистра мешал ей сосредоточиться и пребывать в том строгом и спокойном состоянии, в котором она готовилась принять смерть.

Она взглянула на ротмистра с укором — к чему суету разводит, все равно расстреляет. Вряд ли он надеется получить от нее какие-либо сведения. Но Пантелеймонович-то каков? Подкрался, попросил открыть дверь. Впрочем, какое это имело значение — бомбы она не стала бы бросать. От яда Мария Дмитриевна отказалась, считая такую смерть позорной. Нет, она встретит смерть достойно, как боец. Совесть ее спокойна, и жизнь прожита честно. И еще выплывал сквозь крики ротмистра голос курьера, того парня, что разгружал дрова. Он уговаривал ее выпрыгнуть в окно, уверенный, что задержит жандармов. Нет, жертвы она не приняла. Она была хозяйкой конспиративной квартиры и должна держать ответ.

И снова в ее мысли ворвался ротмистр со скрипучим голосом:

— Мария Дмитриевна, я позволю себе называть вас по партийной кличке, одумайтесь... Вы редкого бесстрашия женщина и играли заметную роль в подполье. Показания имели бы неоценимую услугу.

— Оценимую предательством!

Ротмистр поднял руку, чтобы остановить ее:

— Как человек интеллигентный и образованный, вы понимаете, что идея свержения самодержавия толпой плохо вооруженных рабочих — бредовая! К чему ваша жертва? К чему?

Она молчала.

— Я солдат и не могу нарушить приказа. В назидание всем бунтовщикам за учиненные преступления расстрел без суда и следствия. — Ротмистр положил часы на стол. — Последнее, могу дать на размышление десять минут. В противном случае приговор будет приведен в исполнение незамедлительно.

В домике на Малой Лесной улице наступила тишина. Ротмистр курил. Белобрысый дворник Степан сложил под фартуком руки и мелко крестился. У Михаила Пантелей-

моновича дрожали колени и пот, липкий и мерзкий, застилал глаза. Поручика бил озноб, от которого не было спасения. Жандармы смотрели на нее, не веря, что они будут не только свидетелями, но и участниками убийства.

Мария Дмитриевна не пыталась разобраться в своих чувствах. Сердцем слушала ход карманных часов, отсчитывающих ее время.

И еще один участник трагедии — черный котенок жался к ее ногам.

— Время истекло! Государственная преступница под кличкой «Мария Дмитриевна» за незаконное хранение оружия подлежит расстрелянию... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение без промедления!

Пока ротмистр произносил пышную тираду, он мучительно думал, кому поручить расстрел, но, увидев, как отвисла челюсть у околоточного, который давно засунул револьвер в кобуру, хотя и должен был его держать на уровне лица преступницы, как отвел глаза поручик, побледнев, как испуганно закрыл руками лицо дворник, бессвязно шепча молитву, понял, что приговор придется приводить в исполнение самому.

Это поняла и Мария Дмитриевна. Поняла по глазам, по тому, как он яростно размял папиросу.

Она выпрямилась. Лучистый взгляд встретился со взглядом ротмистра. Она расправила плечи и, сузив зрачки, в упор смотрела на офицера. И тот не выдержал. Он поднял револьвер, словно старался укрыться от этого взгляда. Побледнел и нажал курок.

Она качнулась и недоуменно посмотрела на ротмистра. Тот закричал и снова нажал курок... Она медленно оседала, оседала неохотно, не веря в случившееся...

Конкордия Николаевна с бьющимся сердцем подошла к Малой Лесной улице. Домишки, которые отделяли ее от

конспиративной квартиры, она пробежала — так велико было ее нетерпение. Предчувствие оказалось ужасным, и позднее она не могла понять, как предугадала несчастье.

Домик стоял с распахнутыми дверьми. На крылечке сидел полузамерзший черный котенок.

Прачка

— Доктор, мне нужно поставить пломбу на зуб мудрости,— Конкордия Николаевна, держа в руках корзину, вопросительно смотрела на врача.— На левой стороне...

— Можно и на правой...— Доктор улыбнулся в усы и, спохватившись, засуетился: — Проходите, пожалуйста, в кабинет.

В кабинете в белом халате возился у шкафчика с инструментами молодой человек. С грохотом опускал в стерилизатор крючки и ланцеты, грозя опрокинуть столик. Вопросительно взглянул на женщину и с усердием продолжал орудовать инструментом.

Конкордия Николаевна улыбнулась: у новоиспеченного помощника под халатом косоворотка, да и пуговицы не сходятся. На широком лице добрые глаза. Черные усики и брови, сросшиеся у переносицы. Руки с толстыми пальцами в ожогах.

— Значит, добрались благополучно.— Конкордия Николаевна, улыбаясь, произнесла пароль.— Привет от Розы.

— Спасибо... Спасибо...— Молодой человек облегченно вздохнул и до боли сжал руку.

Молодой человек прибыл в Ростов, где находилась Конкордия Николаевна, от Киевской боевой организации РСДРП. Привез для ростовчан схемы бомб, разработанные в подполье. Доставил и динамит. Произошла путаница с расписанием на железной дороге, и Конкордия Николаевна провела ночь без сна.

— Добрался... Добрался... — Молодой человек виновато развел руками. Помолчал. В лице что-то мальчишеское и озорное.

— Вот, просили передать книгу стихов Надсона. С посвящением, как водится.

И действительно, на титульном листе рядом с портретом автора посвящение: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат». И замысловатая подпись. Загогулина переросла в толстый росчерк.

— Разрешите? — Конкордия Николаевна поднесла книгу к стерилизатору, подержала над паром.

Приезжий отвернулся. Врач гремел пузырьками и миролюбиво протирал лоточки спиртом. Никто не хотел знать больше, чем положено.

От пара проступила тайнопись: «Шифр медведя». Это на случай, если книга попадет в охранку. Покрутила титульный лист. Нет, больше ничего. Значит, шифр в посвящении. Переписала колонки цифр. Дробь, дробь... Да это целое послание. Дробь разделялись плюсами и минусами и напоминали сложную задачу. И действительно, задача оказалась сложной. Числитель показывал строку, а знаменатель — букву в этой строке. С шифром беда — каждый выдумывал на собственный лад, старался сбить с толку охранку. Но как в этом во всем разобраться? Однажды из Николаева, куда она обратилась с просьбой о помощи — в подполье требовали оружие, — прислали письмо. Цифры, чудовищные цифры. Ни один из известных ключей к расшифровке не подходил. Она промучилась и передала в комитет. Но и там никто не смог расшифровать послание. Случайно явился из Николаева автор. Он был очень доволен собственной сообразительностью. Оказывается, каждую гласную он умножал на двадцать, а согласную на тридцать. Пожал плечами: «Почему не могли догадаться? Странно! Очень странно!»

— Ну и запрятались вы, братцы! — не без восхищения

заметил молодой человек.— По адресу еле отыскал. Приехал на Большую Садовую в шапочный магазин Дедова. Примерил кепи и, схватившись за щеку, спросил адрес зубного врача. Дамочка помолчала и отослала в гостиницу «Река Дон», к половому. Половой носил стулья, как циркач, по полдюжине в каждой руке. Он и привет от Розы получил, и про зубную боль выслушал, ах нет — молчит бестия! Я оробел, думаю, сдаст меня молодчик в участок.— Приезжий подождал, пока Конкордия Николаевна перестала смеяться.— Половой перетаскал все стулья и только тогда отослал меня в аптекарский магазин Войтекунаса. Это, мол, рядышком на Садовой. Недоверчивый литовец, хозяин магазина, кишки вымотал. И сказки о зубной боли не помогали... У меня по-настоящему и зубы разболелись, и в правом ухе стреляло.— Молодой человек потер себе ухо.— Литовец полез мне в рот с ватным тампоном. Я даже отпрянул от испуга. Боже,— стукнул себя кулаком по лбу,— я запомнил передать привет от Розы... Литовец, облегченно вздохнув, обозвал меня «мальчишкой»! Послал меня, шельма, к зубному врачу в Никольский переулок. Из переулка вернули на Большую Садовую... Тайны Мадридского двора, а не Ростов!

— Не следует опаздывать и пускаться по лабиринту без нити Ариадны,— нравоучительно заметил доктор.— Это ведь путь к боевой организации...

Конкордия Николаевна смеялась. Молодой человек ей нравился. Был он высокого роста и чем-то неуловимо напоминал Аркадия Александровича, от которого год как не имела известий. Медлительный в разговоре, обстоятельный.

— Хотите сразу в боевую организацию проникнуть? — иронически спросил доктор.

— С бомбами и чертежами! — в тон ему ответил молодой человек.— Грузик-то таскал по явкам... Нет, неувязочка, неувязочка... Так и до участка можно добраться.

— За простачков принимаете, молодой человек! Мы бы и дня не продержались, коли не установили бы систему такой сложной перепроверки.— Доктор взбалтывал какие-то пузырьки.— Про яичницу с помидорами умолчал! Ни словом не обмолвился, за скрягу меня желает выдать!

— Да я в бешенстве, милый доктор! О какой благодарности может идти речь — меня обрядили в косоворотку с чужого плеча, сбрили бороду и усы,— с комическим ужасом проговорил молодой человек.— Если примутся крестить, тоже не удивлюсь!

Конкордия Николаевна молчала. Вот и пойми человека: привез динамит и чертежи новой бомбы, а утомило хождение по явкам!

— Надобно изощрять память навыком! — произнес доктор.— Навыком.

— Запекут иглу в хлеб, и, если она девкам попадет острием на язык, это к замужеству — философски ответил молодой человек и, заметив недоумение на лице доктора, повторил: — Да-с, батенька, к замужеству!

— Пила остра, не смычку сестра! — не унимался доктор, вся заумная сеть проверки принадлежала ему.

Доктор показал глазами на ширму и предложил раздеться. Маскарад окончен. Молодой человек с поклоном возвратил халат. И остался в жилете. С потайными карманами. На стол легли браунинги. На жилете карманы из брезента. Снял и жилет. Острым ножом распорол спинку, извлек пакет и торжествующе подбросил его на руке. Спohватившись, извлек из кармана брюк «лимонку».

— Все? — с укором спросила Конкордия Николаевна, побледнев от волнения,— к чему «лимонка»?

— Здрасте... Будут отнимать жилет с новейшим изобретением, а я хлопать глазами? Брошу бомбу и секрет унесу... И любителей совать нос в чужие дела проучу.

— Отчаянные вы ребята! — Она пристально посмотре-

ла на молодого человека, и трудно было понять, то ли она осуждает его за безрассудство, то ли одобряет...

— Что случилось с Карлом Карловичем? — спросил доктор.

— Карла Карловича взяли в Киеве. И какая неприятность, при обыске обнаружили полсотни пироксилиновых шашек! Нет, он не трус! — Молодой человек горячился. — Он бы взорвал себя, да не смог. На беду, рядом оказалась женщина, разносчица оружия. У нее маленький сын. Пожалел... Теперь ему виселица. Карл Карлович доказывает непричастность женщины к организации. Возможно, ее и спасут, а ему пеньковый галстук...

Конкордия Николаевна знала, что молодой человек был студентом-технологом. В дни «октябрьских свобод» его освободили из Петропавловки. Из Петербурга приехал в Киев и работал по производству бомб. Возглавлял эту мастерскую Карл Карлович. Истинной фамилии его никто не знал. Он был из провизоров и тонко разбирался в производстве пироксилина. Помощников подобрал в мастерскую отчаянных. Революция требовала оружия, а мастерская по производству бомб, обслуживающая южные районы, была одна-единственная. Карл Карлович сам бегал по городу с корзиной — в старые тряпки были завернуты бомбы. Это было грубейшим нарушением конспирации — аресты захлестнули организацию! Мастерская провалилась. Молодой человек по кличке «Молоток» избежал ареста. Карл Карлович отправил его в Ростов для организации мастерской.

— Когда вы узнали об аресте Карла Карловича? — спросила Конкордия Николаевна, желая полностью восстановить картину провала киевской мастерской.

— В тот же день... Зашел на конспиративную квартиру за чертежами. Хотел Карла Карловича отбить бомбами, да в комитете запретили... «Политический авантюризм». Товарищи мне дороже братьев...

Конкордия Николаевна больше не бредила его душу расспросами. Понимала, как он был привязан к друзьям, с которыми делил смертельную опасность, понимала и чувство, когда арест вместе с друзьями казался желаннее чудесного избавления.

— Я боевик, умудренный работой в мастерской. Из бомбистов...— «Молоток» просительно обратился к Конкордии Николаевне.— Поскорее приспособьте меня к делу. К динамиту привык и чертежи помогу разобрать...

— Бомбист... В Ростове бомбистов ловили по черным ушанкам,— вступил в разговор доктор, желая разрядить напряжение.— Да, ловили в декабре девятьсот пятого.

— По черным ушанкам?! Для опознания напяливали? Ну и конспираторы!

— Не спеши с обвинениями. В городе шли погромы. Дружинников было мало, оружия вовсе не было, а народ митинговал... Только митинги без дружинников не обходились, черная сотня коршуном налетала. Охранка и выпустила слух, что рабочие, мол, придумали форму — бомбистов одели в черные ушанки, а дружинников — в белые. Глупость? Конечно, но полиция начала хватать людей.

— Бомбистов-то Собиин возглавлял? — спросил «Молоток». — Это тот самый, которого на баррикаде заменил отец?

— Да, Собиин. Прекрасной души был человек. Убили наповал... И отец его, старый рабочий, взял винтовку сына и занял его место на баррикаде в Темернике.— Конкордия Николаевна пояснила: — Темерник — рабочая окраина Ростова. Многие его Пресней величают.

— Да, в декабре были бои...— доктор не мог говорить от волнения.— Об отце и сыне ходят легенды. Я все дни провел в Темернике на баррикадах.

— Вы же в ростовской тюрьме сидели? Не ошиблась?

— Нет, не ошиблись, Наташа.— Доктор задумчиво

протира́л стекла́ очков. — Не ошиблись. Действительно, о манифесте, о «свободах» узнал в тюрьме. Меня взяли до́нцы, когда с дружинниками митинг охранял. Думал, ука́туют. На прогулке в тюремный двор с воли перебросили камень. К камню привязали газету «Приазовский край». Развернул и ахнул — полный текст царского манифеста: «Свобода!» — загудела тюрьма. Мы бросились в камеры и прилипли к решеткам. На площади толпа. Сверху виднелись знамена, слышалась «Марсельеза». Надзиратели притихли, да и числом поубавились, как ветром сдуло. От градоначальника вернулась депутация, и счастливицев начали вызывать в канцелярию с вещами. Господи, что творилось у ворот, когда появились политические! Крики... Приветствия... Цветы... Узников на руках несли к пролеткам. Только тюремная администрация развела такую волокиту, что в час оформляли двух-трех человек. А тем временем во дворе появились казаки.

— Значит, в засаде казаков припрятали! — сказала Конкордия Николаевна.

— Народ ликует, радуется манифесту, а мы в камерах воюем. Казаки, администрация тянет... Стемнело, наступила ночь... Толпа начала расходиться... И тут понабралась всякая дрянь — купеческие сынки с дубинками, пьяные лавочники. Кто-то выстрелил, и вся эта нечисть набросилась на толпу. Били стариков, били женщин. У тюремной стены стояла беременная женщина, — голос доктора дрогнул. — Она так уверовала в освобождение, что решила ночь провести у ворот, чтобы утром встретить мужа. Ее растерзали... Мы кричали, грозили, но что можно сделать, находясь за решеткой!

Конкордия Николаевна сцепила руки — знала, растерзанная женщина была его молодая жена.

— Ну и дальше? — спросил «Молоток», не понимая, почему замолчал доктор.

— Дальше? В Ростове и Нахичевани ввели положение

о чрезвычайной охране. Для прекращения митингов полицмейстер Прокопович выезжал с донцами да пушку прихватывал. Все фабрики, все заводы стояли. Центр восстания переместился в Темерник. Рабочая окраина, и охранка побаивалась там хозяйничать. Полиция решила отрезать Темерник от города. Казаки стояли на мосту и обыскивали каждого, кто шел в поселок. Тогда Собиин в столовке Владикавказских железнодорожных мастерских собрал бомбистов. Казаки обстреляли столовку. У дружинников были берданки да револьверы. И Собиин бросил бомбу в казаков. Народ ликовал, как в престольный праздник. С тех пор я поверил в силу оружия.— Доктор посмотрел в сторону Конкордии Николаевны. Видимо, он вел с ней давний спор.

— Словам не верите! — не утерпела Конкордия Николаевна.

— Почему так категорически? Словам верю, но тем, что подкреплены оружием. Ты, Наташа, из пропагандистов и значение слов преувеличиваешь.

«Молоток» решил прекратить спор.

— Как же погиб Собиин?

— На баррикаде... Артиллерия была по поселку, начался пожар. Собиин поднялся, и ветер подхватил красное знамя. Под шквальным огнем стоял человек с красным знаменем! Пули пролетали над ним, а Собиин стоял, словно заколдованный. Пуля угодила в голову. Он тихо сползал, но знамя не выпускал. Положили его на красное знамя у баррикады, чтобы после боя похоронить. Санитарка побежала в столовку и позвала отца. Тот почернел, когда увидел мертвого сына. Поцеловал его в лоб и взял винтовку, ту, что сын оставил.

— Сила-то какая! — восторженно проговорил «Молоток». — И будет время, когда народ сложит былинку о Собиине и его мудром отце.

— Сила великая! Жизнью лучших из лучших платим

за свободу! — доктор кинул быстрый взгляд на Конкордию Николаевну. — Платим кровью!

«Молоток» всем сердцем был на стороне доктора: душа ждала больших и решительных дел. Разговоры разговаривать сладко дедам на завалинках.

— Собинина хоронили ночью. Тишком... Это такого героя! Баррикаду громили, так сказать, на психику действовали. Дружинников отвели в столовую завода «Аксай». Там и снаряды сложили. И надо было случиться такому несчастью — подорвались снаряды! — Доктор и сейчас не понимал, как это произошло. — Взрывом размстало дружинников. Мы бросились спасать раненых, а казаки, воспользовавшись паникой, налетели...

— Бомбами, бомбами по мерзавцам! — «Молоток» постучал кулаком по столу.

— Анархисты... — Конкордия Николаевна с трудом подавила волнение. — Бомбистов нужно держать под контролем городского комитета, и строжайшим! — И, желая прекратить разговор, Конкордия Николаевна спросила «Молотка», привезли ли образчики новой бомбы.

— Как узнали? — «Молоток» сконфузился. Карл Карлович его строжайше предупреждал, чтобы бомбу новой системы в дорогу не брал. Опасался несчастного случая. И динамит, и запалы, и бомбы. Факел, а не пассажир. Но он не послушался, потому что боялся попасть живым в охранку. По молодости веровал в счастливое стечение обстоятельств, а с бомбой было спокойнее. — Для безопасности... Так одну... Да и товарищам ростовским хотел показать в действии.

— Как узнала? Не первый год в подполье, знаю вашего брата! — ворчливо ответила Конкордия Николаевна, и если бы не рассказ о Собиnine, то выговорила бы «Молотку» по первое число. — Покажи, чудовище! Взлетишь и правды не узнаешь!

«Молоток» достал из-за шкафа корзину. Сбросил ста-

рые вещи, что лежали сверху, глаза светились от удовольствия:

— Вот она, красавица!

Конечно, бомб оказалось несколько. Она и сразу не поверила в святую ложь «Молотка». Бомбы напоминали книги. В желтом картоне. Продолговатые. На вид совсем мирные, словно из мастерской переплетчика.

Конкордия Николаевна достала и свою корзину. Осторожно выложила чистое белье, стараясь не измять. Уложила на дно бомбы. Действовала точными и уверенными движениями. «Молоток» понял, что она привычна к оружию. Ни суетливости, ни боязни. Значит, не так проста... Ясно, комитетчица. Бомбы переложил старым тряпьем, а сверху — белье, накрахмаленное, с синеватым гляncем.

— Я свяжу вас с мастерской. Там работает Фурунджи. Он за вас поручился. Мастерская в Никольском переулке. Квартира техника Усенко. Дисциплина там строжайшая. Квартира большая и с двумя выходами. Придется жить на положении невидимки. Дышать у форточки ночами и квартиры не покидать. Еще раз повторяю: дисциплина! — Конкордия Николаевна осторожно опустила корзину на пол.

— Дисциплина так дисциплина! — «Молоток» согласно кивал головой, боясь, что за своевольный провоз бомбы о нем создастся невыгодное впечатление. — Невидимка так невидимка! Правда, комплекция у меня не очень подходящая. — «Молоток» оглядел в зеркало свою породную фигуру. — Невидимка? Гм... Кто меня проводит?

— Вот карта — изучите проходные дворы. Я их крестиком отметила. С темнотой доберитесь до гостиницы «Река Дон», к тому половому, что напоминал циркача. Пароль: «Мне нужно купить кинжал, хорошей работы, с чернью». И выслушайте отзыв: «Старых мастеров-то не осталось — трудное это дело». Половой и проводит в мастерскую.

— Пароль для мастерской? — уточнял «Молоток», ожидая новых приключений в Ростове, где, как ему казалось, помешались на конспирации. — Половой-то кишки будет тянуть.

— Пароля в мастерской нет. Туда приводит связник, которого Усенко знает лично. Идите чистым, никакой нелегальщины или оружия! Мастерская строго законспирирована — и никаких случайностей! Без самодеятельности, товарищ «Молоток»! — Конкордия Николаевна подхватила корзину и улыбнулась. — До встречи!

Господин в канотье

Апрель. В городском парке распустились липы. На пирамидальных тополях висели красноватые сережки. Они вздрагивали от каждого дуновения ветерка, словно престарелый тополь боялся за свои сокровища. Клейкие листочки молодили израненную березу, искривленную в битвах с ветром и непогодой. Дружно и бурно лезла трава с незабудками и одуванчиками.

Весна.

Жандармский ротмистр подошел к окну. И сразу бросились в глаза поржавевшие за зиму решетки и небо в клетку. Луч солнца упал на стол, заваленный бумагами.

Ротмистр проследил за жаворонком. Тонкие пальцы выстукивали марш. Он притронулся пальцем к ржавой решетке и резко позвонил:

— Прикажите выкрасить решетки, поручик... Жандармское управление превратили в каземат с ржавыми решетками и с плесенью на стенах. Мерзость запустения...

Поручик козырнул. Ротмистр имел крутой нрав и способен был на любые неожиданные поступки.

— Господин поручик, я не получил сводки наруж-

ного наблюдения о пропагандистке Оле, как и о всей группе.

— Материалы обрабатываются и ровно в десять будут на столе.— Поручик выпрямился и не отказал себе в удовольствии намекнуть на несправедливый упрек.— В десять, как заведено.

Ротмистр бросил взгляд на часы. Конечно, еще пятнадцать минут. Нужно сдерживать плохое настроение, но и поручик мог бы промолчать. Ротмистр щелкнул крышкой портсигара и протянул его поручику.

— Павел Петрович, сдается мне, душой организации является пропагандистка Оля. Хождения ее по городу с корзиной — чистейший камуфляж. Прачка! Зафиксированные встречи с «Молотком», приведенным агентурой из Киева, говорят, что она имеет прямую принадлежность к Южному военно-техническому бюро. «Молоток» не смог бы ускользнуть в чужом городе, если бы не получил нужные явки и связи. Более того, ночью филеры довели его до дома в Никольском переулке, куда является и пропагандистка Оля. Из этого дома выходил мужчина, опознанный филерами, Фурунджи. Выходил с корзиной, прикрытой бельем,— поручик говорил вкрадчиво.

— Разнообразием конспирации господ социалисты нас не балуют! Установили, кому принадлежит дом? — спросил ротмистр.

— Да, технику Валентину Усенко. В доме четыре комнаты, два выхода. Через черный ход, который скрыт в саду, и калитку можно выбраться на соседнюю улицу. Неизвестный по кличке «Молоток» в Ростове работает под кличкой «Дмитрий». Сведения абсолютно точные! — поручик наслаждался произведенным эффектом.

— Дмитрий? — Ротмистр сел за стол, руки его, нервные и быстрые, рисовали женские головки, как всегда при сильном волнении.— «Молоток», он же «Дмитрий». Интересно... И даже очень...

— «Молоток», взятый под наблюдение в Киеве, по нашим сведениям, был причастен еще к Лахтинской мастерской по производству оружия, куда попал после выхода по амнистии из Петропавловской крепости. Организация направила его в Одессу как специалиста по производству бомб. Из Одессы выехал в Киев. Случайно ушел при ликвидации мастерской Карла Карловича. Наблюдение обнаружило его на Киевском вокзале и препроводило в Ростов.— Поручик помолчал. Была припасена еще новость.— В настоящее время проживает в доме техника Усенко. С городом освоился и замечен был на Среднем проспекте при встрече с пропагандисткой Олей.

— Как быстро он познакомился с городом. Поди, так освоился, что бомбы разносит...— Ротмистр с дамских головок перешел на чертей с длинными хвостами.— В смелости и находчивости этим «товарищам» отказать нельзя.

— На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь.— Поручик тонко улыбнулся.— Это из лексикона террориста.

— Смерть... Не очень-то опи о смерти думают! Была ли попытка проникнуть в дом Усенко?

— Была, но безуспешная. Дворник хотел под каким-то предлогом пройти в комнаты, но его не пустили. Усенко кричал, что в доме выкрашены полы и сам он летает по воздуху.

— Летает? Может и взлететь! — заключил ротмистр.— Что еще говорит дворник?

— Дом не похож на обычный. Хозяев не видно. Живут уединенно. Сколько человек — он не знает. Посетители приходят поздним вечером и норовят отвернуть от дворника лицо. Ни выпивок, ни песен, чем очень озабочен дворник,— поручик вновь тонко улыбнулся,— не бывает. Одним словом, дворник решил, что здесь дело нечистое. Он на хорошем счету в охранном отделении, в

порядке поощрения получает пять рублей в месяц. Сведения его подтверждает и человек, привлеченный к осведомительству.— Поручик взглянул на часы и, извинившись, вышел.

Ротмистр усмехнулся. Любит театральные жесты. Сводку подает ровно в десять, хотя она готовенькая лежит у него добрый час на столе.

И действительно, ровно в десять поручик, щелкнув модной застежкой, выложил из папки на сукно белые простыни сводок, разграфленные и заполненные каллиграфическим почерком. Графы заполнялись со слов агентов наружного наблюдения и были тщательно разработаны в охранном отделении.

Филер под кличкой «Особенный» сообщил, что в девять утра вчерашнего дня он взял наблюдаемую под кличкой «Оля» с квартиры, в которой она проживала по Потемкинской улице, дом 10, и довел до Среднего проспекта. На углу она задержалась и вышла в кофейне Бойко чашку кофе. В кофейне никого посторонних не было, и наблюдаемая ни с кем в разговоры не вступала. В девять часов тридцать минут наблюдаемая, которая в дальнейшем именовалась «Волевая», вышла на Большую Садовую улицу и около Городского сада встретила с молодым человеком. Молодой человек ранее под наблюдение не попадал: роста среднего, волосы русые, на вид лет двадцать пять, лицо чистое, брови густые, глаза голубые. Одет в студенческую тужурку без двух пуговиц. «Волевая» и молодой человек дошли до Таганрогского проспекта. Встреча «Волевой» и молодого человека продолжалась тридцать минут. После чего молодой человек (филерам пришлось разделиться) направился в аптеку Шамковича, а наблюдаемая «Волевая» зашла на почту. На почте отправляла письмо, которое было написано здесь же за столом, предъявляла чиновнику какие-то квитанции (чиновник по причине старости запомнил по-

сетительницу и не мог ответить, с какими просьбами она обращалась).

Боязнь выпустить из-под наблюдения «Волевою» не дала возможности навести справку тут же. Справки наводились в конце дня. В 13 часов наблюдаемая «Волевая» была встречена на Почтовой улице и приведена в дом № 74 по Рождественской улице. С Рождественской улицы «Волевая» пошла в Никольский переулочок в дом Усенко, где пробыла около часа. В 14 часов 25 минут наблюдаемая вышла с корзиной для провизии и вернулась домой на Потемкинскую улицу. Переодевшись в жакет, отделанный синей тесьмой, и накрыв голову газовым шарфом, «Волевая» в 17 часов была препровождена на Дмитровскую улицу, где встретила с девицей Сушковой, за которой также ведется наблюдение, и препровождена по Доломановскому переулку. Какой именно дом интересовал наблюдаемую, установить не удалось. Никаких встреч не происходило. С Доломановского переулка «Волевая» была доставлена на Почтовую улицу (в этот день она там побывала дважды) и все с той же корзиной для провизии была встречена наблюдением на Новом базаре...

Ротмистр еще раз перечитал донесение. Выписал адреса, заинтересовавшие его. Задумался. Ликвидация Южного военно-технического бюро назначена на 26 апреля сего девятьсот шестого года. Ростов — это только звено в общей операции, проводимой одновременно в Киеве и Одессе. Делу придавали большое значение. Понаехали филеры из столицы и показали класс работы — донесение, что читал ротмистр, принадлежало столичному агенту. Не чета ростовским пьянчугам — те всякие небылицы плетут, только бы получить наградные.

Ротмистр чувствовал себя полководцем накануне решающего сражения. Вся машина сыскного аппарата приведена в движение, на карте Ростова дом Усенко обведен

красным кружком, вычерчены ближайшие подходы, означены пункты появления пропагандистки «Оли», «Молотка» и всех сопричастных лиц. Тревога лишала его сна, привычной уверенности. Если злоумышленники узнают о предполагаемой операции — нет тайного, что не сделалось бы явным, — могут скрыться. Скроются, а ему, ротмистру, в сорок лет в отставку! И это казалось еще не худшим. Бомбисты — народ отчаянный. Что им терять — и так и эдак смерть — то ли по собственной воле, то ли по приговору. Взорвут себя, взорвут город... Да и в мастерской, поди, не свечи делают — есть чем устроить фейерверк! И дом, где, по всем данным, размещалась мастерская, нащупали, и членов Южного военно-технического бюро, снабжавшего бомбами и патронами весь юг России, установили, и пропагандистку «Олю» выследили. Нужно брать разом, плод созрел и грозит упасть... А тут одновременная операция в Киеве и Одессе... Умники из Петербурга должны подать сигнал! Вот и сиди на раскаленных углях и жди!

— По агентурным сведениям, пропагандистка «Оля» является не кем иным, как Конкордией Николаевной Громовой, хорошо известной и по делу ветровских студенческих волнений, и по делу о политическом убийстве Волнухина. — Поручик наклонил голову и понизил голос до шепота: — Сведения внушают полное доверие.

Ротмистр внимательно слушал. Да, сведения внушали доверие. Шли они от провокатора, что был в Донском комитете. Фамилию его избегали называть даже в доверительных разговорах. С личностью провокатора связывались дальнейшие планы, и его старались не провалить в предстоящей операции. О Громовой ротмистр знал, в сообщении поручика ничего нового не было. Громова побывала в Париже. Имела знакомство с Ульяновым, братом казненного Александра Ульянова. Петербург ею интересуется обстоятельно и особым письмом обра-

щает на это внимание... Безусловно, роль ее первостатейная...

— Вчерашний день хождения Громовой по городу весьма показателен.— Ротмистр делал в бумагах одному ему понятные пометки.— Распорядитесь, поручик, чтобы филеров на Потемкинской улице оставили и в почное время.

— Слушаюсь... Из столичных...

— Наблюдение усилить и вести круглосуточно за домом Усенко.— Ротмистр вытер лоб платком и сказал доверительно: — Если удачно закончим дело, сразу укачу в имение. Нервишки стали пошаливать...

Поручик решил воспользоваться добрым расположением духа ротмистра. За эти дни тот стал так раздражителен, что он не рисковал сообщать неприятности сразу, а подбирал случай.

— Господин ротмистр, позволю доложить...— Поручик покопался в папке, исподволь поглядывая на ротмистра. Бумаги были на месте, просто он выгадывал время.

— Что такое?

— Город наводнили прокламации.

— Прокламации... Значит, опять заработала подпольная типография? И месяца не прошло после ликвидации.— Ротмистр с укором выговаривал поручику, словно тот был виноват в этом.— Печатают на гектографе?

— К сожалению, типографским способом! Вот. Обращение «К ополченцам»...— Поручик разложил на столе листовки.

Ротмистр вспыхнул. Пусть читает прокламацию вслух, пусть казнится, пусть понимает ответственность за эдакое попустительство.

— Значит, прокламация... К сожалению, милостивый государь, в нашем городе типографии вырастают быстрее грибов. Это в дни, когда Ростов на виду всей России и

столичные филеры тычут натих лопырей, как слепых котят носом. Что ж? Один я за все в ответе... Один... — Ротмистр жестко приказал поручику: — Читайте...

Поручик поднял глаза. Лицо ротмистра было замкну-тым и сердитым.

— «Товарищи! Наша родина измучилась, исстрада-лась под гнетом царского самодержавия. Шайка чинов-ников и полиции насильничает над народом, угнетает и разоряет его. Наше правительство вместе с царем было всегда самым злым врагом рабочего народа и нежным дру-гом всех богачей, капиталистов и дворян-помещиков. Оно всегда держало народ в невежестве, в нищете, вместе с богачами обирая его и высасывая из него все соки. Чтобы народ покорно нес свою рабскую долю и не вышел из повиновения, самодержавие опутало его густой паутиной из земских начальников, урядников, приставов и жан-дармов...»

Ротмистр жестом остановил поручика, удивленный его старательностью при чтении. Словно гимназист, каждое слово выговаривает.

— «Урядников, приставов и жандармов...» — Рот-мистр мягко прошелся по ковру, опустив плечи и суту-лясь. — Обратили внимание, поручик, они не стали писать по обыкновению: «Пролетарии всех стран, соединяй-тесь!»

— Нет, эти слова написаны сверху. Я не считал это существенным, — неуверенно ответил поручик и зло по-думал: «Старый черт, разводит психологические опыты. Решил меня продрать терочкой... Да с песочком».

— Это очень существенно, поручик! Продолжайте...

Поручик откашлялся и, отпив глоток воды, вытер губы платком:

— «Царское правительство объявило настоящую вой-ну народу, который не может дольше выносить гнет и поднялся, чтобы с оружием в руках завоевать свою сво-

боду. В этой войне правительство опирается на силу штыков и пушек. Армия, запуганная и забитая, еще продолжает служить кровавому Николаю II. Но рушится уже последняя опора царского самовластия — войско. Солдаты начинают понимать, что, защищая царское правительство, они изменяют делу народа. Все чаще и чаще повторяются случаи, когда солдаты отказываются исполнять приказ негодяев офицеров расстреливать народ.

Товарищи! Тот, кто любит свою родину, кто хочет добиваться свободы и лучшей жизни, тот должен помочь рабочим и крестьянам сбросить царское самодержавие. Вы должны стать на сторону народа. Кто не на стороне народа, тот против народа. Пора положить конец страданиям и слезам русского народа. Довольно крови...»

Поручик умолк. Откашлялся. Ротмистр стоял у окна и, вслушиваясь, смотрел на молодую зелень.

«Если вам прикажут расстреливать ваших братьев, сестер и отцов, то пусть ваши штыки повернутся против тех, кто отдаст приказ расстреливать народ, пусть ваши пули пронзят врагов народа. Да будут прокляты те из вас, у которых поднимется рука против собственного народа».

Поручик близко поднес к глазам прокламацию и закончил: «Донской комитет РСДРП, 16 мая, 1906 год».

— Да-с, темпераментно написан документ... С умом... Среди социалистов встречаются весьма способные люди... Весьма... — Ротмистр отдавал смутьянам должное. — Нет, враг умен и коварен и потому так опасен. И опасность эта будет возрастать, коли не уничтожить все в зародыше. Нужно проверить все адреса, по которым прохаживается эта пропагандистка «Оля». Размножить фото и дать агентам на вокзале на случай внезапного отъезда. — Ротмистр каким-то шестым чувством угадывал, что и к типографии, и к листовкам, и к мастерской Конкордия

Громова имела прямое отношение. — Главное — не выпустить ее из наблюдения, изучать все связи. Хорошо бы начать операцию в городе незамедлительно. Перемудрим, ой перемудрим...

Почтовый ящик

С недавних пор Конкордия Николаевна начала верить в предчувствия. Ныло сердце, наваливалась какая-то тяжесть, и она понимала, что беда неотвратима. Арестуют, наверняка арестуют. И, как всегда, арест касался не только ее лично, это и удар для всей организации.

В Ростов она приехала из Одессы, где главенствовали меньшевики. Они все кричали о безрезультатном кровопролитии, боялись решительных действий. В комитете без конца спорили, говорили о поражении, и ей, человеку действия, там было очень трудно. Она выдерживала бои, убеждала и, видя полную бесполезность словесных баталий, уехала в Ростов.

После боев на Темернике партийная организация Ростова была разгромлена. Приходилось начинать все сначала, нужны были изворотливость и умение. Здесь делались конкретные дела. К счастью, удалось поставить типографию. Власти ввели в городских типографиях такие строгости, что достать шрифт стало почти невозможно. Сторожей набирали из городских, обыскивали каждого рабочего, мастера не выходили из цехов и не доверяли никому. И все же новая подпольная типография заработала. В тот день Конкордия Николаевна видела, как на театральных афишах ростовчане читали свежие листовки. «К ополченцам» — эта листовка имела успех. Городовой пытался ее сорвать. Он торопил дворника, тот прибежал с ведром горячей воды. Но рабочие уже ран-

ним утром прочитали листовку. И посмеивались над ретивым служителем закона.

Типографию устроили в укромном домике и, памятуя прошлые уроки, число лиц, имевших отношение к ней, свели до минимума. Пожалуй, при такой конспирации типография месяца три продержится. Главная забота: бумага, вынос продукции, шрифт и краска... Разве все перечислишь, когда дело в одних руках. Правда, с выносом листовок устроились. У хозяйки типографии — а ею ведала супружеская чета — родился ребенок. Крикливый и шустрый. Конкордия Николаевна стала крестной матерью. Купила коляску, низ закладывала свежей нелегальщиной, а сверху в конверте, в кружевах и лентах возлежал крестник. Пока этот способ оправдывался — она встречалась со связными и передавала пачки. Солнышко пригревало, агукал малыш, и сердце радовалось.

Дела... Они радовали и были смыслом жизни. Но ее не оставляло беспокойство. Она почувствовала сеть хорошо расставленной слежки. Сначала считала случайностью, но чутье убеждало в серьезности опасений. Слежка за ней одной? Этого она пока не могла проверить. Одна она или вся организация под наблюдением? К ней приставили двоих — один местный, неряшливый, из «трехрублевых», а другой — повый, увертливый, видно, столичный. Слежка, как ей думается, началась с того дня, как ее, приехавшую, ввели в Донской комитет РСДРП. Провокатор в комитете? Мысль обжигала, только подозревать не могла она никого.

Комнату Конкордия Николаевна снимала у чиновницы. Жила по подложному паспорту. Версия спокойная — учительница, живет частными уроками. В соседней лавке открыла счет. Делала скромные покупки и аккуратно расплачивалась.

Пора. Надела пелерину, синюю, с застёжками в виде львиных голов. Подошла к окну. Через занавеску осмот-

рела улицу. Да, шпики уже явились. Точно и без опоздания. Сегодня этот в светлой тужурке. Лицо приятное. Сидит на скамеечке, раскрыв газету.

Тоскливым взором оглядела комнату — почистилась она капитально, ни нелегалщины, ни запретных книг, но, видно, и письма Калерии придется уничтожить. Письма Калерии уничтожать было тяжело. Сожгла и черновики прокламации. В организации пропагандистов мало, и прокламации в основном писала сама. Вывалила содержимое сумочки, проверила. Да, она не отправила свое личное письмо в Одесский комитет. Письмо было тщательно выношено и продумано. Настало время дать отпор одесским меньшевикам, скоро предстоял съезд, к нему готовилась партия. Она открыла конверт и достала письмо:

«Заявляю членам бывшего Одесского комитета (большинства), что я не считаю возможным оставаться больше в здешней объединенной организации по следующим основаниям: прежде всего я нахожу, что разногласия между большинством и меньшинством по тактическим вопросам еще настолько существенны, что слияние в настоящий момент является вступлением на путь компромиссов и равносильно отказу от той, единственно верной, революционной тактики, которой держалось до сих пор большинство и которая делала его левым, истинно революционным крылом РСДРП.

Слияние при наличии существенных разногласий может быть только механическим и должно повести на практике к майоризированию (то есть к простому количественному подавлению при местных условиях организации большинства меньшинством), а идейная борьба за влияние неизбежно при данных условиях окажется бесплодной и может вызвать лишь новые трения, конфликты и новый раскол. Таким образом, слияние, создав почву для новой дезорганизации, нанесет только большой

вред положительной работе. Я считаю также, что происшедшее здесь слияние является актом, нарушающим в корне всякие представления о партийной дисциплине, которую так энергично отстаивало всегда большинство в своей борьбе с антипартийными и дезорганизаторскими тенденциями меньшинства...

Факты такой принципиальной неустойчивости подорвали у меня всякое доверие к местной руководящей коллегии, и это в связи с указанными раньше причинами побуждает меня выйти из одесской организации.

Май, 1906 год. *Пропагандистка Наташа*».

К сожалению, письмо отправить не удалось. Арестовали, когда опускала его в ящик с царским орлом. Заколебалась тень на тротуаре, и господин в канотье крепко схватил ее за плечо.

Конкордия Николаевна сидела в кабинете начальника жандармского управления и молчала. Ротмистр внимательно изучал письмо. Вот и отыскался корреспондент Одесского комитета!

— Значит, на этот раз подписали «пропагандистка Наташа». Гм. Для Ростова зоветесь «пропагандистка Оля». Интересно, не правда ли? — Ротмистр понимал, что ничего интересного в этом нет, что вопрос неудачный, и уныло повторил: — Оля... Наташа... Вера... С легкостью невообразимой меняете свои имена, сударыня! Предосудительно-с. Для шушеры позволительно, но для вас, дворянки, дочери священника высокого сана... Не хорошо-с...

Конкордия Николаевна с недоумением взглянула на него и широко улыбнулась, как человек, у которого совесть чиста. И ротмистр возмутился — сказались опасения последних дней. Да, он опасался упустить этих проклятых бомбистов, опасался неприятных последствий

по службе, тревожился за судьбу всей операции в целом, ибо сигнал поступил из Петербурга, он устал от трезвона, поднятого в Ростове, Одессе и Киеве, пресытился депешами и телеграммами, которыми завалили канцелярию.

— Улыбаетесь, сударыня? — Ротмистр не смог преодолеть раздражения. — Вы причастны к делам, за которые полагается каторга, да-с...

— Интересно знать, господин ротмистр, что за дела?

— Извольте быть причастными и к делу Южного военно-технического бюро, и к делу «О сопротивлении чинам полиции и покушении на их убийство»! Будете одновременно проходить по двум процессам...

Конкордия Николаевна помолчала, затем попросила:

— Не следует меня стращать. Вы не сможете доказать мою причастность к этим делам. Как вы это делаете?

— Вопросы задает следствие! — оборвал ее ротмистр и включил лампы. Яркие и резкие — это из последних нововведений. Лампы висели в кабинете по обеим сторонам письменного стола и, словно у фотографа, вспыхивали в момент допроса.

— Давно знакомы с Усенко? Кто скрывается под кличкой «Молоток»? Следствию известны ваши встречи с ним...

Конкордия Николаевна пожала плечами. От яркого света нестерпимо болели глаза, и она старалась найти более удобное положение.

— Вас могут спасти только откровенные показания...

— Вы забыли прибавить «и чистосердечные»... — Губы Конкордии Николаевны расплзлись в улыбке — как можно было еще ответить на эту пошлость?

— Мастерская имела целью снабжение бомбами и оружием южных районов России... и конечно же бредовая идея о восстании против законных властей. — Ротмистр перешел на крик.

— Мастерская? Впрочем, вам виднее, если так убедительно говорите,— Конкордия Николаевна закрыла руками уши.

Кричать ротмистру не полагалось.

Теперь она его просто не слушала. Она словно отключилась от всего, сказалося напряжение последних дней, когда она моталась по городу, пытаясь запутать следы, предупредить товарищей об опасности.

Конечно, арест был неизбежным, но, как всегда, арестовали не вовремя. А когда арестовывают вовремя? Следствие ей напоминало игру в кошки-мышки. Однажды в Твери на тюремном дворе она наблюдала эту картину. Трехцветный кот выпрыгнул из кухни, держа в зубах мышонка. Потряс круглой разбойничьей головой, отпустил мышонка и развалился. Мышонок, обезумев от страха, замер. Кот положил голову на лапы. Мышонок шмыгнул в сторону. Кот подпрыгнул и, выпустив когти, дотронулся лапой. Мышонок пытался увернуться, и кот для сохранности взял его в пасть. Потом кот попрыгал, выбрасывая литое тело, и вновь отпустил мышонка. Мышонок кинулся бежать, но сильная лапа прижала его к земле...

На стороне следователя вся полнота власти, солдаты со штыками, подкупленные свидетели, вещественные доказательства, а подследственного привозили из камеры, чаще из одиночки, замученного незнанием положения вещей и вечными ночными раздумьями. И только убежденность и воля спасали его. Нет, она слишком опытна, чтобы поддаваться запугиванию. Угрозами ее не проймешь!

— Техническое бюро в своем распоряжении имело фабрику взрывных снарядов.— Ротмистр в задумчивости посмотрел на арестованную, но, не заметив волнения, продолжал с неудовольствием. Он знал одну непреложную истину — подследственную нужно ошеломить своей осведомленностью, фактами, правдоподобными измышле-

ниями, которые бы заставили поверить в вину и испугаться кары.— Готовых снарядов было пятьдесят четыре, в производстве — до ста! Преступники бросили четыре бомбы. Это в ответ на требование властей открыть дверь. От взрыва полетели стекла в соседних домах, несколько чинов полиции получили контузии. Дверь забаррикадировали и, воспользовавшись переговорами, спрятали бомбы в помойное ведро!

На допросе присутствовал и молчаливый чиновник из судебных из Петербурга, и поручик, который доставил ее из камеры в жандармское управление. Поручик выхватывал из папки бумаги и подавал их ротмистру.

— На месте преступления обнаружены прокламации, и запрещенные книги, и паспорта на различные имена, и подложные печати, и браунинги, и парафин...— Перелистывал папку ротмистр.

Конкордия Николаевна с грустью слушала перечень вещественных доказательств. Она понимала, что ротмистр старался произвести впечатление не только на нее, подследственную, но и на чиновника из Петербурга. Очевидно, взяли мастерские в Киеве и Одессе. Плохи дела... Плохи...

— Следствие надеется, что вы проявите благоразумие. Как член Донского комитета РСДРП, вы, Конкордия Николаевна, несете всю полноту ответственности.

Громова насторожилась. Да, это не пустые слова. Улики весьма серьезные, ей грозит каторга...

— Отказываюсь отвечать и показаний не даю! — хрипло проговорила она.

— Не даете? Позволю огласить документ, авторство этого документа приписывают лично вам...— «Временный устав организации боевых дружин при Донском комитете РСДРП. Цели боевой дружины: а) для того, чтобы местный комитет нашей партии мог во время вооруженного восстания располагать вооруженным, обученным и спо-

собным обращаться с оружием военным отрядом, который являлся бы авангардом в революционном движении масс, б) для того, чтобы этот же комитет во время черносотенных погромов мог противопоставить находящейся под покровительством войска и полиции черносотенной силе — силу организованных в военный отряд рабочих».

— Вы опустили пункт, который говорит об охране партийных собраний от налетов полиции! — напомнил поручик ротмистру.

Громова молчала. Ни лишнего слова, ни лишнего движения. Приготовилась к битве. И будет биться, возражать, отрицать, упорствовать и переходить во внезапные атаки.

Ротмистр поглядел на арестованную. Он был замучен работой и непрекращающейся битвой с социалистами и понимал степень опасности. Как лавина, надвигалась она на существующий строй, и нужны были чрезвычайные меры, энергичные люди, способные противостоять этой силе. Хорошо, что взяли группу социалистов, которая составляла Донской комитет РСДРП, но и месяца не пройдет, как возникнет новая группа таких же убежденных и бескомпромиссных людей. Нужно что-то придумать в государственном масштабе, нужно спасти отечество. Капли подтачивают камень, маленькие ручейки сливаются в великие реки.

Ротмистр устало приказал:

— Уведите арестованную в тринадцатую одиночку...

Голубые кони

Дело, обещавшее быть таким громким, неожиданно закончилось ссылкой в Вологду. Долгие допросы ночами, отказ отвечать на вопросы следователя, неудачный побег из полицейского участка — все вспоминалось Конкордией Николаевной как кошмарный сон.

В тюрьму доставили группу террористов, они начали отчаянную битву с администрацией. Битва шла с переменным успехом и закончилась трагически. Ночью в камере произошло групповое самоубийство. Началось волнение в тюрьме, обструкция политических, забастовка рабочих в городе, статьи в газете,— все это озадачило и напугало губернатора и поубавило пыл ретивого ротмистра, следователя по делу привлеченной к дознанию Конкордии Николаевны Громовой. Судебное заседание велось торопливо, обвиняемые держались дружно, и результат самый благоприятный — ссылка в Вологду в августе 1906 года.

...И в эту среду она пришла для проверки в полицейский участок в назначенный час. В кабинете с циркульными окнами, напоминавшими бойницы, холодно. Август стоял дождливый, с северными ветрами. Натруженно постанывала печь, как старый и больной человек. Изредка на решетку падал уголек и покрывался серым пеплом.

Пристав нарочито не замечал женщину. Его грузная фигура возвышалась над столом, задавленным папками, такими же распухшими, как и он сам. Лицо в бородавках презрительно морщилось, будто он испытывал зубную боль. Редкие каштановые волосы были зачесаны на один бок и схвачены заколкой в великом старании спрятать лысину. В местном обществе пристав слыл львом и к внешности своей относился с завидным вниманием. Характер он имел обидчивый и вздорный. Конкордия Николаевна Громова, вынужденная являться для проверки в полицию каждую среду, испытывала скрытую тревогу. Она стремилась сохранить мир, ибо рассчитывала на скорый побег из Вологды.

— На имя поднадзорной Громовой получена посылка.— Пристав играл голосом и делал ударения на гласных.

Конкордия Николаевна ждала приглашения сесть. Она продрогла, пока с другого конца города тащилась в полицейский участок. «Мелкий пакостник, даже стулья убрал, чтобы унижить человека. И так каждую среду. Будет теперь поучать не менее часа, раздуваясь от важности...» В слова его она не вслушивалась.

— В циркуляре о лицах, состоящих под гласным надзором, политическим ссыльным запрещается иметь работу или службу в государственном учреждении или земском...— Пристав шумно вздохнул, набрав воздуха и раздвинув грудь, словно меха.— Запрещается заниматься педагогической деятельностью не только в гимназии, реальном училище, но и частными уроками...

— Чем же должен в соответствии с циркуляром заниматься поднадзорный? — поинтересовалась Конкордия Николаевна, стараясь воспользоваться паузой.

— Достойными делами, сударыня... Достойными... Переписка ваша просматривается...

Конкордия Николаевна возмутилась:

— Просматривается?! Даже в поздравительных открытках вымарывается все, вопреки здравому смыслу.

— Действия в соответствии с циркуляром. На том же основании посылочка выдается в распакованном виде.— Пристав величавым жестом придвинул к себе посылку.

На сером холсте сургучные печати. Содержание посылки более чем скромное: варежки, пара носков грубой вязки, толстый шарф и шерстяной платок. В варежках орешки. Кедровые. Значит, от Калерии. Скрасить одиночество и напомнить о родной Сибири! Конкордия Николаевна повеселела. Здесь и письмо с желтыми полосами от йода — охранка выявляла тайнопись. Полосы, как решетка в каземате.

— В посылке ничего предосудительного не обнаружено,— провозгласил пристав и, выкатив грудь, прошелся по самотканой дорожке.

— Коли нет предосудительного, то почему письмо невозможно взять в руки? Измарано так, что ничего нельзя понять,— Конкордия Николаевна с трудом сдерживала раздражение. «Самовлюбленный петух». У нее запыло сердце и, чувствуя, как дрожит голос, не вытерпела:— Все дозволено господам хорошим... Все...

— Если письмо не нравится, так и не берите,— равнодушно провозгласил пристав.— Положено, и просматриваем.

— В письме сказано, что в посылке должны быть газеты «Русское слово» и «Русские ведомости». Где они? Неужто такие добропорядочные газеты подлежат досмотру в Вологде?

— Газеты? — Пристав торопливо выхватил письмо из рук женщины, скривился.— А, черт!

Задерживать столичные газеты было любимым занятием пристава. Задерживал, чтобы насолить поднадзорным, которые осложняли жизнь в Вологде. Жизнь в городке, сонном и размеренном, казалась бы ему раем, если бы не злополучные политики. От этих политиков одна суета и маята. К тому же его предшественника сняли с должности за побег политических. Пришел циркуляр из Петербурга, и все...

— Превышаете полномочия, господин пристав. Поднадзорные жалуются, что задерживаете письма и газеты. Ведь в благонамеренных газетах нет крамолы. Иначе их бы не разрешил цензурный комитет. Возможно, вы против него? В этом случае политические с вами солидарны.

— «Политические солидарны!» Да за такие речи, поднадзорная Громова, в Сибирь... В Сибирь...

— Сибирью меня не испугать, я родом из Сибири!

— Я напишу рапорт в управление.

— В ростовской тюрьме смотритель делал иначе. В передачах мешал табак с сахаром. Принесут в каме-

ру — ан табачок вместе с сахаром. Времечка в избытке, вот и отделяйте табачок от сахара... Правда, смотрителя убили уголовные...

Пристав расстегнул воротник. Угроза?!

Конкордия Николаевна направилась к двери.

— Газеты не забываюте выдавать поднадзорным да и о табачке с сахаром подумайте...

Кошелку с посылкой несла бережно. Калерия стала великая искусница и наверняка что-то придумала. И она предвкушала тот момент, как придет в Заречье, в комнату, которую снимала у сапожника, закроет ставни и начнет по частям исследовать посылку. С сестрой не виделась давно, и каждый раз та правдами и неправдами узнавала об очередных ее злоключениях, и в тюрьму, а потом в ссылку приходили то поздравительная открытка, то посылочка... Это была радость, живая ниточка, которая связывала ее с домом.

И действительно, среди теплых вещей оказалась открытка, которую не заметила в участке. На открытке литография со скульптуры Родена и надпись на французском языке: «Убегает любовь». В неведомую высь мчится женщина. Лицо ее прекрасно. Развевающиеся волосы подчеркивают стремительность полета. И эту женщину, неуловимую и таинственную, пытается удержать в объятиях мужчина. Только ненадежно кольцо его рук. Боль и страдание, тоска и ужас исказили лицо мужчины...

Конкордия Николаевна повертела открытку в руках. Боже, да она от Аркадия Александровича. Писать побоялся, чтобы не осложнять положения, но через сестру прислал открытку. Аркадий... Аркадий... Где он? На воле или в тюрьме? Как тяжело сложилась их жизнь — встреча и разлука, неизвестность и отчаяние. И не она была виновницей этой разлуки, а тюрьма да неволя.

Вологду со времен Ивана Грозного строили превосходные мастера, и Конкордия Николаевна была счастлива, что судьба забросила ее сюда.

На левом берегу реки раскинулось Заречье с парадной набережной, напоминавшей петербургскую.

После дождя разноцветные крыши домов, словно яркие пятна. По лужам скакали солнечные зайчики, шустрые ребятишки пускали кораблики. С лип, высаженных вдоль набережной, падали листья, тяжелые от дождевых капель.

Конкордия Николаевна прошла мимо Скулябинской богадельни. В сводчатых помещениях разместились лавки и склады, которые плохо уживались с лепниной, разбросанной по фасаду здания.

По Багровой улице она спустилась к церкви Сретенья, красивейшей в Заречье. Сверкающее пятиглавье в лучах солнца завораживало каждый раз, как она попадала сюда.

Конкордия Николаевна удивлялась количеству церквей в Вологде. И каких старинных! Она, обреченная на безделье, любила заходить в храмы, любоваться росписью. В церкви Сретенья Георгий Победоносец и архангелы восседали на голубых конях. Сказочных, словно из радостного сна. Воинственно вскинув голову, раздувая ноздри и хвост, они плыли по облакам, грозясь сбросить мифических седоков. Старожилы утверждали, что голубые кони жили в Заречье. Они возвращали ее в детство.

Конкордия Николаевна остановилась у храма жен-мироносиц. И вновь память ворошила детство добрыми руками. За обеденным столом сидит их большая семья. Отец с холеной бородой. Матушка в кружевной наколке, неторопливая в движениях. С отцом у матушки нежная любовь, пронесенная через долгие годы. Жили дружно и только ссорились на праздник жен-мироносиц. Отец, лукаво улыбаясь, рука его неторопливо размешивала сахар в стакане, торжественно произносил: «С великим

тебя праздничком, матушка... С днем жен-мироносиц... Их молитвами и мир держится. Кроткие, тихие овечки... — Отец оглядывал дочерей и правоучительно изрекал: — Не эмансипация, а благочестие и смирение».

Дочери улыбались — они готовились на Бестужевские курсы. Мать не выдерживала: «Странно в наше время упрекать в эмансипации девушек. Каждая должна идти своей дорогой». Отец смеялся, поглаживая бороду: «Спасибо, матушка, за покорность и мир в нашей семье...» И сразу раздавался смех — отец был под пятой у жены. К этому привыкли, и только матушка, сильная и властная, хотела быть в глазах дочерей слабой и покорной. Она сердито отодвигала стул и уходила. Отец закрывал лицо салфеткой и хохотал.

Конкордия пошла характером в матушку, а Калерия, мягкая и уступчивая, — в отца. Да и лицом она в отца — круглолицая, с ярким румянцем и голубыми глазами, доверчивыми и открытыми. Отец рано ушел из жизни. Матушка постарела от горя.

Конкордия Николаевна нахмурилась — от воспоминаний и тоски по воле можно задохнуться. Жизнь здесь — стоячее болото... Но скоро конец!

Она поднялась и решительно двинулась к дому Масленникова, нарядному особнячку с ажурной мансардой в три окна.

В этом особнячке жила семья знакомого адвоката, на которого она возлагала надежды в важном деле...

На перроне в ожидании поезда прохаживалась нарядная публика — одна из особенностей маленьких городов.

Заходящее солнце заливало ровным светом привокзальную площадь, отражалось в стеклянных фонарях, придавая станции праздничность и нарядность.

У вагона первого класса царило оживление. Слышалась французская речь, смех, неприпущденный разговор. В центре небольшой группы стояла высокая дама в сиреневом костюме, в шляпе с густой вуалью. Рядом — адвокат Волков с красавицей женой Зипайдой Ивановной.

Адвокат держал даму в сиреневом костюме под руку и смеялся.

Мимо вышагивал городской. Сонный и грузный, одуревший от пьянства. Его мучила головная боль, и нестерпимо хотелось спать. Но пристав, помешанный на побегах политических, приказал дежурить на вокзале. Городовой знал каждого поднадзорного и лениво проглядывал толпу. Все известная ему, старожилу, публика. Учитель гимназии, художник, адвокат с женой. Дама под вуалью — гостья адвоката Волкова. Конечно, сумасшедшая, прикатила из Петербурга полюбоваться на соборы. Он и сам гордился городом и испытывал симпатию к тем, кто ценил древнюю Вологду.

— Раскрашенные статуи святых — подлинное чудо! — Дама в сиреневом костюме подняла руку в тонкой перчатке: — Параскева Пятница ничем не уступает Джоconde в Лувре — та же мудрость, та же теплота!

— Жорж, когда же мы поедем в Париж? — Зинаида Ивановна капризно надула губы. — Стыдно до сих пор не побывать в Париже!

— Зина, вы должны уговорить Жоржа обязательно поехать во Францию! — поддержала жену адвоката дама в сиреневом костюме. — Я плакала, когда оказалась в Лувре. Перед красотой меркнет все — и невзгоды мелкие, и радости преходящие. Божественная Ника...

— Но богиня без головы?! — Изобразив на лице ужас, адвокат тонко улыбнулся. — Впрочем, в России голова, кроме вреда, никому ничего не приносила.

— И после всего этого вы восхищаетесь нашими вологодскими росписями «Христос в темнице»?! — с недо-

верием спрашивала Зинаида Ивановна. — Восхищаетесь после Парижа... — В голосе уже звучал укор.

— Да, у нас тоже есть много прекрасного. И потом родное всегда так близко сердцу.

Городовой довольно хмыкнул. Молодец барынька! Эта вертихвостка, поди, потащит адвоката в Париж деньги проматывать! Заморские страны! Вся в кружевах да бархате, а сама с поготовок — муж голову потерял, поди, от такого сокровища.

— А роспись в Софийском соборе! Нет, я совершенно искренне говорю, что эти росписи ставят собор в число замечательных памятников русского зодчества. Какие краски! А фрески Плеханова? Кудесник! Он ярославец? — Конкордия Николаевна говорила с воодушевлением.

— Ярославец? — переспросил адвокат.

— Да, по манере, думается, что он из ярославской школы иконописцев.

— Вы меня удивляете — провели в Вологде всего три дня, а успели более, чем я за всю свою жизнь здесь. Плеханов?! — Адвокат повысил голос, заметив, что городской прислушивается к разговору.

— Позвольте заметить, Плеханов — из ярославских мастеров, — городской улыбнулся даме в сиреневом костюме. Он устал от безделья.

— Благодарю вас. Здесь все было очень интересно, — с большой искренностью отозвалась дама.

Городовой словно прирос к вагону. Адвокат привез жену из Питера, благородную. Сказывают, она жить в такой дыре, как Вологда, отказывается, он-де и в ногах у нее валялся, и крест целовал, что продаст свой дом и переберется в столицу. Это она таскает для увеселения подружек из Питера. Видно, и эту вызвала. Что в Вологде окромя соборов показать? Вот и приходится ей, горемыке, по соборам бродить да обедни простаивать.

Дамочка, приехавшая из Петербурга, и правда старину уважает. Даже и его поблагодарила. Вежливая, хотя и благородная! Он не все понимал, что говорила парядная дама, но главное — восхищалась его родным городом.

— «Христос в темнице» — явление искусства. Сколько безысходной печали. И эти пятна крови от тернового венца. Страдание так явственно, что оно ощутимо!

«И то правда твоя, барынька, — подумал городской. — Нужно будет свечу поставить». Он-то все удивлялся, почему простой народ больше всего там свечи ставит?! Значит, от сострадания...

Городового толкнули в бок. Вновь прибывший молодой человек взглянул на него с пренебрежением и бросился целовать даме руки.

— Значит, мой друг, покидаете нашу глухомань? Покидаете... Нам нужно благодарить прекрасную Зинаиду Ивановну, — молодой человек шаркнул ножкой, — что вытащила вас из Петербурга. Несравненный голос, ваше очарованье... — Молодой человек захлебнулся от восторга и кинулся вновь целовать даме руки. — Буду вас помнить вечно!

«Пустая мельница... Язык-то без костей, вот и мелет... «Вечно» — эдакий святой, будет жить двести лет. Да, поди, завтра и сам сбежит в Петербург. И что их там привлекает? Кабаки да трактиры... Дух в городе тяжелый, заводы дымят, народу толчея непротолченная и раздолья нет. Здесь, в Вологде, как разольется река, так и Заречья не видать — одна вода да соборы, как островки, с золотыми крестами».

— Спасибо, коли до вечера проскучаете, — улыбалась дама. — С глаз долой — из сердца вон!

«Вот умница! — умилялся городской, не спуская глаз с дамы. — Да у него, пепутевого, в каждом доме невеста. Все богатства ему не хватает. Завистливый черт, падкий на чужие деньги. Хорошо барынька его, прощелыгу, рас-

кусила. Очень разумная... И одета-то как! Видать, богатейшая. Ясно, и Париж знает, Париж не Вологда, там без миллиона делать нечего!»

Молодой человек слыл первым врачом в Вологде. Имел практику, собственный выезд. Говорили, учился он то ли в Цюрихе, то ли во Франции, то ли у англичан. Бог его разберет...

— За конфеты спасибо! Удружили...— Дама с улыбкой прижимала к груди огромную коробку.— Где такую сыскали? Балуете... Балуете...

«Что ему не баловать — поди, на складе у отца стащил! — Городовой был не в силах преодолеть неприязни к доктору.— Отец-то из первых богачей, а она, сердечная, за коробку конфет благодарит. Да он должен такой барыне брильянт купить!»

Городовой сплюнул. К женской красоте он был равнодушен. Лица дамы под вуалью он не мог разглядеть, но по изяществу фигуры, манер, мягкому голосу представил невиданную красоту. Иначе зачем адвокату, врачу и этому щупленькому студенту вертеться около дамы да разные приятности нашептывать. Красавица! И рост царский! И стать царская!

На перроне показался пристав. Его маленькая голова торжественно несла форменную фуражку. Он важно отвешивал поклоны, кому небрежные, кому подобострастные. Глаза его настороженно прощупывали толпу. Нет, все благополучно. Студенты, что отвернулись при его приближении, уезжают после летних вакаций.

Пристав низко поклонился. Адвокат вежливо ответил на поклон. Жена адвоката опустила глазки. Хороша bestия! Пристав вобрал живот, выкатил грудь, даже щеки вспыхнули румянцем от удовольствия. Первая красавица Вологды! Дама в сиреневом костюме повернулась к нему и молча ответила на поклон. В манере держать себя, спокойной и горделивой, чудилось что-то знакомое.

Городовой, не мигая, уставился на грозного пристава. Притащился на перрон. И конечно, с единственной целью — проверить его.

— Дамочка из подружек Зинаиды Ивановны будут... Приезжали на три дня полюбоваться архитектурой наших соборов. Удивительно умные вещи тут сказывали. — Городовой вытянулся перед приставом. — Вот она, Вологда, для понимающего человека!

— Убирайся, сапожник! — Пристав брезгливо поморщился и помахал рукой, пытаясь отогнать водочный перегар. — Опять нализался...

— Голубые кони... Голубые кони, как прекрасная сказка детства! — Доктор громко смеялся и в умилении прижимал руки к груди. — Именно голубые, а я на них внимания не обращал!

— Ну, голубушка, пора... — Адвокат решительно отстранил доктора и посмотрел на часы. — Через пять минут отправление... Спасибо, что не забыли нас, провинциалов.

— Милости просим, приезжайте... Порадуйте... — Доктор развернул бумагу и достал букет роз, встряхнув, протянул его гостю. — Прошу...

Зинаида Ивановна захлопала в ладоши. Пристав скосил глаза. Вот бабий угодник. Розы в Вологде...

Дама в сиреневом растроганно благодарила:

— Мило... Очень мило...

И опять в голосе почудилось приставу что-то знакомое.

Адвокат громко смеялся, шутил. Дама с букетом роз и коробкой конфет держалась непринужденно. Да-с, очумеешь в этой дыре от поднадзорных с их побегами, все кажется что-то...

Над перроном разливался густой и тягучий звон вокзального колокола. Забегал с жезлом старший кон-

дуктор. Выкатился из дежурного помещения начальник станции.

И сразу всполошился перрон. Крестьяне застучали сундучками. Бабы повисли на шеях мужиков и запричитали, словно отправляли их на войну. И только в группке адвоката царило веселье. Дурашливо размахивал шляпой доктор. Адвокат посадил даму в вагон. Дама приподняла на мгновение вуаль... «Поднадзорная Громова?! Нет, почудилось, разумеется, почудилось...»

Поезд набирал скорость, и дама уплывала в воздушных поцелуях, с розами.

Пристав вытер вспотевший лоб и шагнул к доктору — нервы стали сдавать.

Присяжный поверенный Самойлов

Поздней осенью 1906 года присяжный поверенный Аркадий Александрович Самойлов снял квартиру на Дворянской улице. Луганск не уступал столице! Да и что это за город, если в нем нет Дворянской улицы?! Дом стоял за зеленым забором, окруженный акациями и тополями. К забору жались кривые скамьи с темными пятнами лишайника. В будке на соломе лежала толстая собака. Лениво раскрывала пасть, зевала.

Дом белел колоннами, поддерживавшими балкончик на втором этаже.

Вместе с присяжным поверенным Самойловым приехала и его жена. Крупная красивая женщина с выразительными глазами, которую муж называл Наташей.

Акация уже сбросила листву, и мелкий ажурный лист, прибитый дождем, окрашивал дворик в оранжевый цвет.

Вещей у приехавших почти не было. Правда, пришлось открыть ворота, и по оранжевому настилу пролегли следы колес.

Подошел дворник с окладистой бородой. Снял картуз, поклонился, закурил сигарку. Дела господские его не касались. Он повел долгий разговор с возчиком.

Самойлов занялся корзинами, привезенными на телеге. Жена отошла и ждала, присев на скамью.

Из парадного выбежала кухарка. Уперла руки в крутые бока и начала стыдить дворника за нерадивость. Затем повязала голову платком и кинулась помогать приехавшим. Дворник не обращал внимания на кухарку, сидел и курил. Он привык к ее крику. Дрогнула занавеска, и в оконце появилась вдова полковника, хозяйка дома. Дворник неторопливо затоптал сапогом окурок и двинулся к телеге.

Корзины оказались тяжелыми, словно в них были золотые слитки. Дворник ненароком качнул одну, и в грязь полетели книги. Жена присяжного поверенного заволновалась и, не жалея нарядного пальто, бросилась их подбирать. Барин недовольно хмурился. Эдакая певидаль — книги! А дамочка пальто марает. Блажь у господ в голове.

Дворник, побрякивая, взвалил на плечо корзину. Нарочито согнулся от тяжести и почти бегом бросился к парадному. У двери стояла кухарка и, спрятав руки под фартук, давала советы:

— Пошел, кривая оглобля.

— Цыц, дура баба... У самой не тем концом нос пришит!

— Пьянь таракалья! — отрезала кухарка. — Коли мой нос не тем концом пришит, то твой посинел от водки!

Дворник подмигнул новым жильцам: у кухарки и впрямь был утиный нос.

— Нос... Нос... Жил-был журавль да овца, накосили

они стожок сенца, не сказать ли опять с конца! — язвила кухарка.

В движениях дворника, ловких и сильных, было столько удали и озорства, что Самойлов залюбовался им. Да и сам дворник молодец молодцом.

— Не такого я отца дочь, не такой матери дитя, чтобы с дураком ляссы точить! — Кухарка повела плечиком и, достав семечек, принялась лузгать. — Хочешь, Иван, загадку загадаю.

— Ишь, голубица... — недоверчиво покосился дворник на присмирившую кухарку.

— Мать лопотунья, дочь хвастунья, сын замотай...

— Чертова баба! — Дворник бросил корзину с книгами. — Метлой попрекаешь...

Самойлов вздохнул и принялся сам перетаскивать книги в квартиру.

...В кабинете Самойлов ощущал покой и счастье. Неизведанное и непривычное. Он расставлял книги на полки, перетирал, листал их.

Наконец они с Конкордией Николаевной были вместе. После той мимолетной встречи в Москве на квартире у подруги они потеряли друг друга. Судьба их развела. Арест в Екатеринославе, тюрьма в Твери. Конкордия встреч и не искала. Борьба, все время напряженная борьба.

О жизни Конкордии Николаевны Аркадий Александрович узнавал стороной. В Вологду он послал открытку Конкордии Николаевне. И сам уже было собрался туда, но тут узнал, что она находится в Москве.

Пожалуй, никогда не забудется тот осенний день. Думал, тосковал, искал... И вдруг она совсем рядом! Вместо радости его охватила тревога. Нужен ли он ей? Умной и прекрасной женщине этаким нерешительный чурбан?

Аркадий Александрович стоял у входа в парк под

густыми липами, разукрашенными первым золотом. В тот день намечалось собрание партийной организации. Времена наступили тяжкие, аресты, провалы... Предстояли довыборы окружного комитета. На это собрание должна была прийти и Конкордия Николаевна. Знал, ждал и волновался. Кажется, не было в его жизни момента страшнее. Противный испуг подкатывал к сердцу, становилось трудно дышать.

Издалека доносились звуки военного оркестра, который по воскресным дням маршами и вальсами увеселял публику.

Он наконец должен был ее увидеть. Все это время он не забывал ее. И с такой отчетливой ясностью выплывало ночами ее лицо, что он боялся галлюцинаций. Временами его пугала мысль, что он ее совсем не знает, что это просто наваждение. В эти дни он успокаивался, занимался делами и удивлялся собственному безумию. Но потом все накатывало с новой силой. Жить без мыслей о ней он не хотел!

Глаза его выискивали ее в нарядной толпе.

Наконец он заметил ее. Прижался к дереву, боясь, что она его обнаружит. Усилием воли заставил себя остаться на месте. И только когда понял, что она пройдет мимо и он опять будет один на один со своими тревогами и волнениями, резко шагнул ей навстречу.

— Кона... — прошептал он и спрятал руки за спину. — Кона...

Он себя презирал. А она? Она радостно протянула к нему руки, словно ждала его увидеть здесь. Нет, не удивилась, а именно ждала. Все, что происходило в дальнейшем, он плохо помнил. Дирижер на эстраде кокетничал с публикой. Из толпы, окружавшей эстраду, шагнул связной с гвоздикой в петлице и велел идти по липовой аллее. Там их встретила женщина, связная, и приказала повернуть в рощу, за которой скрывалась поляна.

Любимые им Сокольники в осенней красе. Светила луна, круглая и печальная, наполняя тишину пестрым светом. Он держал Кону за руку. Они сидели на поляне под густым орешником.

Конспирация была жестокая, опасались палата полиции. Зеликсон-Бобровская, он узнал ее по голосу, говорила о последних арестах, обескровивших организацию; говорила о том, что не хватает опытных пропагандистов, что опыт уличных декабрьских боев не прошел бесследно, что новая схватка с царизмом близка... Пересвистывались связные, и этот свист напоминал, что ночь полна опасности. Потом он потерял Конкордию в темноте и не очень вслушивался в слова ораторов. В каждом голосе ему чудился ее голос, в каждом движении угадывалось ее движение. И вот начались довыборы в окружной комитет. Слово взяла товарищ Наташа. В ее голосе слышалось волнение. Наташа рассказывала свою биографию. И биография эта была удивительная и в то же время простая. Многое ему знакомо: участвовала в ветровской истории, была арестована, работала в Твери и была арестована, работала в Ростове и была арестована, бежала из ссылки... И сердце его заныло, — значит, нелегальная, без паспорта, без угла и разыскивается полицией. Он предложил кооптировать товарища Наташу в окружной комитет.

Началось голосование — каждый спичкой осветил поднятую руку, а лицо оставалось в тени. Эдакие времена в подполье! Так и висели в темноте руки, подсвеченные красноватым огоньком.

Расходились по одному. И опять он поджидал ее у дуба. Забыл об осторожности, об опасности. Ждал с нетерпением, готовый скорее умереть, чем потерять ее снова. И опять она протянула к нему руки. Он говорил глупости — и о том, что его невозможно любить, что ничего хорошего в нем нет, что он ординарный человек... Он

так в это уверовал, что готов уже был сбежать, только бы не видеть к себе жалости. В темноте свестились ее глаза, и мерещилось, что они наполнены жалостью и участием. И все страдания, думы, волнения, бессонные ночи слились в одно жгучее и страстное желание — бежать, не унижаясь до просьбы...

А она прижалась к нему, обхватила шею руками и целовала...

Счастью сопутствовала тревога. Конкордия Николаевна не могла оставаться в Москве. Буржуа и либералы, так называемые сочувствующие, испугавшись репрессий, отвернулись от нелегальных, и достать квартиру было невероятно трудно. Они встречались то на вокзале, то на улице. Аркадий снимал комнатку на Пресне, но Конкордия Николаевна, боясь слежки, отказалась там жить. Где она находила кров — он сказать не мог. При встречах была полна нежности, но и тревогу прятать не умела. Выглядела плохо, похудела, подурнела. Он упрашивал ее уехать в любой город, где бы они поселились вместе. Она считала предательством оставить организацию в такое трудное время. Надо было поговорить с Зеликсон-Бобровской, секретарем Московского окружного комитета партии.

В тот день они расстались у почтамта. Конкордия Николаевна уверяла, что она устроилась на ночлег к солидным и прекрасным людям. Он ушел с тяжелым сердцем. Он знал: почевать ей было негде. А в сумке у нее лежало несколько паспортов на разные фамилии. И она пошла в арбатский переулок к Зеликсон-Бобровской. Подруга жила в ужасающей бедности, снимала угол за ситцевой занавеской. В темноте она опрокинула пустое ведро, всполошилась хозяйка, разбуженная ночным вторжением. Вместо кровати — широкая доска на чурбанах. Поместиться на этом ложе вдвоем оказалось невозможно. Они проговорили всю ночь. Зеликсон решила отправить ее

с Аркадием Александровичем в Луганск, где была нужда в опытных пропагандистах, отправляла, словно от сердца отрывала...

Так они оказались в Луганске. В подполье вписали имя и фамилию Конкордии Николаевны в паспорт мужа.

Работы в Луганске было очень много. Ждали Пятого съезда партии, и война с меньшевиками вспыхнула с новой силой. Конкордия Николаевна пропадала днями и ночами — вела кружки на заводах, ставила типографию, писала листовки. Домой приходила взбудораженная, веселая.

Осень пролилась холодными ливнями, застыла первыми морозами. И зима просвистела пургой да буранами, разукрасила улицы сугробами, придавила снежными шапками дома на рабочей окраине.

Приближался день памяти народовольцев. Конкордия Николаевна готовилась посвятить этой дате занятия в рабочих кружках. Достала отчет, напечатанный в журнале «Былое», принялась делать выписки. Теперь в ее жизни появился любимый человек, и страх за его судьбу не покидал ее ни днем ни ночью. Что должна была испытывать Софья Перовская, когда на ее глазах на Желябова надевали петлю? Как передать чувства Желябова, когда к позорной колеснице прикручивали руки любимой женщины? А горе Геси Гельфман, на глазах которой застрелился Саблин? Ведь она ждала ребенка от него — Конкордия Николаевна встряхнула головой, пытаясь отогнать эти тяжкие мысли.

— Господин Самойлов, я вынужден пригласить вас к себе для знакомства. Луганск — небольшой город, и интеллигентные люди должны знать друг друга, — жандармский ротмистр улыбался, но глаза были холодными и пытливыми. — Кроме того, я не понял, почему у вашей супруги отсутствует паспорт.

Аркадий Александрович сидел в кресле солидный, респектабельный. Он знал, что господина ротмистра интересуется его жена.

— В наш век все женщины заражены идеей эмансипации. Моя жена могла бы претендовать на самостоятельный паспорт. К счастью, она верная и любящая супруга, и в нашей семье такого вопроса не возникало, — Аркадий Александрович наклонился к ротмистру и доверительно произнес: — Эмансипация хороша для каждой женщины, кроме жены!..

— Не объясните ли вы мне, милостивый государь, чем вызван ваш приезд в Луганск? — На лице ротмистра любезная улыбка.

— Видите ли, каждый начинающий практиковать присяжный поверенный не может избежать конкуренции. В Луганске меньше моих коллег... Я хочу сказать, что город промышленный, практика предстоит обширная. Если дела пойдут успешно и возникнет вопрос о поездке в Ниццу, то, разумеется, придется хлопотать о паспорте для супруги.

— Так уж сразу в Ниццу... — не без упрека заметил ротмистр и протянул собеседнику портсигар. — Ницца... Лазурное побережье... Какие вы одинаковые, господа!

— Что делать, господин ротмистр! — Аркадий Александрович взял папиросу, чиркнул спичкой. — Разве русскому обывателю внушает доверие юрист, который не побывал за границей?

— Пожалуй, пожалуй... — Ротмистр откинулся на спинку кресла и не без интереса смотрел на собеседника. — Как к этому относится ваша супруга?

— Какая женщина откажется побывать в Ницце? Но смею вас заверить, что отец ее духовного звания и устои в семье крепкие.

— По-моему, вы выбрали не самый быстрый путь к обогащению, господин Самойлов. — Ротмистр старательно

размял окурок.— Коли за желой нет приданого, то поездка на Лазурный берег будет не такой уж скорой...

— Я, милостивый государь, женился по любви и приданым не интересовался,— Аркадий Александрович мягко осадил ротмистра.— Я и сам в состоянии обеспечить семью...

«Хорохорится, голь перекатная,— с неприязнью решил ротмистр.— Можно подумать, что от мамыши получил серебряные рудники. «По любви женился...» «Из духовного звания...» Тыщенька-другая не помешала бы. В Луганск приехал загребать деньги лопатой?! Нашел Монте-Карло!» — И сама мысль, что Луганск, прокопченный и пыльный, он уподобил Монте-Карло, показалась такой смешной, что он едва овладел собой, сдержав улыбку.

— Имейте в виду, клиентами будут артельщики да мастеровые. По двадцать копеек за написание бумаги...

— Нет, по двадцать копеек я брать не собираюсь. Долг интеллигентного человека вижу в бескорыстном служении обществу. Впрочем, курочка по зернышку клюет, а сыта бывает! Важно составить доброе имя, тогда и настоящие клиенты придут.

— Может быть, может быть...— почему-то вдруг рассердился ротмистр.

Аркадий Александрович твердо знал, что обязан сдерживаться, излишней прямоотой отличалась Кона, а он должен был владеть собой.

— И все же как будет с паспортом вашей супруги?

— Да что об этом толковать? Жена у меня красавица. Я не заинтересован, чтобы она имела отдельный паспорт. Береженого бог бережет! Это уж разговор сугубо мужской...

Ротмистр понимающе взглянул на посетителя. Конечно, сам-то не из красавцев, но не глуп, не глуп...

— А все же почему у супруги нет вида на жительство? Явится какая-нибудь инспекция, и мне будет сде-

лапо замечание по службе. Нет, вид на жительство ваша супруга обязана иметь.

Самойлов встал и прошелся по кабинету. Конкордия Николаевна должна отсидеться в тени. Слишком большой счет у нее с охранкой. Та наверняка потеряла ее след. И ни паспорт, ни вид на жительство в тихом Луганске ей не нужны. Ротмистр упорствует, но оснований у него нет. Наконец Аркадий Александрович остановился возле книжного шкафа, где в золоте застыли тяжелые своды законов Российской империи.

— К чему спорить попусту? Обратимся к законам. Разрешите? — И, получив согласие ротмистра, спял с полки книгу. — Том четырнадцатый... — Он быстро нашел нужную страницу. — «Вид на жительство служит удостоверением личности, а равно правом на отлучку из места постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостоверено... Никто не обязан иметь вида на жительство в месте своего жительства и даже при отлучке в пределах того уезда, где оно находится, а за пределами уезда — не далее 50 верст», — Аркадий Александрович захлопнул книгу. — Обещаю, коли жена попросится в отлучку на расстояние более пятидесяти верст, вам сообщить... Вернее, я ее просто одну не отпущу.

— Муж-тиран двадцатого века! Bravo! — улыбнулся ротмистр.

— Теперь относительно паспорта, — не унимался Аркадий Александрович. — Мне хочется вам напомнить, а то и, если хотите, вооружить на случай возможной инспекции. — Он вновь перекатил тяжелые страницы и ровным голосом начал читать: — «Свобода передвижения, самая элементарная свобода гражданина, вытекает из общих условий современной экономической деятельности, но ограничивается государством по соображениям общественной безопасности. Одной из важнейших форм ограничения является паспорт. — Самойлов опустил очки на

кончик носа и взглянул на растерявшегося ротмистра.— Паспорт есть официальный документ, выданный публичной властью в удостоверение индивидуальных свойств данного гражданина в целях облегчения контроля, особенно при передвижении. Такой документ может иметь двойное значение: или он является лучшей (но не единственной) формой удостоверения личности в момент, когда возникает в нем потребность, или документ, выданный надлежащей властью, является непременным условием права передвижения, которое, таким образом, ставится в зависимость от усмотрения полиции».

Ротмистр иронически вслушивался в слова словно поучавшего его юриста. Зевнул и оживился. И неожиданно с торжеством закончил:

— «В таком случае мы имеем паспорт в собственном смысле слова: лицо, не имеющее паспорта, подлежит уголовной каре».— Ротмистр победно глядел на Аркадия Александровича.

— Браво, браво, господин ротмистр... У вас отличная память. И могу заверить вас, что моя жена вписана в паспорт мужа в соответствии с законом.

Ротмистр поднялся с кресла, давая понять, что разговор окончен.

— Рад был познакомиться с вами, господин Самойлов, и предупредить возможные недоразумения. Но вижу, вы человек опытный...

Аркадий Александрович откланялся.

Лондон

Тяжелый желтовато-серый туман укрывал дома и парки, соборы и набережную Темзы. Густое марево разрезали игольчатые лучи машин и языки света от фонарей конок. Омнибусов не было видно, доносился только их звон, сильные крики кебменов.

Конкордия Николаевна с трудом передвигалась в этом хаосе. Тускло светились фонари. Ударили часы Большого Беа. Двенадцать! Петербург сейчас залит солнцем, сияют купола соборов. А на улицах Лондона горят фонари!

Была весна 1907 года. Тридцатого апреля в церкви Братства на окраине Лондона открывался Пятый съезд партии, делегатом на который от луганской партийной организации была послана Конкордия Николаевна Самойлова. Вместе с ней делегатом приехал и Климент Ефремович Ворошилов.

Первоначально съезд задумали провести в Копенгагене. Но шведское правительство отказало делегатам в визе. И съезд пришлось перенести в Лондон.

Конкордия Николаевна поселилась в пригороде. Оттуда частые и быстрые поезда прибывали на Чаринг-Кросский вокзал. Единой лавиной двигался молчаливый поток деловых людей. Не было привычной русскому сердцу вокзальной суматохи. Все выглядело размеренно и степенно.

Конкордия Николаевна вспоминала Париж с его большими белокаменными домами, высокими готическими крышами и удивлялась архитектурному однообразию Лондона. Длинные шеренги кирпичных домов в три этажа, палисадники с унылыми оградами. Ей нужно было пересечь на юго-западную железную дорогу, которая доставила бы к церкви Братства. И как ни привыкла она ориентироваться в пезнакомом городе — практика русского подполья — великая школа, — только разобраться в однообразных улицах, скверах, парках оказалось непросто. Ее сопровождал англичанин, преподаватель русского языка в колледже. К его помощи пришлось прибегнуть не случайно.

Конкордия Николаевна знала английский язык и была обескуражена, когда таможенники — их она

прекрасно понимала — разводили руками в ответ на ее речь. Вместе с ней на пароходе прибыли и другие делегаты. Их было более трехсот человек, и одну из групп через таможенную проводила она. Делегаты следили за ее разговором с таможенником, но тот ее не понимал, и отчаяние ее было безмерным. Таможенник с красным носом и острым подбородком шипел от возмущения: она читает декларацию, пишет, пытается ответить на его вопросы, но несет несусветную чушь...

В Лондоне она не стала терять времени, полистала газеты и для практики встретила с этим долговязым преподавателем русского языка из колледжа. Англичанин любил Лондон и хотел это увлечение передать русской.

— Лондон — великий город! Он включил в свои границы множество пригородов, селений и небольших городков. Одних улиц здесь восемь тысяч. Трудно ориентироваться, приходится на конвертах писать не только название улиц, но и кварталы, где они располагаются.

Англичанин водил ее по Сити, мертвому в воскресные дни. Останавливался на пересечении девяти улиц и торжественно поднимал палец — здесь самое большое количество жертв! Долго стояла она около собора Святого Павла.

— В этом соборе гробница адмирала Нельсона? — поинтересовалась Конкордия Николаевна.

— Да, и Нельсона, и Веллингтона. Здесь хранится и траурная колесница Веллингтона, отлитая из пушек, отбитых в сражениях. В соборе есть знаменитая галерея шепота, единственная в Европе! Малейший шорох звучит под сводами — чудо акустики!

— Колокол собора звонит, когда умирает кто-нибудь из членов королевской семьи, — с улыбкой перебила англичанина Конкордия Николаевна.

— Эти русские — удивительный народ... Их отличает любознательность и уважение к чужой культуре. Их интересует и общество, и литература, и история... Вы знаете и Шекспира, и Теккерея, и Диккенса, о которых средний англичанин, уверяю вас, не слышал. Я побывал в Швейцарии в Шильонском замке...

— «На лоне вод стоит Шильон», — продекламировала Конкордия Николаевна из Байрона.

— Я польщен, мадам! — Англичанин приподнял шляпу в знак восхищения. — Когда я осматривал замок, то экскурсовод подвел меня к раме, где расписался Байрон. Экскурсовод был из Лондона и говорил с грустью, что кроме русских мало кто знает правду о Байроне, так же как и его поэмы. Я не поверил, а теперь убедился — русские не страдают национальной ограниченностью.

— Вы обещали показать памятник Байрону в Гамильтонских садах. — Конкордия Николаевна призналась: — Я не могу победить превеликую жадность, все хочется повидать: и прекрасные картины в память Какстона, и Тауэр-Собуэй, и памятник принцу Альберту на Гольборнской площади...

— А конная статуя Ричарда Львиное Сердце? — перебил Конкордию Николаевну англичанин и, заметив, что она улыбается, воскликнул: — Когда вы успели исходить все?

Конкордия Николаевна рассмеялась.

Они шли по Гайд-парку. Липы распустили клейкие листочки. На дорожках с крупными зернами песка краснели почечные чешуйки. На скамьях грелись старики с газетами в руках. Туман отступил, словно не выдержав схватки с солнцем. По парку ходили манифестанты с деревянными щитами, украшенными лозунгами. Англичане гордились тем, что каждый может протестовать таким образом.

— Лето Авраамово — место блаженных проповедников, — не без юмора заметил англичанин, раскланиваясь со знакомым манифестантом. — Здесь и социалисты выступают. Все мирно, пристойно... Без баррикад и революций... Королева Елизавета боялась большого скопления народа и запрещала строить новые дома в Лондоне...

— Почему?!

— Во избежание народных волнений.

— Любопытный у вас ход мысли... — засмеялась Конкордия Николаевна.

Отчаянно звонил колокол. Снова нахмурилось. Неожиданно повалил снег, погружая город во мрак. Стало сумрачно и уныло.

Конкордия Николаевна зябко повела плечами и подняла воротник жакета. Англичанин развернул зонтик и предложил даме руку.

Церковь Братства

— Товарищи! Центральный Комитет нашей партии поручил мне открыть нынешний съезд, первый *всероссийский* съезд. С удовольствием исполняя это, чрезвычайно лестное для меня поручение, я прежде всего поблагодарю вас за те проявления симпатии, с которыми вы меня встретили, — Плеханов откашлялся и холстой рукой поправил галстук, наклонил изящным движением голову и бархатным голосом продолжал: — Эти проявления особенно тронули меня потому, что, как мне показалось, они отчасти шли от тех лиц, с которыми мне пришлось в течение последнего года сломать не одно копые по тактическим вопросам. И они дают мне основание думать, что у нас все-таки живо сознание взаимной нашей связи, сознание того, что мы стоим под одним знаменем, под красным знаменем пролетариата. Что

между нами существуют большие разногласия — это неоспоримо. Но мы все-таки должны сделать попытку столкнуться, а для того, чтобы столкнуться, нам необходимо рассмотреть спорные вопросы спокойно, *sine ira et studio**, — Плеханов с легкой улыбкой посмотрел на правые скамьи церкви Братства, занятые большевиками. — И это облегчается тем обстоятельством, что в нашей партии почти совсем нет ревизионистов.

По скамьям и хорам, забитым делегатами и гостями, прокатился гул. В партии нет ревизионистов? Плеханов наклонил величественно голову и поднял руку, требуя тишины.

— Российский пролетариат стонет под двойным игом — деспотизма и капиталистической эксплуатации. Эта истина одинаково хорошо сознается, я думаю, каждым из нас. Но одной этой истины недостаточно для ясного понимания наших задач. Уже в 1889 году на Парижском международном социалистическом съезде я сказал, что наше освободительное движение восторжествует, как движение пролетариата, или совсем не восторжествует...

Конкордия Николаевна, сидевшая на правой половине церкви Братства, с недоумением посмотрела на своего соседа товарища Богдана, спокойного и медлительного. Он так же внимательно вслушивался в слова Плеханова и так же недоумевал: в партии нет ревизионистов, — по кто же тогда сами меньшевики?! Да и на съезде пока распоряжались меньшевики. Желая показать свою крайнюю революционность, они заняли левые скамьи в церкви Братства. Рядом с ними устроились бундовцы и примиренцы. Выделялась худая фигура Мартова. Глаза отдают лихорадочным блеском, лицо аскета. Он сильно волновался. Сложил руки на животе Дан. Вслушивался в

* без гнева и пристрастия (лат.).

слова оратора, согласно кивал. Наклонился к Либеру, что-то горячо говорил ему.

В церкви горит люстра, спущенная на темном шнуре. Свет расплзается по углам, желтоватый и плотный, как туман на улице. Сбоку нависла кафедра, с которой выступают проповедники.

Церковь реформистская. Без икон. Мрачная. С робким светом, который вползает сквозь длинные стрельчатые окна.

Страсти накалились. В кулуарах велись жестокие споры. После поражения революции девятьсот пятого года меньшевики заняли позицию во всем сомневающимся и ничему не верящих. Они продолжали кричать, что не надо было браться за оружие.

Конкордия Николаевна старалась держаться поближе к Владимиру Ильичу Ленину. Его собранность и деловитость так резко отличались от растерянности, которая охватила многих. Стрелы ораторского краспоречия меньшевиков были направлены именно в него. Вот и сейчас он сидел, наклонив голову, делал записи в маленькой книжице. Временами характерным жестом потирал лысеющую голову и посмеивался.

«Однако Плеханов скромностью не отличается,— не без раздражения подумала Конкордия Николаевна.— Эдакий генерал. «Я, мол, двадцать лет назад на Парижском социалистическом конгрессе сказал...» И поучал, поучал, словно все остались «марксятами». Вы еще все ходили под стол, а он, Георгий Плеханов, был социалистом! И к делегатам свысока, и это после всех их мытарств, переходов границы, стычек с охранкой, когда пробивались сюда на съезд. Меньшевиков на съезде много,— оглядывала она зал.— Конечно, их не так усердно вырывала охранка, да и на баррикадах их было не густо. Ведь и здесь поднимут вопрос о роспуске рабочих дружин... Готовы быть в рамках легальности...»

— Но сил одного пролетариата недостаточно для решительной победы в предстоящей нам буржуазной революции. Пролетариату необходимы союзники. Какие именно? Я не хочу здесь сейчас решать этот вопрос; его решит съезд,— Плеханов покосился на Владимира Ильича и, уловив на его лице настороженное выражение, подтвердил: — Но что союзники необходимы, это сознают все, и это уже большой шаг вперед в смысле соглашения между нами. Будем же рассуждать спокойно, чтобы наша партия стала после съезда более единой, чем до него...

И вновь Конкордия Николаевна потеряла ход мысли Плеханова, утомили его слова, бесстрастные, гладкие, как обкатанные речные камушки. И тут она увидела Горького. Он сидел на скамье правых вместе с рабочими делегатами. С ним Мария Федоровна Андреева. Вспомнилась Москва, заснеженный подъезд Художественного театра и тусклые фонари. Подняв воротники шинелей, у подъезда караулили студенты. Сквозь их строй и восторженные рукоплескания к санкам пробирался Максим Горький. Он не любил репортеров, отмахивался от поклонниц. Толпа осаждала автора «Буревестника»... Писатель возвратился из Америки, куда ездил для сбора денег в кассу большевиков. Поездка оказалась тяжелой, но он завершил работу над романом «Мать». Потом наступила усталость. Горький болел и жил на Капри. Свою оторванность от России переносил тяжело и называл себя «зубом, выбитым из челюсти».

...Горький наклонился вперед и вслушивался в слова Плеханова. Изредка он косился на сосредоточенного Владимира Ильича и улыбался. Вдыхал и восторженно поглядывал на лица рабочих.

— Я приветствую представителей национальных организаций, впервые присутствующих на нашем съезде с решающими голосами, и приглашаю вас, товарищи, при-

ступить к занятиям, — Плеханов откашлялся и, сгустив бархатные интонации в голосе, закончил: — Да здравствует российский, да здравствует международный пролетариат! Да здравствует социалистическая революция!

Под старинные своды церкви Братства взлетела овация. Делегаты встали. Лица сияли. Свершилось — Пятый съезд партии начал свою работу.

...Споры между меньшевиками и большевиками начались сразу. Спорили о порядке дня, спорили о составе президиума, спорили, спорили...

Конкордия Николаевна Самойлова, прибывшая на съезд из рабочего Луганска, не ожидала такого накала страстей. Да, меньшевики, окопавшиеся в эмиграции, преуспели в демагогии.

В президиум поднялся Дан. Он прочитал:

— «Нижеподписавшиеся делегаты, согласно мандату, данному нашими избирателями, выражаем глубокое сожаление, что часть съезда нашла возможным избрать в президиум товарища Ленина, бросившего в лицо части организации обвинение в политической продажности...»

В зале раздались крики, свист. Меньшевики пытались любой ценой вывести из президиума Ленина...

Шел третий день заседаний съезда, и второй день обсуждался порядок дня. «Если два дня нужно для обсуждения вопроса о том, поставить ли данный пункт в повестку дня, то сколько же времени должно занять само обсуждение этого пункта?» — говорили меньшевики.

— Даже если это пункт о грядущей революции? — под одобрительные крики рабочих спросила Конкордия Николаевна.

И опять дебаты, опять демагогия, опять слова, которыми меньшевики пытались отвлечь внимание делегатов от принципиальных вопросов.

Конкордия Николаевна чувствовала, как от негодования багровеют щеки. Путаники и болтуны! Все напоказ,

одно красноречие. Если бы не боялись теоретических споров, не избегали бы их. Да, они всегда боялись спорить с Лениным, вот и хотят все запутать.

Вниманием съезда завладел Ленин:

— Различные течения среди социал-демократов разделяют крупные тактические разногласия. Кто бы мог подумать, что при таких условиях нам станут предлагать снять с порядка дня съезда все общепринципиальные вопросы? — Владимир Ильич говорил громко, и слова его отчетливо доходили до Конкордии Николаевны. — И какими софистическими доводами защищали здесь — во имя якобы практицизма и деловитости — такое удаление принципиальных вопросов!..

Слушая выступление Владимира Ильича, Конкордия Николаевна сидела притихшая и жадно ловила его слова:

— Говорят: «во имя партийного мира... во имя практической работы обойдем общие вопросы». Это софизм. Подобных вопросов нельзя обойти. Не мир получается из обхода их, а лишь более слепая и потому более озлобленная, менее плодотворная партийная борьба... Плеханов говорил... что оппортунизм в российской социал-демократии слаб. — Пожалуй, если считать слабыми произведения самого Плеханова!.. Не снимать теоретические вопросы должны мы, а поднимать всю нашу партийную практику на высоту теоретического освещения задач рабочей партии.

Раздались громкие аплодисменты. Аплодировало правое крыло съезда. Конкордия Николаевна радовалась, как достойно высмеял Владимир Ильич Плеханова.

Плеханов выступил в тот же день:

— Наши противники утверждают, что если мы отказываемся от выработки здесь, на съезде, так называемых ими теоретических положений, — он скрестил руки на груди, — то это происходит потому, что мы боимся встретиться с ними в области теории.

На левых скамьях — оживление. Комедианты! Не смеялся один Мартов — да, разрыв подобен пропасти.

— ...История наших взаимных отношений должна была бы показать нашим противникам, что мы люди не робкие... Однажды Бисмарк, споря с Либкнехтом в немецком рейхстаге, сказал: «Мы, немцы, никого не боимся, кроме бога!» Либкнехт ему ответил: «А мы, социал-демократы, не боимся даже и бога!» — Плеханов выдержал паузу, пока затих одобрительный шепот на левых скамьях, и закончил:

— Мы, российские социал-демократы меньшевики, еще бесстрашнее: мы не боимся не только бога, но даже и товарищей большевиков, которые страшнее бога... — Плеханов улыбкой благодарил все тех же «левых». — Я приехал на съезд, несмотря на плохое состояние здоровья, не потому, что я избегаю встречи с товарищами большевиками, а потому, что я люблю встречаться лицом к лицу со своими противниками... Если бы мы хотели избежать обсуждения руководящих принципов... то нам выгоднее всего было бы отступить в бесплодные пустыни отвлеченных рассуждений... Ведь именно эти отвлеченности, эти абстрактные споры нас и поспорят.

И опять удивленный шум на скамьях правых. В глазах Ленина неудовольствие, словно он жалел уважаемого Георгия Валентиновича. Конкордия Николаевна полна изумления: Плеханов договорился и до «бесплодных пустынь отвлеченных рассуждений» и до «любви встречаться лицом к лицу со своими противниками».

Горький наклонился к Андреевой и что-то говорил ей. Конкордия Николаевна перехватила успокаивающий взгляд Андреевой. Скоро перерыв, и Андреева должна была позаботиться о питании рабочих делегатов, Горький на свои деньги покупал для участников съезда провизию.

В перерыве около Конкордии Николаевны остановился

Владимир Ильич. Закрыв книжку, в которой делал записи, и спрятал в карман.

— Да, обстановка... Потом подробнее поговорим о Лутанске, товарищ Наташа...

Конкордия Николаевна согласно кивнула. Ее всегда поражала удивительная особенность общения с Ильичем — кажется, так долго они не виделись, а разговаривали, будто расстались совсем недавно. Духовная связь не прерывалась, и, чем старше становилась «товарищ Наташа», тем проще было разговаривать с Владимиром Ильичем.

— Плеханов сравнивает большевиков со средневековыми схоластами, которые силы и время тратят на бесплодные споры о том, сколько ангелов может поместиться на конце булавочного острия... Забавно все получается у Георгия Валентиновича... А дел у россиян непечатый край... — Конкордия Николаевна говорила неторопливо и с грустью добавила: — Нынче он уподобил съезд английскому парламенту XVII века, который вырабатывал и принимал большинством голосов prayer book — молитвенник. Большевиков обвиняет в уходе в бланкизм. Действительно, кого бог задумал наказать, того прежде всего лишает разума...

— Сколько можно обвинять большевиков в так называемой погоне за практицизмом? — возмущался Ленин. — На Стокгольмском съезде меньшевики провели свои решения. А потом что получилось? Сняли свою же резолюцию об оценке момента, сняли резолюцию об отношении к буржуазным партиям. У Центрального Комитета не осталось принципиальных основ для решения возникавших перед ним вопросов.

...Битва с меньшевиками разгоралась. Конкордия Николаевна, как пловец, отчаянно бросилась в штормовое море.

Стенограф товарищ Богдан

Товарищ Богдан, известный Конкордии Николаевне по московскому подполью, смущенно мямляшу. По российской привычке он носил косоворотку и черную пару: пиджак, пахнувший нафталином, ибо вынимали его из сундука по большим праздникам, и брюки, заправленные в сапоги. Для Лондона товарищ Богдан приобрел шляпу, которую носил на затылке, как кепку.

— Товарищ Наташа втравила меня в историю... — густым басом выговаривал Богдан. — Виданное ли дело — состязаться с думскими стенографами. Они по сто двадцать слов в минуту шпарят! А у меня руки огрубели от работы, да и практики настоящей нет. Посмотри, мне и карандаш держать непривычно.

— Что делать, нужда заставит пироги есть! — философски заметила Конкордия Николаевна, с трудом удерживая улыбку. Богдан, растерянный и обескураженный, напоминал таежного медведя. — К сожалению, на съезде нет стенографа... О думских и говорить нечего... А ты изучал стенографию...

— Да как я ее, проклятую, изучал... — застонал Богдан.

— Как изучал — другое дело, но главное — изучал! Секретари, те, кто ведут протоколы, не успевают записывать речи. Владимир Ильич и попросил отыскать стенографа...

— Делегатам нужно в письменном виде сдавать свои речи в президиум, — неуверенно начал Богдан и умолк под осуждающим взглядом Конкордии Николаевны.

— В письменном виде? Да, такие речи сдавали меньшевики. Они на это времени не жалели, написали то, чего и не говорили. Как речь Дана отличалась от представленной в секретариат? Надувательство, а не стенограмма.

— Владимир Ильич пазвал ее фальсификацией и примером того, как не нужно воспроизводить речи... — уныло дополнил Богдан.

— Вот и получается, что подлинная работа съезда не будет отражена в документах — речи рабочих делегатов никто не записывает, а меньшевики занимаются подлогом! Пост, товарищ Богдан, придется взяться за работу...

Они брели берегом Темзы. Над рекой висел туман, и, как в день приезда, горели фонари. Сквозь молочное море проступали очертания серых зданий.

Делегаты вставали рано и пешком добирались до церкви Братства, проделывая расстояния, которые привели бы в ужас англичанина.

Был ранний час. Лондон казался пустынным.

Богдан приходил к Владимиру Ильичу к восьми утра и приносил материалы. Все-таки ему пришлось взяться за стенографирование. И теперь после окончания работы съезда началась египетская казнь — Богдан занимался расшифровкой. Колдовал над разлинованными тетрадями, разгадывал значки, мучился и лишился сна. Сказывалось отсутствие практики...

— Удивительно, чему только не научит русская тюрьма! — в раздумье заметила Конкордия Николаевна, видя, что Богдан боится встречи с Владимиром Ильичем. — В ярославской тюрьме изучил стенографию...

— Что тут удивительного? Да и как не изучить, коли сидишь без книг... — Богдан пожал плечами. — Книг лишили за отказ давать показания, переписки лишили за перестукивание, прогулок — за пререкания с надзирателями. Следователь грозился всякими карами. Чтобы заткнуть глотку, принесли в камеру самоучитель по стенографии. Я заболел от огорчения — крючки, закорючки, волнистые линии, не волнистые линии...

Конкордия Николаевна смеялась, свернув зонтик. Туман был такой густой, что, казалось, можно резать его

пожом. Зонтик от тумана не спасал. Она чувствовала себя как во влажной обертке: туман заползал под жакет и охлаждал.

— И я решил разбиться в лепешку, но изучить стенографию!

— Наконец-то слышу речь не мальчика, но мужа! — воскликнула Конкордия Николаевна.

На набережной Темзы из тумана выскочил спаниель. Длинными ушами пес подметал асфальт, прыгал, шюхал следы, заводил знакомства. Свобода пьянила. К Конкордии Николаевне пес кинулся как к старой знакомой. Поставил грязные лапы на колени и норовил лизнуть. Из тумана выплыл хозяин. Приподнял шляпу и флегматично поклонился. Свистнул. Свист хозяина означал — прогулке конец. Пес принялся описывать круги, кося желтым глазом и вовлекая в игру и хозяина, и женщину в жакете...

Через равные интервалы вспыхивал сноп яркого света. Лондонский маяк предупреждал пароходы о тумане.

Конкордия Николаевна отвернулась, спасаясь от слепящих лучей. Богдан сощурился, но глаз не отвел.

— Так как же все-таки вы изучили стенографию?

— Я ввел строгий режим. Начал запоминать «Тимоновы письма». — Богдан уловил на лице Конкордии Николаевны непонимание. — Так в древности называли стенографию. Это древнее искусство еще со времен фараонов. Стенографию знали и в Риме...

Конкордия Николаевна радовалась увлеченности Богдана. Рабочий человек проходил школу самообразования и все делал досконально — и историю узнал, и стенографию изучил.

— Значит, «Тимоновы письма». Я слышала, как вы историю стенографии рассказывали Владимиру Ильичу...

В церкви Братства на фракционное совещание собрались делегаты-большевики. Подсчитали голоса, чтобы знать, чем при голосовании может располагать фракция. Владимир Ильич прикинул голоса и не разделил радужного пастрования некоторых делегатов. Меньшевики вели яростную борьбу, и опасность нельзя было преуменьшать. И опять Ленин сетовал на плохое ведение протоколов. Тут-то и предложила Конкордия Николаевна попробовать силы товарища Богдана. Правда, в предварительном разговоре он отказался, ссылаясь на отсутствие практики. Владимир Ильич заключил: «Практика — дело наживное!» Очевидно, снокойные и петоропливые манеры Богдана ему понравились. И то, что не смогла сделать Конкордия Николаевна, сделал Владимир Ильич. Он внимательно выслушал Богдана и не улыбнулся на его сетования, что он-де не достиг сноровки думского стенографа. Ильич терпеливо разъяснил, почему пужпы большевикам стенографические записи речей. И тогда Богдан решился: бросил об пол шляпу, как кепку, и воскликнул: «Не я буду — в лепешку расшибусь, а сделаю!»

К шляпе товарищ Богдан относился на российский манер: мял в руках, засовывал ее в карман, чем приводил в великое изумление английских полисменов, стоявших у церкви Братства для порядка. Горький, присутствовавший при этой сцене, не выдержал и восхитился: «Какой же русский славный народец!»

— В этих «Тимоновых письменах» черт ногу сломит, — сокрушался Богдан. — Сколько волнений да и конфуза. Владимир Ильич велел мне расшифровать записи третьего дня съезда. Вот я и расшифровал, писал с большими интервалами, чтобы легче исправлять при чтении. Владимир Ильич положил свои листки и начал сверять. Конечно, расшифровал я неважнецки, да и гордость меня заела — не хотел оставлять белые пятна. Вот и получилась неприятность. Начали сверять выступление

Владимира Ильича, и тут такая ффраза: «Разве это не бессильная утка от признания в сторону без признания...»

— Как? Как? «Разве это не бессильная утка от признания в сторону без признания...» — Конкордия Николаевна наморщила лоб. — Смысла-то нет... Безусловно, нет смысла.

— Я в теории человек не сильный, но в свои записи уверовал. Проклятый самоучитель стенографии я приволок в Лондон. Всю ночь зубрил, упражнялся и вспоминал значки. Если бы не было слова «утка», то нижний крючок не стоял бы на той полоске.

— А Владимир Ильич что?

— Он натолкнулся на это место и начал возражать: мол, вы здесь, товарищ Богдан, напутали. «Утка... Утка... Нет, у меня этого в речи не было». И опять зашуршал листками, полистал книжечку и, как вы, Наташа, заговорил об отсутствии здравого смысла. А в меня будто бес вселился. Разволновался, взъерошился и стою на своем. Как-то неудобно показать, что я опростоволосился. Эдакий неумеха! — Богдан достал кисет и свернул козью ножку.

Конкордия Николаевна молча слушала.

— И все же, что оказалось?

— Конфуз... Один конфуз... «Никаких уток, товарищ Богдан, нет, это подвели вас «Тимоновы письма». Правильно будет так: «Разве это не бессильная увертка от принципиальности в сторону беспринципности...»» Если бы вы слышали, как он хохотал. Весело, до слез. — Богдан яростно затанулся.

Конкордия Николаевна, представив, как смеялся Владимир Ильич, тоже рассмеялась. Сколько раз она бывала свидетельницей этого безудержного смеха, когда Ильич не мог произнести ни слова, потом, с трудом овладевая собой, вытирал слезы.

— Ой, товарищ Богдан! Это действительно невозможно: «утка от признания»?! Ха-ха...— Конкордия Николаевна тоже хохотала до слез.

— Я же говорил, что если крючок вверх, то получается «утка», а если вниз — то «увертка». Черт их запомнит, эти крючки. Впрочем, революционер все должен знать...

— Ну, не все. Зря себя казните...

— И надо же, Владимир Ильич еще меня и утешал. Удивительный он человек. Не беда, мол, ошибка при первой расшифровке, вот если бы напечатали, тут было бы другое дело... Стенограмму будут пытаться опубликовать в России, а если не получится, то за границей. Слово съезда должна узнать партия!

— К счастью для партии, большевики выиграли битву. Поправочки, замечочки, особые мнения, возражения — да разве возможно нормальному человеку запомнить весь демагогический бред! Один Ленин с его находчивостью вынес меньшевистское неистовство.— Конкордия Николаевна смотрела на затихшую Темзу.— Какие огромные силы понадобились Владимиру Ильичу, чтобы выдержать последнее заседание. Выдержать и не сорваться и не поддаться на провокацию.

И припомнилось, как в новом помещении, ибо срок аренды церкви Братства истек, на закрытие собрались представители фракций. И тут страсти разбушевались вовсю. Меншевики сознательно — в этом не оставалось сомнения — срывали принятие решений. При выборах Центрального Комитета неугомонный Либер предложил жеребьевку. Улыбнется счастье — хорошо, не улыбнется — так и жалеть нечего. Нет, без Ленина съезд бы не закончился успехом.

Таким и запомнился Владимир Ильич, смущенный, счастливый, когда, окруженный делегатами, говорил: «Это самый трудный день в моей жизни!»

После Лондонского съезда Конкордии Николаевне не удалось возвратиться в Луганск. Там ее ждал арест. Аркадий Александрович сетовал на то, что так недолго продолжалась их семейная жизнь под одной крышей. Но выбирать не приходилось. Нового ареста жепы он боялся и обрадовался, когда узнал, что она нелегально обосновалась в Петербурге. Он переехал в Харьков. И снова началась жизнь в разных городах, на разных квартирах. Свидания были редкими.

Новый, 1909 год Конкордия Николаевна приехала встречать в Москву.

Прибыла утренним поездом и, смешавшись с толпой, выбралась на привокзальную площадь. Здесь царила обычная суматоха, которая паступает по прибытии петербургского поезда. Кричали артельщики, обвешанные баулами и чемоданами. С визгом проносились тележки, похожие на складные домики. Толкались мастеровые с сундучками.

На площади, заваленной сугробами, зазывали седоков расторопные извозчики.

Она добралась до Манежа, извозчик лавировал между снежными завалами и ругательски ругал ленивых дворников. Москва веселила ее суматошностью и радушием. С Манежа не удалось проехать на Никитскую. Университет оцепила полиция по случаю студенческих беспорядков.

Конкордия Николаевна расплатилась с извозчиком и двинулась к Кисловским переулкам, чистеньким и горбатым, в надежде добраться до явки. Заглянула в бакалейную лавку, подошла к окну и ахнула: шпик. Хороша! Значит, привезла с собой из Петербурга.

Что ж, матушка Москва большая. Отправилась на Девичье поле. Зашла в монастырь, потом побывала на

кладбище. Шпик уныло бродил среди могил, надвинув на глаза шапку. Даже не прятался! Значит, наблюдение ведет открыто. А это уж совсем плохо. Стоило из Петербурга приезжать, чтобы провалить московские явки!

Дальнейшее, как в иллюзии, — с кладбища в Хамовники к зубному врачу, от него по Садовому кольцу, потом переулками к Трубной площади, проходными дворами к Сретенским воротам. И всюду за ней черная барашковая шапка.

На Сретенском бульваре она решила отдохнуть. Расчистила скамью муфтой, присела. Через две лавочки пристроился шпик, обрадованный передышкой. Обменялся с ней быстрым взглядом и замер, уткнув нос в газету. Вот и напарник пожаловал. Вряд ли из таких клещей вырваться.

Падал снег, пушистый и липкий, зеленые решетки выросли в размерах.

Что делать? Неужто не оторваться?! Про себя она проклинала шпика. Столько дел, а он ей мотион устроил. И тут ее осенило — рядом же почтамт! Можно присесть, написать письмо, там всегда много народу... А вдруг... Надежда, как говорится, последней оставляет человека. Ноги гудели от усталости. Она продрогла, и очень хотелось есть. Взглянула на часы — седьмой час. Значит, целых пять часов кружит по Москве. Что может ее спасти? Чудо, только чудо...

В снежном мареве плыл колокольный звон, как сигнал странникам, заплутавшимся в метели.

Конкордия Николаевна, вздохнув, поднялась со скамейки, не торопясь перешла Мясницкую. Поскользнулась и едва не угодила под извозчика.

У почтамта прохаживался шпик в барашковой шапке. На углу послушно торчал напарник.

Она не спешила. Взяла веник и обмела ботинки. От-

рыхнула и муфту. Беличий мех заиграл голубизной. Вытерла платком лицо и прошла в зал.

В большом зале почтамта было тепло. За сеткой сонные телеграфисты стучали ключами. Медленно ползла белая лента. У аппарата, напоминавшего стрекодящего кузнечика, возвышался молодой человек в потертом мундирчике. Увидев даму, он поправил пенсне и застучал с еще большим усердием.

Конкордия Николаевна вынула бланк из аккуратно сложенной пачки и направилась к высокой конторке. Послать телеграмму? Кому? Матушке в Иркутск? Сестре Калерии? Куда? Она не знает, где сейчас сестра. И денег телеграмма стоит. Значит, лучше письмо, подробное и длинное. От тепла ее разморило. Она зевнула, прикрыв рот ладонью. Так хотелось спать, что боялась упасть. Хорошее письмо кто-то получит... И шпик прикрылся газетой, наверхьяка с дремотой борется. Хоть бы заснул, что ли...

Но у него служба, ему спать не положено.

— Дорогуша, не откажите в любезности...— Голос с легкой хрипотцой дрогнул.— Бланк для телеграммы...

Она отложила письмо и подняла голову. Какой знакомый голос, бархатный, властный. Да это Садовский! Кумир молодежи и курсисток. Садовский из Малого театра. Красавец-то какой! Высокий, плечи — косая сажень. Царственный поворот головы. Точеное лицо, взгляд голубых глаз полон притягательности. Вьющиеся каштановые волосы выбивались из-под бобровой шапки, сдвинутой на затылок. Актер мял тонкую лайковую перчатку. Это в новогодние-то морозы! Ворот шубы распахнут, серебристый бобер оттенял лицо, на котором читалась затаенная удаля.

Казалось, Садовский был в веселом подпитии. Расстегнул шубу и нервным движением стряхнул снег. Достал белоснежный платок, провел по густым бровям.

Конкордия Николаевна не могла отвести глаз. Она ждала чуда, и вот оно явилось в образе Садовского. Судьба редко баловала ее такими встречами. В прошлый проезд она смотрела «Макбета». Играл Садовский. И превосходно.

На бой, в пабат звоните! Вихрь, бушуй!
Несися, гибель, к нам! В оружьи с ног
До головы умрем с мечом в руках!

Она явственно услышала голос Садовского, который читал монолог.

Впрочем, и Садовскому передалось ее состояние, он внимательно посмотрел на молодую женщину. Голос прозвучал напевнее и мягче:

— Все случилось в одночасье... — Садовский протянул бланк и бросил золотой в железную корзину. — Не стало человека. К чему наша суетность?

Садовский скорбно качнул головой, но в глазах не было печали. На лице телеграфиста — широкая улыбка. Счастлив. От усердия выступил пот. Сам Садовский! И не без угодливости произнес:

— Телеграмму доставим лучшим образом... Значит, в одночасье... Беда-то какая...

«Поди, хвастаться будет перед барышнями: «Садовского телеграмму отправлял!»» — улыбнулась про себя Конкордия Николаевна, наблюдая эту сцену.

В других окошках тоже прекратили работу, любопытство — оно всюду одинаковое.

Садовский широко развернулся и налетел на шпика. Тот приподнялся на скамье.

— Пардон, милейший...

И тут произошло невероятное. Конкордия Николаевна скомкала ненавистное письмо:

— Пров Михайлович... Пров Михайлович... Мне нужно переговорить... Непременно... Я заждаюсь вас...

— Да я и сам собирался это сделать.— Садовский протянул руку и внимательно оглядел незнакомку.

Молодая женщина ему явно нравилась. Лицо выразительное. Взгляд открытый, смелый. Глаза карие, в густых ресницах, но в глазах тревога. Театральных психопаток он повидал на своем веку немало, устал от их пазойливости. А такое поклонение было лестно!

Она тоже протянула руку и скосила глаза на шпику. Кажется, пришло спасенье!

— Значит, заждались! — Садовский перехватил ее взгляд, голос звучал преувеличенно громко.— Дел в театре чертовски много, а тут обед у князя Набокова... Чествовали...

И красивые губы дрогнули в улыбке. Чествовали, мол, в очередной раз.

— Я носилась по всей Москве в падежде сыскать вас, Пров Михайлович! — Конкордия Николаевна входила в роль. В глазах благодарность.— Вы неуловимы, да, да, неуловимы...

— Хотите послушать? — спросил Садовский и, не дожидаясь ответа, принялся декламировать:

Жандарм с усищами в аршин,
А рядом с ним какой-то бледный,
Лет в девятнадцать господин...
Куда же тройка поспешает?
Куда Макар телят гоняет...

Конкордия Николаевна в молчаливом восхищении развела руками. Молодец! Она приободрилась, понимая, что этот сильный и располагающий к себе человек не даст в обиду.

— Любезный, не сочти за труд, останови лихача...— Садовский через плечо протягивал шпику трешку.— Дама меня заждалась...

В его голосе барственность и пренебрежение. Взгляд несколько презрительный. Голос сухой и капризный, как у человека, привыкшего повелевать.

Шника застали врасплох. Он затоптался на месте, слегка наклонился, словно желая получше рассмотреть Садовского. Дамочка с паружным наблюдением... Актер, далекий от политики... Что общего? Амуры?

На красивом лице Садовского от непонятливости шника — раздражение. И вдруг он обернулся к ней. Лицо полыхнуло сдерживаемым смехом, сумасшедшим огнем в глазах от происходившей комедии. Актер, великолепный актер!

Шник держал трешку. Дивился. Блажит барин. Деньги, знамо, лопатой гребет, за такую малость — трешку! Дамочка от счастья сомлела — на лице одни глаза, и те в улыбке. Шник со злостью нахлобучил шапку и, пятясь задом, прикрыл толстенную дверь.

Лихач заботливо закрепил медвежью полость. Он узнал Садовского и пожелал доброго вечера. Да и кто в Москве не знал Садовского!

— Особливо, братец, не гони! — Садовский надвинул бобровую шапку. — Прокати с ветерком по Садовому... Гм... Небось вороных трое суток не кормил, шельмец ты эдакий!

Лихач засмеялся от удовольствия. Барин завсегда веселый и езду любил бесшабашную, чтобы залетные, словно птицы, летели над сугробами.

— Снег-то какой... Ненастоящий. Театральный. Вот этим снежком-то к утру и укроется матушка-земля лебяжьим пухом... Но поговорим о главном. Со смертью актера умирает и его искусство. Иллюзион еще не может запечатлеть игру актера. Актер — производство штучное, и его никто не может повторить. Будет другой актер, лучше или хуже, но он никогда не повторит того, ушедшего.

— А школа? Традиции? — поинтересовалась Конкордия Николаевна, удивленная его категоричностью.

— Традиции... Даже двойник в искусстве остается другим человеком, со своим миром, привычками, индивидуальностью... Меня считают лидером бытового направления в Малом театре...

— А Ермолова?

— Ермолова являет героико-романтическое... Тайная моя мечта — сыграть короля Лира. Скажете, по моему амплуа... Что ж... Возможно, слабость актера известна — он всегда мечтает играть роли, которые ему не удаются. И более того, уверен, что сыграет их прекрасно, а публика... Ах эта публика! — Садовский комично развел руками. — Разве она что-либо смыслит?!

Конкордия Николаевна вслушивалась в голос Садовского, наполненный то юмором, то грустью, и не понимала, то ли он шутит, то ли доверяет свои раздумья незнакомому человеку, как это часто бывает в жизни.

— К актеру прилипает определенное амплуа на веки вечные. И никто не может доказать, что он шире, что у него есть другие возможности. Для этого нужны новые роли, — Садовский высказывал дорогие ему мысли. — Далматов — великолепный актер на роли светских фатов, а стремится играть трагедию. Играет трагедии и смешон до невероятия. Публика его освистывает, а он все приписывает ее глупости.

Лицо Садовского тронула улыбка. Озорство засветилось в прекрасных глазах, собрались морщинки у губ, задрожали щеки.

— Куда вас отвезти? — Садовский внимательно посмотрел на нее и спрятал улыбку. — Кажется, я оказал услугу?

— Да, и немалую. Не знаю, как вас и благодарить, Пров Михайлович! — Душа Конкордии Николаевны была переполнена благодарностью к актеру. Ни слова лишнего,

как с доброй знакомой разговаривает, и это тот, кому поклоняется Москва!

— «Ты думаешь, я могу быть героиней, а я не могу!» — Садовский повторил интонацию Ермоловой из спектакля «Таланты и поклонники» и, заметив ее улыбку, закончил: — Да, не могу... И все же коли пужно помочь, то с удовольствием.

— Хорошо, если обстоятельства прижмут... — Конкордия Николаевна мучительно соображала, где бы ей перепочевать. К Зеликсон? Опасно... Сказала неуверенно: — Пожалуй, сойду на Арбате.

Садовский кивнул и прокричал:

— Сверни на Арбат, любезный!

Лихач из татар обнажил прокуренные зубы. Привстал и заухал, словно филин. Сани наклонились, снег слепил глаза.

— Я много времени у вас отняла, Пров Михайлович? — Конкордия Николаевна продрогла, на нее наваливалась усталость от пережитого волнения.

— Пустое... Давно с таким удовольствием не разговаривал об искусстве. Вы славная собеседница. Знаете, из молчальниц, но тех, которые заставляют говорить собеседника. Этим мало кто владеет... Нижайше вас благодарю. — Садовский вырвал из записной книжки листок. — Записка в дирекцию. Возможно, заглянете на наше лицедейство.

*„Уймитесь, волнения
страсти...“*

В Петербурге по настоянию Аркадия Александровича она поселилась в большой квартире с залом, с роялем и семейными портретами.

Утром выходила в столовую и пила кофе с хозяйкой. Хозяйка оказалась добрейшей женщиной, и те немногие

часы, которые Конкордия Николаевна проводила в ее доме, были отдыхом. Вели неторопливые беседы, читали газеты.

Газеты лежали на низеньком столике, и Конкордия Николаевна начинала свой день с них.

Так-с, значит, «Новое время» заинтересовалось арестами в Петербурге. Прекрасно... Прекрасно...

«10 февраля 1909 года. За последние дни в городе были произведены многочисленные обыски и аресты. В числе арестованных находятся несколько рабочих, задержанных по подозрению в принадлежности к революционным и экспроприаторским организациям. Захвачены тайная типография и фабрика поддельных паспортов. Типография находилась в доме 20 по Московскому шоссе, за Московской заставой. Месяца два назад квартиру в этом доме занял некто Мешковский, назвавшийся служащим в одной из контор. Она состояла из двух комнат и кухни. М. переехал туда со своей знакомой. С собой они привезли много разных корзин, чемоданов и свертков. Жизнь вели они замкнутую. Несколько дней назад один из дворников, проходя ночью по лестнице, услышал в квартире Мешковского стук, как будто работала машина. Окна квартиры были завешены темной материей, но сквозь них пробивался свет. Дворник заявил об этом полиции. Тут удалось установить, что Мешковский проживает по подложному паспорту и что он принадлежит к видным деятелям соц.-дем. партии. В ночь на 9 февраля в его квартире был произведен обыск. На звонок, поданный одетым в панцирь городовым, через несколько минут последовал вопрос: «Кто там?» Городовой ответил: «Срочная телеграмма». Тогда дверь открылась, и полиция немедленно зашла в квартиру. Мешковский и проживавшая с ним женщина были дома. Их отправили в Охранное отделение. Дать о себе какие-либо сведения они отказались. В их квартире были найдены в разобран-

ном виде типографский станок ручной работы, американской системы, 10 пудов типографского шрифта, набор в графиках воззвания «Городской думе от городских рабочих», около 200 оттисков стпечатанных воззваний партии соц.-дем. и проч.

Фабрикацией паспортов занимался в д. 58 по 17-й линии Васильевского острова некто Туманов. Своеобразная фабрика эта была открыта при следующих обстоятельствах. Несколько дней назад на Выборгской стороне был арестован на улице молодой человек, продававший паспорта. При расследовании оказалось, что паспорта фальшивые. После долгих запырательств задержанный сознался, что продавал паспорта по поручению Туманова, и указал его адрес. При обыске в квартире Туманова было найдено 75 печатей различных волостных правлений и мещанских управ, около 150 чистых паспортных бланков и 65 готовых фальшивых паспортов, частью срочных, частью бессрочных, на имя разных мещан и крестьян, 3 пуда типографского шрифта, завернутого в мелкие пакеты, и значительное количество нелегальной литературы. Как выяснилось, Т. оперировал уже давно. Он принадлежит к деятельным членам соц.-дем. партии. Открыть свою личность он отказался».

Конкордия Николаевна уныло отложила газету. Задумалась и не слышала, как вошла хозяйка, маленькая и болезненная жепщина. После смерти мужа она места себе не находила.

Да, аресты прокатились по Петербургу, подобно урагану сметали кружки и явки. Но те, кто, словно кряжистые дубы, выстаивал, врасдая корнями в землю, — те выдерживали любой ураган. Охранка терялась, проводила так называемые профилактические аресты с целью «ослабить деятельность местной организации РСДРП, которая в связи с прочими революционными организациями подготавливала вооруженное восстание».

— Екатерина Васильевна, кофе простынет...— Вдова вывела молодую женщину из задумчивости. Она часто не понимала ее настроения, ей ли не жить? Красивая, талантливая, поступит в консерваторию, станет знаменитостью.

Конкордия Николаевна скомкала газету. Провалилась типография... Как трудно ее восстановить! Шрифта не сыскать. Конечно, полиция преувеличивала свои заслуги — шрифта десяти пудов там не было. Она сама послала его по горсточке, зашивая в холщовые мешочки. Ох, не простое дело собрать шрифт! Полиция разослала тайный циркуляр по типографиям и требовала усилить контроль за сохранностью шрифта. Мастера из наборного цеха не вылезали, при малейшем подозрении — арест, сторожа из полицейских... А помещение для типографии? Попробуй отыщи в столице. Целая сеть дворников да тайных осведомителей у полиции.

Квартира вдовы отвечала требованиям конспирации. Вдова сдавала комнату, спасаясь от одиночества. Недавняя смерть мужа — еще свежая, незажившая рана. Женщина плакала, молилась, простаивая ночи перед киотом.

В бытность свою в Париже Конкордия Николаевна не раз проходила мимо магазина на улице Лафайет. Витрина этого магазина всегда веселила: блестящие обертки, в которых продавалась питательная смесь для собак, этикетки с черными зеленоглазыми кошками, кости с кусочками мяса, белки, ошалевшие от бега в колесе, с лихо развевающимися хвостами. Особенно долго простаивала она около аквариума с таинственным гротом, зелеными ракушками и золотыми рыбками. И вдруг в этом смешном царстве услышала однажды слабое повизгивание. В зеркальной витрине плакал щенок. Упирался лапками в стеклянную витрину и скулил, а языком лизал холодное стекло. В его больших глазах застыли слезы. Братья его затравленными глазами смотрели из стеклянного ло-

гова. Стояла миска с молоком, лежала горстка костей. Щенки, не прикасаясь к еде, испуганно смотрели на мир. На стеклянной клетке висела родословная, украшенная гербами и золотыми собачьими мордами...

Тоскующие глаза вдовы ее пугали.

— Кофе и сливки...— Вдова подала в серебряном молочнике сливки.— Оставьте свои заботушки...

— Какие там заботушки. Кстати, у меня крендельки...— Конкордия Николаевна поставила на стол плетенку.— Вчера возвратилась поздно. Свет в спальне был погашен. Я порадовалась, думала, спите.

— Спасибо... Крендельками меня Митенька баловал...— Вдова отвернувшись, пытаясь скрыть слезы.

Конкордия Николаевна вновь уловила затравленный взгляд и, чуткая к чужому страданию, нахмурилась:

— Анна Павловна, нужно собраться и найти дело. Пенсия не такая уж большая, и пришло время подумать о жизни. Бестужевские курсы, где женщина может получить образование...

— Бестужевские курсы? Стрижепая курсистка? Да меня родня засмеет...

— А вы не стригите косы... Получите диплом и будете акушеркой. Сколько женщин в деревнях умирает от родов! Я была в Аккерманском уезде, когда там началась эпидемия холеры. Голые детишки от мороза спасались на печи, как котята. А похороны... На шесту белый стяг, вестник несчастья... Горе, невежество. Нет, интеллигентный человек обязан приносить пользу людям... Ваше бездействие оправдать невозможно...

— Меня раздавило горе. Каждую ночь молюсь о смерти. Буду там вместе с Митенькой...

— Это в тридцать-то лет! Стыдитесь, Анна Павловна! Сколько добра можно принести людям! Сердце у вас благородное... Меня вот приютили...

— Екатерина Васильевна, не продолжайте... И не

обессудьте, коли выговор сделаю. Рояль пылью покрывается, вы где-то пропадаете. К занятиям вкус потеряли, так и на экзаменах в консерваторию провалитесь. Время бежит быстро, уже февраль, а там март, апрель — и экзамены... Нет, дружок, так не годится!

Конкордия Николаевна молча выслушала упреки. Да знала бы вдова, какие неприятности ее преследуют! Типография, о которой писала газета, действительно провалилась. И дело не в бдительном дворнике, нет, охранка проследила. Она сама едва не попала в засаду. Спасибо, с окна успели снять цветущую герань.

С недавних пор ею овладела тревога. Откуда эти аресты? Такие частые и безошибочные. Значит, в комитете провокатор. Но кто? Подумать на товарища страшно. Делишь с человеком опасность и трудности — и вдруг... он оказывается предателем. Конечно, подполье ее закалило, но каждый раз при таком известии так тяжело, что и слов нет. Аресты идут по точным адресам, значит, кто-то поставляет их в охранку. Из «Крестов» — там содержали арестованных — никаких тревожных сигналов. И все же опыт говорил о провокаторе в комитете. Кто? Бойко? Вряд ли... Рабочий человек, добродушный, сильный. Он как-то попал в засаду, отстреливался. Разве можно возводить такую напраслину? Мешковский? Нет... Конечно нет! Однажды на явочной квартире она передавала ему прокламации — у него руки тряслись от счастья, когда он их распахивал по потайным карманам. И на такого человека подумать? Страшно становится самой. Люси? Крошечная женщина с фарфоровым лицом... Люси. С мужем ее, Серовым, Конкордия Николаевна была на Лондонском съезде. У Люси дети...

Она прижалась лбом к стеклу. Падал снег. Солнце заливало розовым светом облака, вспыхивало на куполах соборов.

У дома остановилась пролетка с крытым верхом. Про-

летку сопровождали городовые, в башлыках, в заспешенных шинелях. Городовой осадил коня, подозвал дворника и поклонился к нему. Дворник сдернул шапку. Он показывал куда-то вверх рукой. Городовой спешился, подошел к пролетке и отстегнул полость. Из пролетки выкатился полковник на коротких ножках, что-то прокричал дворнику. Все вместе направились к подъезду.

Конкордия Николаевна медленно подошла к роялю, подняла крышку, перед глазами зарыбились бело-черные клавиши.

— Екатерина Васильевна, милая, да вы, никак, за рояль...— Вдова поспешно доставала папку с нотами.

Конкордия Николаевна ударила по клавишам. Руки ее слушались плохо.

Вдова замерла, не дышала, губы ее поползли в довольной улыбке.

Конкордия Николаевна взяла первые аккорды. Спасибо матушке, которая в Иркутске не забывала усадить детей за рояль.

— Я буду ноты переворачивать...— Вдова впилась в ноты.— «Белеет парус одинокой» — это любимое Митеньки.

Конкордия Николаевна сочувственно на нее посмотрела и сочным, сильным голосом запела:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом...

Вдова зачарованно подпевала тоненьким голоском. Романс бередил душу, напоминал о былых счастливых днях.

— Барыня... Барыня... Господин полковник прибыл-с...— Горничная испуганно теребила фартук. Она боялась помешать занятиям, но гости были такие необычные.— Барыня, Анна Павловна!..

Анна Павловна округлила глаза. Конкордия Николаевна не прервала пения, только побледнела.

Она слышала и звонок в дверь, злой и требовательный, и шепот горничной, испуганный и приглушенный, и звон шпор, и топот сапог.

— Покорнейше прошу извинить, Анна Павловна! — Жандармский полковник отстранил горничную и шагнул в залу.

Конкордия Николаевна не отрывала рук от рояля, не скрывая своего неудовольствия.

— Батюшка, Гаврила Тимофеевич! — всплеснула руками вдова. — Не ждала... Не ждала...

— Голубушка, Анна Павловна! — удивился в свою очередь полковник и, стянув папаху, приложился к ручке.

Полковник оглянулся на ротмистра, вошедшего следом. Долговязый и сутулый ротмистр растерялся. Дамы музицируют... В кармане хрустел ордер на арест и обыск. Он отошел к окну и раскрыл папку, проклиная себя за невнимательность — следовало бы проверить номер квартиры, прежде чем тащить сюда индюка полковника. Возможно, и этажом ошиблись. В управлении полковник даст взбучку. В печати и так много крика, и упаси бог, коли и этот случай станет достоянием борзописцев.

— После похорон забыли про несчастную вдову... — Хозяйка приложила платочек к глазам и всхлипнула.

Полковник виновато покашливал — действительно, плохо; да паведаться все времени не имел. Затворничество не пошло на пользу Анне Павловне — похудела, подурнела, и содержание небогатое. Когда-то он служил с ее мужем в одном корпусе, потом пути их разошлись. Впрочем, служба в жандармском управлении его устраивала, но он любил вспоминать кавалерийский корпус, лихую службу, ночные попойки, ибо все это было за той чертой, которая зовется молодостью.

— Квартира и номер дома эти,— тихо докладывал ротмистр. Он еще раз порылся в бумагах: — Правда, имя и отчество не совпадают. По домово́й книге значится Екатерина Васильевна, а в ордере на арест — Василиса Васильевна, по фамилия верная,— ротмистр замолчал, ожидая, что скажет полковник.

Тот оттопырил нижнюю губу. Мысль, что Анечка, которую он считал существом не от мира сего, стала вдруг террористкой, рассмешила его. «Особо опасная преступница, тайно скрывающаяся в Петербурге после побега из вологодской ссылки». Да-с... И прийти на квартиру к жене умершего друга. «Камедь, как говорил его денщик. Форменная камедь...»

— Марфуша, кофе полковнику...— Анна Павловна подобралась, как и подобало хозяйке дома. И тут только она увидела свиту полковника — жандармов, дворника. — С кем это вы, батюшка! Степанушка, почему в сапогах прошел в залу? — Вдова рассматривала дворника.

Полковник метнул яростный взгляд на ротмистра. Ни в чем нельзя положиться!

— Марфуша... Эти господа паследили! В эти часы я музицирую с Екатериной Васильевной...

— Как же... Как же... Говорила, что барыня занята...— Горничная недовольно повела головой в сторону ротмистра. — Они приказали мне молчать.

— Господин ротмистр, уберите людей,— приказал полковник. — Нет, сами задержитесь...

Ротмистр козырнул.

Женщина не встала при появлении полковника, а продолжала сидеть за роялем. Тонкие пальцы листали ноты. Ни волнения, ни озабоченности, одно нетерпение — прервали запятия. Наконец не выдержала:

— Анна Павловна, вы бы представили господина полковника... Как-то неловко получается...

Ротмистр повернулся к даме за роялем. Нет, конечно,

ошибка — преступница просит, чтобы ей представили полковника?

— Екатерина Васильевна... Моя близкая приятельница... Обладательница прекрасного голоса и будущая знаменитость русской сцены.— Анна Павловна гордилась своим знакомством.

Конкордия Николаевна протянула руку. Жестом Ермоловой на сцене Малого театра. Полковник молодцевато щелкнул каблуками и сбросил шинель на руки горничной. Та важно проплыла мимо ротмистра.

— Счастлив, Анна Павловна, что вы не одиноки, что ваше горе разделяет такая прелестная женщина.— Полковник взял в руки прозрачную чашечку с кофе.

— Да, да, Екатерина Васильевна не оставляет меня,— это было сказано не без намёка.— Екатерина Васильевна поступает в консерваторию.

— В консерваторию? — вмешался в разговор ротмистр, чувствуя себя неловко и от презрительного взгляда полковника, и от вежливого безразличия молодой женщины.

— Да, хочу попробовать. Училась у Патти в Париже. Голос мне поставили, но не знаю, повезет ли — экзамен всегда лотерея! Разные школы, разные требования...

— Как можно сомневаться при таком голосе? Такой внешности? — Анна Павловна искренне восхищалась своей квартиранткой.

Полковник согласно кивал. Да, хороша — и рост, и величавая манера разговора, и яркая внешность, и темные волосы в тугом узле, и глаза с затаенной грустью.

Ротмистр готов был согласиться с полковником: хороша, безусловно хороша. Только вот таких величавых, с грустными глазами политических ему не раз приходилось сопровождать на каторгу в Сибирь. Красота, которая успокаивала полковника, его не радовала, а настораживала.

— Вы давно в Петербурге? — Ротмистр решил пачать

допрос. Он сидел на краешке кресла и держал в руках тонкую чашечку, которую ему всучила горничная под требовательным взглядом вдовы. Эта проклятая чашечка с кофе, которым он боялся залить мундир, отвлекала его, путала ход его мыслей и мешала обрести привычное спокойствие, необходимое в подобных делах.— Откуда пожаловали, коли не секрет?

Полковник нахмурился — нет, этот солдафон продолжает не доверять вдове и ее милому дому.

— Помилуйте, какой секрет?! Мой батюшка — орловский помещик Никологорский. Род наш старинный, но небогатый.— Она щипчиками положила в чашечку сахар.

Полковник улыбнулся изяществу ее манер. Вот оно, дворянство! Вот на чем стояла и стоит Русь!

А господин ротмистр сердится, скоро пот градом — с кузнецовским фарфором совладать не может...

— Я приезжала в позапрошлую осень, но в консерваторию не попала, схватила где-то насморк. Вот и решила позаниматься сначала в Париже, затем в Милане.— Она говорила о поездке в Париж и Милан с необыкновенной легкостью.— До Милана не добралась, провела половину зимы в Ницце. Там прекрасные педагоги из итальянцев...

— У кого занимаетесь в Петербурге по вокалу? — поинтересовался полковник.

— По вокалу? Решила повременить. Боюсь, испортят голос,— Екатерина Васильевна мило улыбнулась.— Готовлюсь сама, естественно по методе итальянских педагогов. По классу рояля — у профессора Финкельмана.

— В России к голосу относятся так, будто каждый может его поставить,— вмешалась в разговор Анна Павловна.— Екатерина Васильевна не должна испытывать судьбу. На экзаменах сразу узнают итальянскую школу... Нет, они вначале должны принять, а потом уже переучивать на российский лад...

— Батюшка жив? — вел свою линию ротмистр, напо-

миная полковнику, что они пришли сюда не сказки слушать и распивать кофе.

— Думаете, не на что будет учиться в консерватории? — усмехнулась Екатерина Васильевна.

— Милая, спойте лучше, — перебила ее вдова, — а я сяду за рояль. — Анна Павловна желала показать, что и она не опустилась, что несчастье не изменило ее привычек.

Руки ее тронули клавиши.

Конкордия Николаевна вспыхнула от удовольствия. Конечно, пение — ее любимое занятие. Она видела и недоверие ротмистра, и растерянность полковника, сбитого с толку таким оборотом дела.

— Не утомлю ли гостей, Анна Павловна? — Екатерина Васильевна соблюдала приличия. Интеллигентный человек не заставляет себя уговаривать. Она наклонилась к вдове и указала поты.

Анна Павловна расцвела.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем...

Полковник прикрыл глаза. Сильный, грудной голос медленно возвращал его к юности. Боже, сколько минуло лет. Двадцать, двадцать пять... Пруд в густом парке... И этот романс...

Конкордия Николаевна умолкла. В наступившей тишине все еще звучал последний аккорд.

Анна Павловна смотрела на квартирантку. Да, сегодня она превзошла себя. Какая страсть, какая сила... Ротмистр был озадачен.

Уймись, волнения страсти!
Засни, безнадежное сердце!
Я плачу, я стражду, —
Душа истомилась в разлуке...

Конкордия Николаевна поглядывала на притихших слушателей. Анна Павловна боялась опоздать с аккомпанементом. Полковник весь ушел в прошлое. Ротмистр впал в то удивительное состояние, когда прислушиваться к голосу разума не было ни сил, ни желания.

— Поразительно... Поразительно! — Первым очнулся полковник.

Филер в потертой шапке заглянул в дверь. Он не понимал происходившего. Карточку именно этой певицы ему вручили в отделении. Правда, встречал он ее то в платочке, то в полушубке, то в шапочке пирожком из тех, которые любят курсистки. Сколько хлопот она ему доставила — и в церковь, и в чайную, и проходными дворами уходила, и на конке уезжала, и, пожалуйста, сидит, очаровывает пением полковника...

Беседа в Летнем саду

Дама сидела на резной скамье в Летнем саду, в руках она держала газету «Новое время». Наступил март, петербургский март 1909 года. На полном лице дамы резко выделялись подведенные глаза, яркий рот. Кокетливая меховая шапочка с красным перышком едва держалась на завитых волосах. Это была Юлия Серова, известная в партийной среде как Люси, которая была секретарем Петербургского комитета РСДРП.

— Что слышно от Василия Матвеевича? — спросила Конкордия Николаевна даму.

Люси долгим взглядом проводила молодого гвардейца, шагавшего по весенним лужам. Казалось, она не вслушивалась в слова Конкордии Николаевны, пригласившей ее на свидание в Летний сад. О муже, депутате Второй Государственной думы, арестованном вместе с остальными

членами социал-демократической фракции, она говорила много, но как-то легко и неискренне.

Конкордия Николаевна сама настояла на этой встрече, чтобы узнать, чем она может помочь семье Василия Матвеевича.

— Люси, когда вы получили последнее письмо от Василия Матвеевича?

— На днях. По материалам следствия он попал в первую группу, которая предстанет перед судом. Наверняка дадут пять лет каторги. Это адвокат утверждает, да еще считает «лучшим исходом». Не знаю, как буду со своими крохами! — Люси поднесла надушенный платочек к подведенным глазам.

— «Лучший исход»... Да... Тяжело, тяжело. Но товарищи вашу семью не оставят, — пыталась успокоить ее Конкордия Николаевна. — Всю фракцию социал-демократов под суд! Вот они, свободы-то!

Конкордия Николаевна тяжело восприняла арест Василия Матвеевича Серова. Он тоже был на Пятом лондонском съезде. Крупный, с приятным открытым лицом и вислыми усами, располагающий к себе собеседник. Она частенько бродила с ним по Лондону в свободное от заседаний время, любовалась городом. В кулуарах съезда зашел разговор о том, можно ли печатать в газетах выступления делегатов под настоящими фамилиями. Серов горячился, говоря, что он, как депутат Государственной думы, лицо неприкосновенное и ареста не боится. Но надо думать о товарищах, которые после съезда должны уйти в подполье! Опубликовать их речи, раскрыть фамилии — все равно что выдать охранке партийных работников!

Конкордия Николаевна соглашалась с Серовым, хотя не очень-то верила в депутатскую неприкосновенность Василия Матвеевича. И вот он, лицо неприкосновенное, в каторжной тюрьме ждет суда.

От раздумий ее отвлек голос Люси:

— Василек просит, чтобы я ему передавала сведения о текущей партийной жизни.

— Товарищи организовали передачу газет в тюрьму.

— Но ведь ему пужны новости помимо газетных...— Люси недоуменно подняла брови: как таких простых вещей не понимает Самойлова!

«Новости партийной жизни?! Это в каторжной-то тюрьме! — удивилась Конкордия Николаевна. — Можно ли так парушать конспирацию. Наверное, все это выдумки Люси. Страшная женщина — самоуверенная до крайности, кичится своей осведомленностью во всем. Что общего между нею, крикливой, молодящейся, и Василием Матвеевичем, скромным, мечтательным человеком? А говорят, что он влюблен в жену и обожает детишек. И брак их странный: он — скромный учитель, а Люси — из генеральской семьи. Впрочем, жизни свои законы не предпишешь...»

Но товарищи многое прощали Люси из уважения к Василию Матвеевичу. Были снисходительны к ее недостаткам: уж чрезмерно любопытна, всем интересуется, все хочет знать. А знает, впрочем, и так немало: многие явки, связи и, в общих чертах, — организацию транспорта.

— Как вы, товарищ Наташа, себя чувствуете? Все обо мне да обо мне. Значит, после Лондона вам не удалось вернуться в Луганск? Кто же там теперь тащит ваш воз?

— Работы везде много, и люди есть надежные, — коротко ответила Конкордия Николаевна.

— Возможно. Но вот Петербург не радует. Аресты, аресты... Где вы устроились, да и надолго ли пожаловали в столицу?

— Дело покажет, — сухо отвечала Конкордия Николаевна.

— И все же где вы устроились? У меня сердце болит за вас, дорогая Наташа, Василек так дорожил вашей дружбой.

— Вы хотите знать, надежно ли мое жилище? Думаю, что да, а впрочем, кто в наше время застрахован от случайностей!

— Ах, Наташа, не сердитесь, ради бога! Это чисто по-женски. Меня и Василек всегда ругает.— Люси беспомощно развела руками.— Теперь каждую мелочь хочется узнать для него, узнать и передать. Он в тюрьме школу организовал, сумел надзирателя подкупить. Я этого надзирателя знаю, такой деляга, что за деньги не только письмо — всего Маркса передаст.

— И все же следует соблюдать большую осторожность, чтобы не осложнить положение Василия Матвеевича.— Конкордия Николаевна решила прекратить разговор.— Когда и где собирается комитет?

— В воскресенье на Невском. Психоневрологический институт, в десять, четвертый этаж, компата с табличкой «Лаборатория». В студенческой столовой будет связной, если что неблагополучно, предупредит... Знаете, Наташа, за последнее время я чувствую к себе какой-то холодок.— Люси помолчала и не без вызова добавила: — Я ведь из генеральской семьи. Наверное, поэтому...

— Ну вряд ли! Софье Перовской «генеральство» не мешало, товарищи доверяли ей безгранично и любили! — Конкордия Николаевна с трудом подавляла раздражение.

— К несчастью, охранка располагает многими данными после провала типографии на Московской. Наборы, шрифты — все конфисковано. Непонятно, как это Мешковский, которому доверили типографию, оказался столь неосмотрительным? Привез в квартиру корзины, чемоданы, свертки. Ночью дворник услышал стук машин и заявил в полицию.

— Не следует во всем винить Мешковского, Люси.— Конкордия Николаевна внимательно посмотрела на собеседницу.— Думаю, здесь не обошлось без провокатора. В Москве мы печатали днем... Правда, и эта типография

провалилась. Вам известны подробности ареста Мешковского?

— В самых общих чертах. Жандармы оцепили дом, где была типография. Дворник постучал со стандартными словами: «Откройте, телеграмма!» Мешковский попросил сунуть телеграмму под дверь, но дворник настаивал. Дверь открыли, а на пороге жандарм в панцире!

— Помешались на террористах господа хорошие! — засмеялась Конкордия Николаевна. Она поднялась. — Прощайте, Люси!

— Вы будете в воскресенье на заседании комитета?

— Обязательно, Люси!

Аресты... Аресты...

— «Царь заговорил византийским языком: искореним крамолу, утвердим самодержавие, а на нас призываем милость Божию!» — Жандармский ротмистр отложил листок и вопросительно посмотрел на Конкордию Николаевну.

Та молчала. Только густые брови удивленно взлетели вверх.

— Значит, утвердим самодержавие, Конкордия Николаевна? Давно ли вы стали проявлять такую обеспокоенность о судьбах престола? — любопытствовал жандармский ротмистр.

— Я — Екатерина Васильевна Никологорская, милостивый государь! — Она горделиво выпрямилась, удерживая руками крохотную муфточку.

— Почему оказались в Психоневрологическом институте? Не затруднительно ли будет вспомнить?! — ротмистр щелкнул портсигаром и легко ступил на котовую дорожку. — Итак, чем можете объяснить ваше присутствие там?

— Все очень просто: по воскресным дням в институте чтение лекций для любопытствующих...— Она спокойно смотрела на ротмистра.— Тяга к знанию не есть крамола! Бестужевские курсы уже не для меня. Послушать модного профессора заманчиво.

— Да, действительно, Бестужевские курсы уже не для вас. По паспорту вам далеко за сорок перевалило... Хорошо выглядите.— Ротмистр с ехидством смотрел на молодую женщину.— Небось рады-радехоньки любому паспорту. Где достали?

Она и глазом не моргнула.

— Спасибо за комплимент.

— Позвольте узнать секрет молодости? Парижская косметика? Значит, не разумеете, по какой причине вас задержали? Почему поднимались в аудиторию с черного хода? Не странно ли для посетительницы воскресных лекций?!

— Не вижу повода для подобного тона.— Она с неудовольствием передернула плечами.— Перепутала вход, не все ли равно. В буфете выпила кофею и стала подниматься. В воскресные дни парадная лестница забита народом, вот и обрадовалась, что без сутолоки поднимусь в аудиторию.

— Свое знакомство с Бойко и Альтшуллером отрицаете? — ротмистр остановился напротив и едва приметно покачивался на носках.

— С кем? — Она не могла повторить фамилии, наморщила лоб, словно пытаясь что-то вспомнить: — Шулером?

— Бойко! Альтшуллер! Готов помочь: эти господа — члены Петербургского комитета РСДРП.

— Любопытно... В газетах не встречала о существовании такого комитета.— Она щелкнула сумочкой и, достав падушенный платочек, приложила к губам.

Неторопливые и изящные движения озадачили ротмистра. Но ошибки произойти не могло.

— С гимназической подругой — мы из Мариинской гимназии, — пояснила она, — произошел аналогичный случай: шла по улочке к модистке и видит, у парадного стоят несколько извозчичьих пролеток. Похоже на свадьбу. Естественно, она остановилась посмотреть на невесту. И что же? Неожиданно дворник впахнул ее в парадное. Злоумышленница! Оказывается, там была облава. Разобрались, попросили извинения... — не без правдоучительности закончила она. — Офицер приказал нижнему чину проводить ее, чтобы не попала в историю!

— Очень мило! Поди, историйка с бородой... Офицер, по всей вероятности, кокетничал с барышней.

— По-вашему, так вежливость и хорошее воспитание тоже вышли из моды. И это говорит офицер...

— Мы попусту тратим время. Вот уже битый час, как я пытаюсь выяснить, почему вы оказались на заседании Петербургского комитета РСДРП? Случайно? Но подобные вещи вряд ли бывают случайными...

— Фантазия вас далеко заведет — о каком заседании вы толкуете? — В ее голосе прозвучало плохо скрытое раздражение. — Повторяю, я поднималась по лестнице Психоневрологического института. Откушала кофею, кстати пресквернейшего, и пошла на третий этаж в аудиторию. Профессор Леонтьев читал лекцию в пятой аудитории «Об условных и безусловных рефлексх».

— Допустим... Дальше?!

— Дальше — это по вашей части. На лестнице стоял городской, я удивилась его присутствию и обошла его. На следующем марше жандармы, ничего не спросив, велели перейти в чужую аудиторию. Я попыталась сказать, что мне этажом выше, но они грубо толкнули меня. Я оказалась в аудитории, где были разбиты стекла, перевернуты шкафы, я увидела каких-то людей, которых раньше на лекциях не встречала, спросила, что здесь происходит, но мне никто не ответил...

— И вы не узнали Бойко? Денисова? Ватина? — Ротмистр пристроился на кончике стола и не сводил с нее пристального взгляда, пытаясь обнаружить волнение или хотя бы неуверенность. — Узнали... Конечно, узнали...

— Я пытаюсь вам в который уже раз объяснить, что произошло. Если вы знаете больше, то к чему расспросы? — Лицо ее приняло надменное выражение. — Очень трудно разговаривать — я одно говорю, вы — другое...

— Если бы наши интересы совпадали, то вы бы не находились в этой комнате, — попытался пошутить ротмистр. — Так что же было дальше?

— Дальше? Меня окружили жандармы и повели вниз по главной лестнице. Сбежались студенты, что-то кричали...

— Что именно?

— По-моему, грозили оторвать башку фараонам... — и совсем доверительно добавила: — Они непременно хотели разделаться с насильниками. На улице собралась толпа — день был воскресный, и многие торопились на лекции... Конечно, это сплошное недоразумение, но должна вам признаться — мало приятное.

Ротмистр молчал. Недоразумение? Ведет себя задержанная хорошо и просто. Ведь за принадлежность к комитету — каторжные работы. Здесь простой выдержки и не принужденности мало. Паспорт в порядке... Таким манером создаем недовольных режимом — хватаем и правого, и виноватого. Действительно, в университет женщинам дорога заказана. И даже из воскресных чтений сделали ловушки! Пошла на лекцию, а попала в Охранное отделение.

— Пожалуйста ваш паспорт, мадам... — Ротмистр посмотрел бумагу на свет. — Значит, Елизавета Васильевна Никологорская... Паспорт прописан по Седьмой линии Васильевского острова...

— Да, совершенно верно. Только не Елизавета, а Ека-



терина... Елизавета — это моя тетушка, я в честь бабушки,— она с достоинством поправила торопливого ротмистра. Ни игры, ни раздражения.

— Извините, мадам.— Ротмистр нажал кнопку звонка.— Придется подождать — вынужден паспорт дать на проверку. Уточним адрес. Если все совпадает, то расстанемся по-доброму.

Она наклонила голову. Согласна — служба есть служба.

Ротмистр долго крутил ручку телефона, кричал, затем углубился в разложенные на столе папки, что-то читал. Ей, чтобы она не скучала, протянул журнал.

Резкий звонок заставил его вздрогнуть. Он отбросил карандаш, взял трубку, слушал, кивал.

— Паспорт прописан... Только в участке оказался какой-то ваш двойник. Девушка Никологорская... Екатерина Васильевна... Вы паспорт не теряли? Любопытно... Придется потерпеть,— и распорядился, чтобы девушка Никологорская была доставлена в отделение.

Она и тут не рассердилась. Молча кивнула и принялась с увлечением рассматривать «Ниву».

И опять в кабинете тишина. Тикали часы, шуршал бумагой ротмистр, да вздрагивали страницы журнала в тонких пальцах незнакомки. Ротмистр через ее плечо принялся рассматривать страницы журнала «Нива», которую листала задержанная.

«При посещении Государем Императором этого последнего лазарета произошел удивительный случай, ярко характеризующий, как русский простой человек относится к царю. Во время Высочайшего осмотра названного госпиталя один крестьянин подошел к лейб-казаку, державшему пальто Государя, и спросил:

— А какое пальто Царя?

— Вот это! — ответил казак.

Тогда крестьянин взял край пальто, перекрестился, стал на колени, поцеловал его и заплакал...»

«Да-с,— вздохнул ротмистр,— писаки... писаки! Целовать на коленях пальто Государя и плакать от умиления!»

Задержанная читает и не морщится от глупости. Может быть, действительно попала в засаду? Данные агента о пекой Громовой могли совпадать — высокого роста, приятная внешность, интеллигентна... Но мало ли случайностей, да еще в нашем деле. Если через пятнадцать минут не явится из части этот таинственный двойник, то придется отпустить с миром Никологорскую. Возможно, однофамилицы...

— Разрешите, господин ротмистр! — В дверь втиснулся саженного роста городской. В руках домовая книга.

— Книгу изволили требовать по дому пятому по Седьмой линии Васильевского острова. — Городовой, боясь наследить сапожищами, держал книгу на вытянутых руках. — Вот, отчеркнуто ногтем-с...

Ротмистр скосил глаза на задержанную. Та подняла голову и ждала. Просто. Естественно. Лишь в глазах нетерпение.

— Никологорская, Екатерина Васильевна, девица, из дворян... Славно... Славно...

Она кивнула. Журнал положила на край стола:

— Я свободна?

— К сожалению, есть еще одна Никологорская. Придется с ней познакомиться. — Ротмистр любил эффектные действия. — Может быть, и родственницу встретите?

Ротмистр наклонил голову. Городовой лихо козырнул и отступил с ковровой дорожки, освобождая место.

И действительно, вошла женщина. Лет сорока. С усталым лицом и запавшими глазами. Она бросила быстрый взгляд на женщину, находившуюся в кабинете, и потупилась.

— Ваше имя? Фамилия? Происхождение? Род занятий? — обычной скороговоркой сынал ротмистр.

— Екатерина Васильевна Никологорская, — тихо ответила женщина.

Ротмистр протянул паспорт.

— Ваш?

— Кажется, мой... — Женщина еще ниже опустила голову. — Мой...

— Ваше имя, сударыня? — Ротмистр с торжеством смотрел на задержанную. — Потрудитесь отвечать громко!

— Екатерина Васильевна Никологорская...

— Как же прикажете понимать? Двойники... Цирковое представление, да и только.

Женщина боялась поднять глаза на Конкордию Николаевну. Да, она дала свой паспорт знакомой курсистке. Та попросила, и она дала. Кому он попадет — она не знала. И вот какой казус вышел. Она боялась, что эта приличная дама, которая предъявила ее паспорт в полиции, окажется террористкой, что за все будет отвечать она, которая к этим террористам не имела ни малейшего отношения. И слезы, крупные слезы побежали из глаз. Она стыдилась их. В молодости мечтала о служении родине, мечтала о подвиге... Дрожали ноги, и она страшилась потерять от страха сознание. Стыдно-то как... Конец... Конец...

И тут неожиданно на помощь ей пришла незнакомая дама. Она с достоинством произнесла:

— Конечно, паспорт принадлежит этой даме. Я в некотором роде самозванка и должна попросить извинения.

Женщина испуганно подняла глаза и робко кивнула:

— Что вы... Что вы... Всякое бывает...

— Любопытно... Одна кается, другая играет в благородство. — Ротмистр откинулся на спинку кресла и нервно забарабанил пальцами по крышке стола. Все приходи-

лось начинать с самого начала.— Так чей же это все-таки паспорт? И кого ждет крепость?

— Думаю, господин ротмистр, до крепости дело не дойдет.— Миловидная дама ободряюще взглянула на испуганную женщину.— В Пассаже я нашла сумочку. Пустую. Поискала городского, его не оказалось. Рядом с сумочкой валялся и кошелек. Пустой. Очевидно, воришки обрезали ридикюль и бросили... Думала отнести паспорт в полицию, но, продержав его ночь, пришла к смелому решению. Не поступить ли мне по этому паспорту на Бестужевские курсы?

— Бестужевские курсы? — любопытствовал ротмистр.— Интересно... Интересно...

— Да, в прошлом я была исключена с Бестужевских курсов.— Женщина спокойно встретила взгляд ротмистра.— Моя фамилия Громова...

— Конкордия Николаевна? — Ротмистр сиял.— Значит, Громова...

— В дни ветровской истории с курсов гнали слушательниц. Удалили и меня.

— Иными словами, вас исключили... И что же дальше? — Дамочка-то с большим дном. А он еще думал, что умеет понимать людей!

— Меня не оставляла мечта получить образование. Где женщине приложить свои силы? — Громова с укором посмотрела на ротмистра.— Как получить образование? Как иметь возможность практиковать? Без диплома нет ни учительницы, ни акушерки... Хотелось быть полезной...

Никологорская с восхищением смотрела на Громову. Нет, такой не грех помочь!

— Когда вы присвоили паспорт девицы Никологорской? — Ротмистр хрустнул бумагой и приготовился писать протокол.

— Можете меня наказать за присвоение паспорта — у меня были разные мысли: и о Бестужевских курсах, и

о консерватории,— Громова говорила с достоинством, и оно не покидало ее в течение всего разговора.— Девушка Никологорская ни малейшего отношения ко всей истории не имеет. Действительно, она потеряла паспорт. Было бы бесчестно запугивать ее каторгой.

Никологорская благодарно кивала. Понимала: эта удивительная женщина все взяла на себя, спасая ее.

— Я не сделала заявления в полицию об утере паспорта, но если нужно...

— Вам паспорт был не нужен, вот и не сделали заявления,— перебила ее Громова.— Если бы потребовался, заявили бы.

— Разумеется... Женихи ко мне не сватались...— Никологорская покраснела, и веснушки четче означились на ее скулах. Как человек чувствительный и восторженный, она готова была расцеловать незнакомую женщину, взявшую на себя ее защиту.— Если нужно, так я готова...

Ротмистр покопался в бумагах.

— Распишитесь здесь... Это подписка о невыезде из Петербурга в течение всего 1909 года... Нужно будет, пригласим в качестве свидетеля... Коли потеряете паспорт еще раз, вышлем из Петербурга...— Ротмистр наклонил голову, давая понять, что аудиенция закончена.

„Милостивец“

Говорила сыну мать:

«Не водись с ворами —

В Сибирь-каторгу сошлют,

Скуют кандалами.

Проведет тебя конвой

По матушке Расее,

Сбреют волос твой густой

Вплоть до самой шеи.

Вспомнишь ты старуху мать

И старшего брата,

Не утерпит твое сердце,

Ты убьешь солдата...»

Певец умолк. И Конкордия Николаевна грустно смотрела в окно. Камера Литовского замка, где она оказалась на этот раз, была маленькая, угловая, с облупленной штукатуркой и зеленым лишайником на стенах.

— Чувство мести, столь сильное у животных и даже дикаря, теряет значительнейшую долю своей интенсивности в человеке цивилизованном, — озадачила ее напарница, слабая чахоточная женщина. — Не смотрите с укором. Это мысль Михайловского.

Соседка имела страсть к высказываниям «великих». Поразительно, чего только она не помнила! Она напоминала шкаф, куда складывают мудрые мысли. В этом она видела путь к самообразованию. Конкордия Николаевна только посмеивалась. Любаша была незлобивая.

— Любаша, сегодня опять дежурит этот милостивец! — И увидела, как побледнело лицо женщины. — Ничего, Любаша, мы еще повоюем...

Надзиратель по кличке «Милостивец» был человеком вздорным, драчуном. И внешне он был неприятен — с тяжелым взглядом, с низким лбом, длинными, висевшими как плети руками. Когда он дежурил, обязательно что-нибудь случалось. Без грубой брани, криков и карцера не обходилось.

Конкордия Николаевна старалась с ним не связываться. Они сидели в камере № 13, и она шутливо говорила Любаше, что до добра это не доведет. Занималась Конкордия Николаевна немецким языком, гимнастикой по Мюллеру. Ее мучила неизвестность, она ничего не знала об Аркадии Александровиче. Свиданий не разрешали, писем не передавали.

Оконце Литовского замка, затянутое решеткой и паутиной, плохо пропускало свет. Над столом коптила висячая лампа. По железной крыше монотонно стучали капли дождя. Шли последние дни ноября 1909 года.

— Праздник... Переносение порток на новый гвоздок! — раздался в коридоре зычный бас.

— Вот и «Милостивец» объявился.— Конкордия Николаевна узнала голос надзирателя.— Пропал день — начнется перебранка, заниматься не даст.

— Ты почто говоришь направо, а глядишь налево... — возражал надзирателю молодой сильный голос.— Для тебя переносение порток на новый гвоздок, а для нас нынешний день — престольный праздник.

— «Престольный праздник»! — с издевкой кричал надзиратель.— Неужто не знаешь, в августе усупеньев день! Престольный... Вам лишь бы от работы отбояриться. Тюремный батюшка смотрел в книжке — нет такого праздника сегодня.

— Правая рука всегда правее! Да, тюремный батюшка нужное не увидит, а ненужное разыщет. Виноватого оправдает, правого обвинит.

— Ну, колодники, закройте глотку. За оскорбление начальства в карцер усажу! Чего захотели! Правды захотели в тюрьме!

— Правда к Петру и Павлу ушла, кривда по земле пошла... А о тебе, «Милостивец», я такую правду скажу, что хуже всяческой лжи...

Конкордия Николаевна прислушалась:

— Опять «Милостивец» свару затеял с сектантами. Что за дрянной человек!

— Дрянной?! Просто садист! — Любаша с отвращением заткнула уши ватой и зажала их ладонями.

Любаша была маленькая и хрупкая. В тюрьме она сидела впервые. Вздрагивала от каждого шороха, боялась карцера и разлуки с Конкордией Николаевной.

Сидела она за участие в экспроприации денег, принадлежавших торговой компании, хотя явных улик не имелось. На допросах держалась хорошо, а в камере плакала.

Конкордия Николаевна старалась помочь ей. Заставляла делать гимнастику. Стыдила, не разрешала распускаться, а главное — советовала заняться делом. Но ее часто пугали перепады настроения Любаши.

— Как вы можете читать, Кона...— Любаша нервно прошлась по камере и остановилась у двери.— Послушайте, что кричит этот садист... Всех переполошить для него одно удовольствие.

— Храбрый со связкой ключей в руках... Оппонентов рассадил по камерам за железные двери,— Конкордия Николаевна отодвинула книгу, но продолжала писать.

Тюрьма гудела. «Милостивец» вовлек в скандал весь коридор, где сидели и политические, и уголовные, и сектанты.

— И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а где она? — Это кричал старик сектант из седьмой камеры.

Конкордия Николаевна видела его на прогулке. Огромный, с седой головой, без шапки и в дождь, и в первые морозцы. Кафтан на нем из домотканой материи, грудь нараспашку. В тюрьме он обладал громадной властью. Никогда не грубил, постоянно вступался за слабых и говорил так книжно, что многие его просто не понимали, за что особенно уважали.

— За правду не судись: скинь шапку да поклонись! — неслось из седьмой камеры.

— Они здесь праведно живут: с нищего дерут да на церковь кладут! — поддержал его женский голос.

— Мастеровые празднуют только церковные праздники, а в гражданские работают!

— Не нужны в тюрьме праведники, а нужны угодники! — опять запричитала женщина.

— Вам давай праздники: Трифона-гуслиста, Харлампия-бандуриста и матери их Хныхны голландских чудотворцев,— огрызнулся «Милостивец» и захохотал.



Засмеялась и тюрьма. Никто так не любил острое словцо, как арестанты. Эта особенность всегда удивляла Конкордию Николаевну.

Хмурилась только Любаша.

— Дети... Истинные дети. А вы-то чему радуетесь?

— Смеху. Без смеха невозможно выдержать такую жизнь и «Милостивца» тоже. Смех — великий врачеватель. Хорошо, что без карцера обошлось сегодня. Драки, крики в коридоре и на меня, бывалую, плохо действуют...

Дверь заскрипела, заскрежетал ключ, и «Милостивец» впустил уголовного с ведром. Под правым глазом у того — большой синяк. Два передних зуба выбиты, наверное, в драке.

— Мамзели, ваши мисочки! — с ласковой угодливостью обратился к женщинам уголовный.

Любаша при звуке открываемой двери затаилась. Конкордия Николаевна подала миски.

— Супец «разлука» — легкие теляти и хвост поросяти, — хихикнул уголовный и покосился на Любашу. — Гребуете, барышня?

— Хлеб забыли нам дать, — спокойно остановила его Конкордия Николаевна. — Любовь Петровна сегодня не дежурит по камере, дежурю я.

— Конечно, политики... — И опять ухмылка в сторону Любаши. — Гребуете зазря — сегодня праху во рту не было, — и запел осипшим голосом: — «Скажи, скажи, девица, как белый лен прясти...»

— Суп — одна вода, — заметила Конкордия Николаевна, передавая миску соседке. — И хлеб — ком глины... Предупредите начальство, если так будет продолжаться, подам жалобу прокурору.

— Жалиться вздумала?

Конкордия Николаевна выпрямилась:

— Не извольте кричать и запугивать! — В голосе ме-

талл.— Вы находитесь при исполнении служебных обязанностей и извольте вести себя сообразно циркулярам...

Конкордия Николаевна гневно встретила взгляд злых глаз «Милостивца».

— Нашла коса на камень...— присвистнул уголовный.

— Ладно, возьмем такую законницу на заметочку,— совладал с собой «Милостивец».— В доброе время на тюремные харчи по копейке отпускалось. Одна копейка на осужденного, а всяким прочим, которых держали под следствием — это намек на Конкордию Николаевну,— так тем вообще казна денег на пропитание не давала. Милостыней кормились, ходили со стражником по базарам да выпрашивали копеечку.

— Фигляр,— отрезала Конкордия Николаевна и повернулась к Любаше: — За такой харч еще и благодарить пужно!

— И теперича на всех прочих казна даст шесть копеек, а на дворянское звание — десять! — «Милостивец» хитро прищурился и шутовски поклонился.— Только ваши десять на его шесть,— он кивнул на уголовного,— вот и получается суп «разлука» по престольным праздникам.

— Шалишь, кума, не с той ноги плясать пошла.— Уголовный явно осмелел.— Кормите-то не на енту копейку. Мясо, тухлятину, получаем от благодетелей купцов. Те его дарят, когда на базаре продать не могут.

— Поговори мне, поговори! — глаза «Милостивца» налились кровью.

— Вот и делается по закону так, а по житейскому — иначе! — Уголовный понимал, что политическая его защищает.— По погудке и пляска!

— Пошел... Пошел отсюда!

Защита заявляет протест

Сегодня день суда. Еще накануне принесли платье, в котором ее арестовали, вернули черные ботинки. Конкордия Николаевна рассматривала свой туалет. За десять месяцев хранения в крепостном цейхгаузе платье покрылось плесенью, ботинки покособились, носы у них задрались. Как в таком виде появиться на суде?..

Она умылась с особой тщательностью, уложила волосы в тугий узел. Взглянула на себя в смоченную водой грифельную доску, которая заменяла ей зеркало. Вздохнула, сокрушенно покачав головой: лицо худое, морщинки на лбу, в темных волосах седина. Как огорчится Аркадий! Осторожно вытянула из-под тюфяка синее платье, которое положила на ночь в надежде, что оно разгладится. Чуда не произошло — платье осталось мятым. Конкордия Николаевна присела на койку. Ждала часа, когда за ней придут.

Время тянулось долго. Наконец загромыхали ключи, вошел старший надзиратель с серебряной медалью на впалой груди. Оглядел ее и пригласил следовать за собой.

В канцелярии, куда ее привели, она увидела своих товарищей. Они были окружены жандармами с обнаженными пашками. Товарищи протягивали ей руки для пожатия. Конкордия Николаевна встала рядом с ними.

— Конвой, шагом арш! — зычно прокричал ротмистр, звякнув шпорами.

Процессия медленно двинулась длинными извилистыми коридорами. С тяжелым скрипом раздвинулись обитые толстым железом ворота. Конкордия Николаевна глубоко вдохнула свежий воздух, вскинула голову, радуясь чистому голубому небу.

Зал суда почему-то напоминал концертный. Люстра переливалась радужными огнями. На возвышении застыло девять полукруглых кресел, золоченые спинки которых торчали над продолговатым столом, покрытым малиновым сукном. Сверкал натертый паркет, сияла позолотой рама огромного царского портрета. Направо от стола, за деревянной перегородкой, стояли скамьи для подсудимых. Напротив расположились кафедра прокурора и места для защиты.

Как она и предполагала, заседание оказалось закрытым. В последнее время большинство процессов над социал-демократами происходило при усиленной военной охране и закрытых дверях. Кресла для публики занимали родственники, которых пропускали по особым билетам.

Жандармы в медных касках окружили скамью подсудимых.

Конкордия Николаевна села в первом ряду рядом с Бойко. Сердце ее колотилось. Она ждала свидания с Аркадием. Почти год разлуки, и вот теперь так встретиться: она на скамье подсудимых, он — на местах защиты как адвокат одного из обвиняемых. Она почти не слушала, что говорил ей Бойко, хотя и понимала, как ему хочется поговорить после стольких месяцев одиночки. Она неотрывно следила за тяжелой резной дверью. Вот-вот должны были появиться судьи и защитники.

Но как ни ждала она этого момента, все же с трудом справилась с собой, когда увидела высокую, чуть сгорбленную фигуру Аркадия Александровича. Шел он тяжело, с усилием переставляя ноги. Лицо было бледным до синевы. Он отыскал ее взглядом, окруженную жандармами, и судорожно глотнул воздух. Она вся подалась вперед, вцепившись руками в деревянные перила. Боже, как он изменился: почернел, состарился, отрастил усы...

Аркадий Александрович опустился в кресло, прикрыл лицо рукой. Она украдкой вытерла слезы. На лице засты-

ло спокойствие, как всегда, когда она хотела скрыть волнение.

— Суд идет! Прошу встать! — возвестил судебный пристав, размахивая тяжелым медным колокольчиком.

Аркадий Александрович с трудом поднялся, взглянул на нее и виновато улыбнулся.

Больше она ничего не видела и ничего не слышала. С болью разглядывала мужа, отыскивая в нем все новые, нерадостные перемены.

Заседание затянулось. Прокурор доказывал виновность подсудимых, он требовал применить статью о каторжных работах. Выступали защитники, шел опрос свидетелей. Она не отрывала глаз от Аркадия Александровича. Вот он о чем-то поговорил с коллегами и попросил слова:

— Господин прокурор признает, что самым главным для суда является установление истины. От себя могу прибавить, что нужно сохранять хотя бы видимость законности.

Копкордии Николаевне нравилось, как тонко говорил Аркадий Александрович, как блестяще высмеивал прокурора.

— С каких это пор каждый, кто пришел в общественное заведение, может быть заподозрен в противоправительственной деятельности? С каких пор свобода и личная неприкосновенность могут быть попораны по любой случайности? Чем, кроме судебного произвола, можно объяснить десятимесячное пребывание арестованных в крепости, хотя обвинение основано на домысле? Сегодняшнее судебное разбирательство...

— Господин Самойлов, попрошу ближе к делу. Вы достаточно сказали о личной неприкосновенности, — председатель суда в зеленом мундире с большой звездой на груди прервал Аркадия Александровича. — Столь же достаточно вы высказались и о практике суда.

Аркадий Александрович, не обращая внимания на замечание председателя, продолжал:

— Нельзя предположения превращать в бесспорные факты, подозрения превращать в улики, личную дружбу уподоблять сообщничеству, а совместное пребывание в одном помещении сводить к заговору... Практика российского суда вопиет против нарушения процессуальных норм...

Колокольчик в руках председателя яростно заливался. Подсудимые с напряженным вниманием слушали Аркадия Александровича. «Цитирует Сергея Кравчипского!» — подивилась смелости мужа Конкордия Николаевна.

— От имени защиты прошу представить единственного свидетеля, на показаниях которого основано обвинение, — устало попросил Самойлов.

Председатель неприязненно взглянул на Аркадия Александровича. Сидевший рядом с Самойловым русобородый защитник приподнялся и, поклонившись суду, заговорил:

— Горячо присоединяюсь к просьбе коллеги. Мне также не удалось увидеть свидетеля, показания которого легли в основу процесса. Защита обязана знакомиться с материалами обвинения. Об этом элементарном правиле не может забыть столь уважаемый суд... Теперь о моей подзащитной Конкордии Николаевне Громовой. Представьте драму тридцатилетней женщины — желание получить образование и невозможность проживания в столице из-за грехов молодости...

Конкордия Николаевна почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Какие грехи молодости? О чем говорит защитник?» Возмущенно поглядела на Аркадия Александровича, поймала его умоляющий, растерянный взгляд. Видно, так нужно. Только очень унижительно. Она обернулась к Бойко и увидела на его лице усмешку.

— Да, образованная женщина не может проживать в столице! Нонсенс, господа! А где еще может женщина получить образование? Мы кричим об эмансипации, а сами фактически не допускаем женщину в столицу! Да,

да, не допускаем. Женщине для проживания в столице нужен паспорт, а попробуй-ка его получи без согласия родителей или мужа?! «Легче решает и осуждает тот, кто меньше вникает!» — позволю себе привести изречение. Только суд не может руководствоваться этим... Я верю в справедливость суда, как верят и мои подзащитные, оказавшиеся по роковой случайности на скамье подсудимых! — Защитник сделал широкий жест в сторону обвиняемых и сел с довольным видом, поглаживая русую бороду.

Конкордия Николаевна привстала — нет, в слезливых речах она не нуждается. Она готова хоть сейчас подтвердить свою принадлежность к Петербургскому комитету РСДРП. Бойко взял ее за локоть:

— Терпение! На каторгу успеем...

— Защита настаивает на немедленном введении в зал свидетеля обвинения! — почти прокричал Аркадий Александрович, опасаясь признания Конкордии Николаевны.

В зал ввели плечистого человека. Конкордия Николаевна замерла в ожидании. Она внимательно разглядывала свидетеля — русоволосый, с густой курчавой бородой, серыми осоловелыми глазами. Нет, она его не знает. Удивленно пожал плечами Бойко. Свидетель наклонил голову, будто боялся встретиться глазами с подсудимыми. Аркадий Александрович тревожно переговаривался с защитниками. После обычных вопросов к свидетелю наступила тишина.

«Какая-то провокация!» — вздохнула Конкордия Николаевна. Приготовилась слушать, подперев голову рукой.

— У защиты есть вопросы к свидетелю обвинения! — зазвенел голос Аркадия Александровича.

— Прошу! — кивнул председатель, поудобнее устранившись в кресле.

— Свидетель, чем вы можете подтвердить знакомство с людьми, сидящими на скамье подсудимых? Можете ли

назвать их по фамилии, рассказать, при каких обстоятельствах произошло ваше знакомство? Прошу припомнить все точно, ибо от ваших ответов зависит жизнь...

— По-про-шу лишних советов не давать! — растягивая слова, прервал его председатель и обратился к свидетелю: — Отвечай, голубчик.

Свидетель приблизился к обвиняемым. В глубине его глаз был заперт страх. Опухшее лицо Конкордии Николаевны. Большие натруженные руки Бойко. Осунувшиеся лица рабочих в черных косоворотках... Тряхнув головой, словно освобождаясь от чего-то, проговорил:

— Я не знаю этих людей!

По залу пронесся шепот. Конкордия Николаевна перехватила радостный взгляд Аркадия Александровича. Широко улыбался защитник с русой бородкой. Побагровел прокурор, нахмурился жандармский полковник.

— Свидетель, прошу повторить показания, данные на предварительном следствии! — Прокурор заметно нервничал. — Прошу не вводить суд в заблуждение!

— Защита просит не оказывать давления на свидетеля. Перед законом свидетель должен показать правду, одну лишь правду! — вскочил Аркадий Александрович.

В зале повисла тревожная тишина. Свидетель стоял белый как полотно, плотно сжав губы.

— Я не знаю этих людей!

Свидетель поклонился подсудимым...

— Защита заявляет протест! Отводит свидетеля и просит записать в определение суда о недопустимости подобного ведения следствия!

— Увести! — Председатель бросил презрительный взгляд на жандармского полковника.

— Мы видели так называемого свидетеля. На его показаниях было основано обвинение в принадлежности подсудимых к Петербургскому комитету РСДРП. Свидетель не подтвердил показаний, насильственно вырванных у

него во время следствия. Более того, он публично отрекся от них...— Аркадий Александрович вскинул голову.— Теперь у обвинения осталось последнее веское доказательство того, что мы имеем дело с Петербургским комитетом РСДРП,— протоколы жандармского управления, утверждающие, что при аресте этих людей были обнаружены листы белой чистой бумаги и карандаши. И это называется улики? И за это господин прокурор грозит обвиняемым каторгой!..

— Суд удаляется на совещание! — Председатель суда с грохотом отодвинул малиновое кресло.

Аркадий Александрович направился к скамье подсудимых.

Результаты одного расследования

11 февраля 1912 года

Уважаемый товарищ!

Будьте добры справиться у т. Полетаева о результате одного расследования, возбужденного мною и женой еще в конце 1909 года. Осенью 1910 года я получил от него письмо, в котором он уведомляет, что пад расследованием надо поставить крест за отсутствием свидетелей и неопределенностью слухов. На это только я вскоре ответил, что считал такое уведомление канцелярской отпиской и требую продолжения расследования. С тех пор никаких известий не получал. Между тем слухи продолжают, и не так давно я получил из ссылки известие, что расследование продолжается и окончательное решение зависит от ответа какого-то заграничного товарища, к которому послан специальный делегат. Насколько все это верно, не знаю. А знать мне крайне необходимо: 1 апреля с. г. кончается срок каторги, и на поселении мне придется жить с семьей. Жена и дети живут теперь в

Иркутске, так как въезд жены в район каторги воспрещен. Я должен знать определенное решение по этому делу, чтобы установить с женою, согласно с этим решением, определенные отношения. Как член определенной общественной группы, требую, чтобы мне дали этот ответ, а как человек, близкий к обвиняемой, умоляю избавить меня наконец от мучительной неизвестности, которая вот уже более двух лет не дает мне покоя.

Прошу товарищей представить себе теперешние и будущие условия моей жизни и спасти меня от тех коллизий, которые меня ожидают: столкновение обязанностей отца четырех детей и члена партии. Мне теперь же необходимо все знать, чтобы поступить, как полагается честному гражданину. Прошу ответить поскорее. Так как переписка наша просматривается, прошу сообщить только, что по известному мне делу решение благоприятно или неблагоприятно; причем термин «неблагоприятно» будет означать обвинение. Думаю, что вы сумеете как-либо передать то или иное решение. Еще просьба: в Нерчинской каторге нас осталось трое: Петров в Кутомаре, Чашин в Алгачах и я в Зерентуе. 1 апреля срок выхода на поселение. Средств у нас никаких. Надеемся, что товарищи нам помогут, иначе наше положение на поселении будет на первых порах, пока не найдем работы, весьма печально. Всего хорошего.

С товарищеским приветом
В. Серов.

Конкордия Николаевна отложила было письмо, но затем перечитала его еще раз. Бедный Василий Матвеевич! В том, что его жена оказалась провокатором, сомнений не было. Вот вам и финал семейной жизни: он — на каторге, она служит в охранке. Конкордия Николаевна хорошо знала Серова. Тогда, в Лондоне, он много рассказывал ей о жене. Кругом страдания, у многих — неустроен-

ность личной жизни, а у него — семья, прекрасные дети, жена-единомышленник. Да он бы никогда и не связал свою судьбу с женщиной, не разделявшей его убеждений...

Итак, молодящаяся Люси Серова — провокатор. Конкордия Николаевна своим последним арестом была обязана именно ей. А скольких товарищей она предала за годы работы в Петербургском комитете. Ведь ей были известны связи, явки, она принимала участие в приеме и устройстве тех, кто приезжал в столицу на партийную работу.

Во время процесса над Петербургским комитетом охранка не раскрыла сведений, полученных от Люси. Провокатора берегли. Процесс провалился, а Люси удалось остаться в тени. И все же подозрение пало на нее. И не без оснований. Началось партийное следствие, о котором стало известно Василию Матвеевичу. Известие это потрясло его. Так и появилось письмо — крик души пострадавшего человека.

Наступило утро. Конкордия Николаевна выключила свет. Оранжевый абажур маленькой настольной лампы вновь вспыхнул, но уже зажженный не электрическими лучами, а солнцем. Конкордия Николаевна оглянулась на Аркадия Александровича. Он спал, сладко причмокивая губами. Черноволосая голова сползла с подушки, одеяло лежало на полу. Конкордия Николаевна на цыпочках подошла к мужу. Половицы заскрипели.

Аркадий Александрович вскочил, протирая глаза:

— Кона, что случилось? Опять чуть свет поднялась!

— Да успокойся, милый! Все в порядке. Хотела одеяло поправить и разбудила. Экая нескладеха!

— Старого конспиратора голыми руками даже во сне не возьмешь! — Аркадий Александрович, довольный, повернулся на другой бок.

— Спи, конспиратор!

Конкордия Николаевна, боясь ступить на скрипящую половицу, вернулась к столу. Сняла с чайника матрешку.

Потрогала рукой — теплый. Видно, Аркадий Александрович поздно лег — правил статьи. Она просмотрела гранки, длинные и скрученные на манер свитков. Улыбнулась — опять корректорские знаки перепутаны. Никак не удастся ему постигнуть сию премудрость.

Налила чай, помешала сахар... Люси Серова не только провокатор, но и умелая комедиантка! Как только начались разговоры о предательстве, Люси собралась на каторгу в Горный Зерентуй. «К мужу, к Васильку... Он так тоскует по детишкам!» Собиралась хлопотливо, шумно, как все, что делала. У многих сердца потеплели — женщина на каторгу с детьми едет! Конкордия Николаевна и со сборами ей помогала, и на вокзал проводила. Прибежал на вокзал и брат их товарища, тоже отбывавшего каторгу. В далеком Зерентуе тот умирал от чахотки, и родные просили Люси передать ему деньги. Но Люси присвоила их! А какие фокусы пачались в домике Серова на каторжном руднике: то ночной обыск, то вызов к исправнику. Политические стали избегать встреч с Люси, Василий Матвеевич за голову хватался от догадок. А Люси все объясняла случайностью. Пробыв некоторое время в Сибири, как ни в чем не бывало, она вернулась в столицу, решив, видимо, что все забыто. Бедный Василий Матвеевич, усомнившись в добропорядочности жены, написал письмо товарищам в Петербург. За первым письмом пришло второе, третье...

В Петербургском комитете разговор с Юлией Серовой поручили Конкордии Николаевне. И вот он должен состояться. Она посмотрела на настольные часы. Семь. Пора выходить.

Комната, в которой Люси Серова ее приняла, напоминала бонбоньерку: розовая мебель, розовая лампа, розовые занавеси алькова. Люси, обрюзгшая, в бантиках на халате, взглянула на часы, давая понять несуразность столь раннего визита. В глазах ожидание и тревога. Натя-

нув на плечи плед, предложила Конкордии Николаевне стул.

— Дети дома? — как можно спокойнее спросила Конкордия Николаевна.

— У бабушки, — сонно протянула Люси и зевнула. — Работы много. Не до них.

— Работы?! — переспросила Конкордия Николаевна, не отводя от Люси изучающего взгляда. Она понимала, как важно сейчас сдержаться и дать Люси и выговориться и проговориться. Впрочем, есть и другой путь добиться истины — ошарашить внезапным прямым вопросом...

— С утра до ночи кручусь как белка в колесе! Вчера ввалились ко мне рабочие с Выборгской стороны...

— Полно прикидываться, Серова... Впрочем, даже не знаю, как вас и называть.

— Почему такой тон, товарищ Наташа?

Конкордия Николаевна вспыхнула:

— Мы с вами не товарищи! Я в охранке не состою.

— Опять я стала Азефом в юбке! — истерически воскликнула Люси. — Вновь кому-то не дает покоя мое генеральское происхождение!

— К чему паясничать! Вот письма, которые вы посылали в охранное отделение.

Конкордия Николаевна вынула из портфеля исписанные крупным почерком листки. Люси впиалась в них глазами. Руки ее задрожали.

— Хотите узнать, как они оказались у меня? Но имени этого человека вы не узнаете никогда.

— Почерк подделан! — прошептала Люси. — Да, да, подделан! Это мои враги, враги!

— Кем подделан почерк?! Какие у вас враги? Кстати, прочтите письмо Василия Матвеевича. Какого человека замарали! — Голос Конкордии Николаевны был полон презрения.

— Он знает! — с отчаянием воскликнула Люси. — Кто ему сказал? Для чего? Вы разбиваете нашу семейную жизнь!

— Прекратите истерику! — почти прикрикнула Конкордия Николаевна. Совладав с собой, она продолжала спокойно, словно взвешивая слова: — Вернемся к фактам. Вчера в газете «Правда» опубликовано письмо Серова... Василий Матвеевич избрал единственный путь — он разорвал личные отношения с женой-provокатором!

— Разорвал! Ну нет... У нас дети, семья!

— Я уполномочена Петербургским комитетом заявить, что расследование вашей provокаторской деятельности закончено. — Голос Конкордии Николаевны звучал ровно и жестко. — Факты подтвердились, и вы признаны виновной. Вы обязаны немедленно покинуть Петербург. — Помолчав, она добавила: — Мы бы поступили по-другому, но жаль детей.

— Вам жаль детей! А мать этих детей не жаль? — опять истерически закричала Люси.

— У каждого, кого вы предавали, тоже были дети. Вы о них подумали? — Конкордия Николаевна с трудом подавила вспышку гнева, помолчала. — Состоялось решение социалистов-революционеров в связи с вашей provокаторской деятельностью.

— Социалистов-революционеров?! Какое решение? — Люси схватилась за сердце.

— Я не уполномочена говорить об этом. Действия ваши получили широкую огласку. Известие о provокаторстве подхватят не только рабочие газеты, но и либеральные. Уезжайте из Петербурга и не вздумайте обращаться к вашим покровителям!

Люси сидела, бессильно опустив руки.

Конкордия Николаевна поднялась и, не взглянув на эту, ставшую ей глубоко чуждой и омерзительной женщину, вышла, хлопнув дверью.

Дом „Правды“

«Слыхал?» — «Слыхал!»
«Видал?» — «А не видал!»
«Подумай: наша, брат, рабочая газетка!..
Чай, жиру не придаст хозяйским-то горбам!»
«Да... Кой-кому не по зубам
Конфетка».
«А нам, гляди, как выйдет впрок!
Пойдем-ка-сь, купим номерок»,
Пошли, по переулкам рыщут,
Газету ищут.
«Тыфу! Будто черт газетчиков посмел!»
«Нашел газетчика, нашел!»
И впрямь нашел, судя по бляхе медной;
Стоит парнишка сам не свой,
Весь бледный.
«Газетку...» — «Братцы, всю унес городской!»
«Ой прах его возьми!.. Теперь хоть волком вой..
Ты шутишь аль взаправду?!»
Нет, не шутил бедняк:
Под глазом у него сивяк.
За «Правду».

Это было стихотворение Демьяна Бедного, напечатанное в «Правде». Газету номер за номером конфисковывали. Доставлять ее рабочим стоило великих трудов. Под редакцию заняли небольшую квартиру на Ивановской. Дом невзрачный. Комнаты тесные. На столах и стульях спят рабочие. Приходят с вечера, ждут газету, чтобы вынести через черный ход.

Конкордия Николаевна поближе придвинула зеленую лампу. Быстро правила статьи. Скоро три часа. За окном ночь. Робко светит железный фонарь, освещая тучную фигуру городского. С тех пор как в этом доме обосновалась редакция газеты, градоначальник установил здесь полицейский пост.

— Ну как, Наташа, материал готов?

Конкордия Николаевна вздрогнула. Очевидно, она задремала. Потянулась, глаза еще сонные. А, Еремеев! На-конец-то.

— А где материал о работницах «Нового Айваза»? Мы же договорились... Рассказ их записали, обещали поместить...

— Места нет. Полосы забиты! — Еремеев невозмутимо посасывал трубку. Он собирал трубки, но пользовался всегда одной, самой любимой — прокуренной, с обуглившимися краями.

— Как места нет? Это же письма работниц. Можно подумать, что вы выпускающий в «Луче»...

Конкордия Николаевна говорила язвительно. Начинался обычный бой за рабочие корреспонденции, которыми она занималась как секретарь редакции.

— Хорошо, дам... Только тогда снимем письмо штрейкбрехера Иванова, — Еремеев хитровато взглянул на Конкордию.

— Как? Снять письмо Иванова?! Вот истукап... Истукан с трубкой! Вместе разговаривали с Ивановым, человек раскаялся... Нельзя же его подвергать дальнейшему ostracismу.

— «Остракизм»! «Раскаялся»! А кто его толкал на штрейкбрехерство? — Еремеев набивал трубку. — Кто? Товарищи бастуют, а он нате вам...

— Я его не оправдываю... Сама ругала не меньше вашего, но он третий месяц без работы... Попял, что поступил неправильно.

— Никто его не толкал на этот путь! — буркнул Еремеев. — Штрейкбрехер остается штрейкбрехером! Выбросим его письмо...

— Невозможно! Письмо имеет принципиальное, воспитательное значение. Нужно, чтобы судьбу штрейкбрехера представляли все.

— Согласен... Тогда с четвертой полосы потесним вашего поэта за таинственными инициалами И. Н. — Еремеев красным карандашом делал разметку номера. — Да и стишки-то, скажу...

— И не говорите. Слушать не буду... Стихи искренние. Надо их Демьяну Бедному показать. Может быть, у парня талант,— сказала Конкордия Николаевна.

Еремеев смотрел на нее, отбросив красный карандаш. Строгая и рассерженная, добрая и заботливая. Недаром к ней тянутся рабочие. Иной часами ждет, пока освободится товарищ Наташа.

— Так как же с письмом женщин «Нового Айваза»?

— О чем вы толкуете, Наташа! Полосы не резиновые. Дадим в завтрашний номер...

— Да что вы все пререкаетесь! — Щеки Конкордии Николаевны покрылись красными пятнами. — Сколько сил трачу на ссоры с вами!

Еремеев понял — гроза миновала. Конкордия Николаевна придвинула увесистый фолиант в сафьяновом переплете — свод законов о печати. Она изучила его на случай налета полиции на типографию. Тогда бы она начала казуистические препирательства с полицейскими, чтобы выиграть время и дать возможность допечатать газету.

Ровно гудела машина. Стальные лапы переворачивали листы. Пахло скипидаром и краской. По узенькому мостику-лестнице поднимался печатник, вытирая руки промасленной тряпкой. В плохо освещенных тусклыми лампами углах типографии сидело несколько человек — распространители газет, они неторопливо переговаривались, держа во рту незажженные папиросы. Конкордия Николаевна подошла к знакомым путиловцам.

— Как будем выносить сегодня? — спросила обеспокоенно.

— Дело привычное, товарищ Наташа. Найдем способ.

Конкордия Николаевна с интересом посмотрела на парня: вихрастый, щупленький, в засаленной кепочке и потертом пальтишке. Этот паренек придумал интересную систему. Неподалеку от Ивановской завел квартиру —

«передаточный пункт»; туда переносит газеты из типографии, а потом их распределяют по всему городу. У него «тройка» — один посит пачки, другой сторожит, а третий доставляет на заводы...

— Сколько отпечатали, Еремсеев? — Конкордия Николаевна оценивающе поглядела на кипу свежотпечатанных газет.

— Двадцатую тысячу кончаем!

— А сколько вынесли?

— Почти пятнадцать... Пожалуй, пора...

— Самое время. Скоро и рассыльный вернется...

Вмиг засуетились разносчики, принялись засовывать газеты под пиджаки и пальто, поверх затягиваясь ремнями. И по одному уходили черным ходом...

Рассыльный с номером ушел в цензурный комитет, и Конкордия Николаевна ждала его возвращения. Конечно, и этот номер «Правды» конфискуют. Не было никакой надежды на то, что ему разрешат выйти в свет. Конкордия Николаевна услышала, как хлопнула входная дверь. Подхватив пачку газет, она быстро начала подниматься наверх: не столкнуться бы с полицией. Может, удастся припрятать на чердаке.

Дверь распахнулась. Вошел жандармский офицер, зашпанный, злой, опухший. В его продолговатых глазах-щелочках — насмешка. Оттопыривая нижнюю губу, с издевкой сказал:

— Ваши коллеги галантностью не отличаются... Позволить даме таскать такие пачки газеты, да еще конфискованной цензурой!

Конкордия Николаевна медленно отступила.

— Занять все выходы! — гремит офицер, увидев, как из печатного цеха выскакивают люди со свертками.

Городовые занимают выходы.

— Вот распоряжение о конфискации сегодняшнего номера! — обращается офицер к Конкордии Николаевне.

— А какую газету конфискуют? — Конкордия Николаевна тянет время.

— Какую же еще, «Правду», конечно!

Еремеев невозмутим. Он стоит у машины и внимательно по смотрит, как выползает бумажная лепта.

Жандарм косится на Конкордию Николаевну, подходит к машине.

— Что за газета? — По дороге налетает на пустой ящик, со злостью его отшвыривает.

Печатник молча продолжает работать.

Еремеев невозмутимо поднимает пачку газет и взбирается вверх по лестнице. Городовой преграждает путь, но Еремеев, сердито прокричав, что это для редакционных нужд, отстраняет его.

Конкордия Николаевна замирает. Опять конфискация... А ведь рабочие ждут свою газету. И как огорчится Владимир Ильич!

— Покажите постановление о конфискации номера! — требует она у жандармского офицера.

— С кем имею честь?.. — На лице офицера ироническая улыбка. — Есть распоряжение не только о конфискации номера, но и об аресте ее редактора.

Значит, опять или крупный штраф, или трехмесячный арест редактора.

Офицер подзывает к себе печатника. Тот делает вид, что за гулом ничего не расслышал. Наконец машина останавливается. Наступает вязкая тишина.

Городовой поднял лом и принялся разбивать набор. А потом мешки с конфискованными номерами выволокли во двор, и там в ночной тьме взметнулось высокое пламя.

«25 января.

Уважаемые товарищи! Сообщаю печальную новость: нас опять закрыли, закрыли «Пролет. правду», и теперь ожидаем со дня на день закрытия новой газеты. Вы уже

знаете, вероятно, что Петровского привлекли к ответственности за статью, в которой, действительно, в очень неосторожной форме было сказано, что все «Правды» представляют «один идейный организм», и эта статья подала повод к установлению преемственности между новой и старой газетой, так что и новой теперь дни сочтены.

Что делать дальше, не знаем. Конечно, будем дело продолжать, несмотря на все и всяческие препятствия. Думаем изменить теперь название, хотя вряд ли это поможет. Теперь к Вам большая просьба. Ввиду всех историй с сотрудничеством публики в буржуазной прессе убедительно просим Вас написать основательную и исчерпывающую статью, а то и несколько статей, с принципиальным освещением вопроса о сотрудничестве в буржуазной прессе, то есть, вернее, о недопустимости сотрудничества в хозяйской и буржуазной печати. Необходимо, чтобы статья была написана в возможно более популярной форме, ссылаясь бы на резолюции конференции. Хорошо было бы, если бы Вы указали в этой статье, куда заводит некоторых, именующих себя марксистами, сотрудничество в буржуазной печати, как оно приводит их к утверждению, что ««Русские ведомости» — единственный честный печатный орган» и т. п. Хорошо было бы указать также, в какую трясину забрались ликвидаторы (целый ряд из литераторов), сотрудничая в хозяйской прессе, до какой приспособляемости они дошли. Словом, необходимо полно и всесторонне осветить этот вопрос примерно так, как у нас был разобран Вами вопрос «об уголовных деяниях». Это одно. Вторая просьба к Вам такая. Приближается юбилей Михайловского. Необходимы были бы по этому поводу критические статьи, освещающие идеологию народников и целый ряд выдвинутых ими вопросов (о роли личности в истории, о героях и толпе и т. д.). Это теперь было бы особенно важно и необходимо ввиду того, что народники

стремятся всюду упрочниться и теперь, более чем когда-либо, нужно было бы дать критическую оценку их идеологии.

Затем, товарищи, еще раз напоминаю, вернее, предлагаю Вам посылать статейки для студенческого журнала «Утро жизни», это журнал вполне свой, публика там правдистская, и поддерживать их в литературном отношении необходимо. Ваше согласие сотрудничать в «Зарю Поволжья» пересылаю, так как никто ничего отрицательного сообщить про журнал этот не может, кроме неопределенности его физиономии. Там, кажется, пристроились и народники, по крайней мере в 1-м номере в передовице речь идет, между прочим, и о «трудовом народе». 1 номер этого журнала я Вам пошлю.

Получаете ли нашу газету? Вообще получаете ли все, что Вам отсюда посылается?.. Привет всем».

Конкордия Николаевна пробежала глазами письмо, которое она отправляла в Центральный Комитет. По старой привычке покусала кончик ручки и, вздохнув, принялась обдумывать письмо о положении дел с журналом «Работница». Она вошла в редколлегию журнала, вернее, в тот состав, который был предназначен для работы в России. Дело подвигалось медленно, журнал был легальным, и трудностей оказалось невпроворот. Она понимала, что Крупская — она также входила в редколлегию журнала — волновалась и ждала первого номера.

Походила по комнате, обняв плечи руками, подумала и села за стол, придвинув стул. Начала быстро писать, энергично нажимая на перо:

«Дорогая Н. К. и Зина! (Хотя Зину я мало знаю, но думаю, что нам пора уже познакомиться поближе). С «Работницей» дело хотя и медленно, но подвигается вперед. Хотели было выпустить до Женского дня 1-й номер, а к Женскому дню 2-й, но удастся выпустить только один перед самым Женским днем и посвященный этому дню.

Поэтому и содержание придется приспособить соответствующим образом. Посылайте, пожалуйста, как можно скорее статьи, за ними сейчас все дело. Просим Вас прислать передовую — от редакции — о целях и задачах нашего журнала. Затем хорошо было бы, если бы Зина послала что-нибудь переводное, хотя бы о том, как проходит Женский день за границей. Статьи «Значение Женского дня», «Для чего работницам необходим свой журнал» и «Работница и семья» будут написаны здесь. Хорошо также, если пошлете какую-нибудь переводную беллетристику, подходящую к случаю. Нужна была бы также статья о движении работниц за границей. Все статьи, пожалуйста, присылайте как можно скорее, чтобы не запоздать с номером к Женскому дню. Статьи нужны как можно популярнее, так, как это умеет писать Н. К., статьи которой очень подходят для понимания работниц...

Крепко жму руку».

Конкордия Николаевна устало провела рукой по глазам, потерла виски и вздохнула. На дворе ночь, темная, непроглядная. Лишь подрагивало пятно от уличного фонаря, да слышно было, как метался и стонал по петербургским проспектам ветер. Она поежилась от тяжелой усталости: целый день на ногах, бегает по городу, собирает материалы, ругается с цензурным комитетом, принимает посетителей — да разве все возможно пересказать?! Дела, дела, дела... Она еще раз пробсжала письма глазами и принялась их шифровать.

И снова тюрьма

Конкордия Николаевна в черном строгом платье. Низкая кокетка выстрочена складками. Воротник высокий, глухой. Белое шитье оттеняет матовый цвет лица. Она склонилась над столом, пишет. Иногда

останавливается и задумчиво смотрит в окно. Весь этот месяц Конкордия Николаевна много работает. Двадцать третье февраля — День Международной солидарности женщин. Нужны лекции, рефераты, доклады, которые бы приобщили женское движение России к социалистическим организациям Европы. Уже подготовили к выходу в свет первый номер «Работницы». Журналом интересуется Владимир Ильич. Конкордия Николаевна видела макет: невелик формат, нет обложки. Но как бы там ни было, это журнал. Первый женский, партийный.

Последнее заседание редколлегии перед выходом номера... Конкордия Николаевна просмотрела статьи, аккуратно сложила их, спрятала в портфель. И тут в дверь постучали. Вошла круглолицая, улыбчивая работница с фабрики «Треугольник».

Конкордия Николаевна обрадовалась:

— Здравствуйте, Мария Пантелеевна! Садитесь... Что так долго? Думала, не дождусь...

— Еле добралась до вас. У Инженерного замка приключилась со мной история, — взволнованно заговорила женщина. — Шел наш наладчик с фабрики, совсем хворый, чахоточный. По улице-то идет, держась за стеночки, едва ноги волочит. Вдруг откуда ни возьмись — конные городовые мчатся к Марсову полю разгонять демонстрантов. Впереди офицер, злой как черт. Соскочил с коня да к нашему наладчику. «Сволочь! Демонстрант!» — толкнул его с панели. Тот закашлялся, кровь горлом... Побелел как мел и лежит. Я подбежала. Офицер и меня ударил. Тут толпа налетела, кто возмущается, а кто и кулаки готов в ход пустить. Ну, офицер, ясное дело, ускакал, а палачика без сознания отвезли в больницу...

— Мерзавцы, до чего распоясались! — Конкордия Николаевна яростно сжала кулаки. — Вам надо обязательно рассказать об этом случае на собрании в Калашниковой бирже. Там будут работницы со многих фабрик и заводов.

— Ой, что вы, товарищ Наташа! Как же я при людях говорить-то буду. Не умею я... Растеряюсь...

Конкордия Николаевна смотрела на нее с улыбкой. Она-то знала, как трудно человеку выйти на трибуну, поверить в свои ораторские способности. Для этого, кроме всего прочего, еще необходимы случай, удача... Конкордия Николаевна подождала, пока Мария Пантелсевна выговорится, и спросила:

— Что на «Треугольнике»?

— Экономить начали. Администрация ввела новую мазь, в которую влили какую-то ядовитую жидкость. По цеху ползет зловонный пар. Работницы мечутся у машин, теряют сознание, падают. Из цеха все бросились на лестницу. А там чугунные колодки. О них-то и разбиваются. Кровь... Стоны... Мужиков пригнали из других цехов, чтобы таскали баб в амбулаторию. Да какая амбулатория — смех один! Диван деревянный да стеклянная перегородка. Клади на пол вповалку, обливали холодной водой, нашатырь давали нюхать. Работу приостановили. Тут сразу набежал народ. Все кричат, ругаются, хотят узнать правду. К народу вышел хозяин. «Сами во всем виноваты! Падают женщины нарочно, работать не желают, а яд в мазь подмешали сами...» Что тут поднялось! А хозяин-то и брякнул: «Тогда от великопостной жизни!»

— Вот это правильно! Действительно, жизнь «великопостная», если галошницы получают в день по шестьдесят копеек, — горячо заговорила Конкордия Николаевна. — Великий пост наложен капиталом. Только сплоченностью можно одолеть «великий пост» и «страстную неделю»... Вот, милая Мария Пантелеевна, вы и подготовились к выступлению... Увидите, как вам слушатели обрадуются...

На этот раз редколлегия журнала «Работница» собралась на квартире Прасковьи Францевны Куделли, на Нев-

ском. Разбирали, вычитывали материалы. Внезапно в прихожей послышались тяжелые шаги, в комнату ввалился пристав. Тут же сделали обыск, перевернули все вверх дном, а присутствующих взяли под конвой. Как шутили в тюремной канцелярии, сделали подарок к Женскому дню. Куделли, Драбкина, Розмирович, Артюхина...

Естественно, виновным никто себя не признал. У Куделли собрались случайно. Ни о каких редколлегиях и слыхом не слыхивали. С Куделли она, Конкордия Николаевна, виделась лишь считанные разы, познакомились год назад в каком-то литературном обществе — та настойчиво предлагала билеты в зал Федоровой на вечер, разрешенный санкт-петербургским градоначальником. И более ни слова, ни о Твери, ни о большой дружбе.

Жандарм держал ее портфель, набитый рукописями. Но ведь это, как утверждала Конкордия Николаевна, статьи для газеты «Путь правды», в которой она работает секретарем.

Пристав составлял протокол, уязвленный редкостной корректностью арестованных и даже немного растерянный... А когда дело дошло до квартиры Куделли, которая якобы была на заметке в полиции, то его подняли на смех. И опять Конкордия Николаевна смотрела на Куделли отчужденным взором, словно впервые ее видела. Оказывается, квартиру Куделли никто из присутствующих ранее не посещал. Был случай, когда швейцар не захотел за поздним временем пустить человека, но человек-то оказался родным братом самого швейцара!..

И опять тюрьма.

Конкордия Николаевна крепко обхватила руками решетку, прищутив глаза, жадно вглядывалась в светлосинюю высь.

Высокий женский голос негромко выводил «Лучинушку». Это Куделли сидит в соседней камере на одном этаже

с песню. Только слова у «Лучинушки» какие-то новые, незнакомые:

Полно! Довольно про горе ты пела...
Прочь этот грустный, унылый напев.
Надо, чтоб песня отвагой гремела,
В сердце будила спасительный гнев.

На прогулочный дворик выскочил старший надзиратель, сложив руки рупором, прокричал:

— Пес-ню! Пес-ню пре-кра-тить!

Песню не прекращали. В разных концах тюрьмы вступали все новые голоса:

Зреет в народе могучая сила,
Край наш стоит на широком пути,
То, что страдалица мать выносила,
Сын-богатырь не захочет снести...

По двору забегали надзиратели в черных мундирах, с блестящими пуговицами. Неуклюжие, крикливые. Теперь уже вся тюрьма слаженно вторила:

Мысли живой не задушит в нем голод.
Сил молодых не надломит борьба.
Смело возьмет он тяжелый свой молот
И разобьет им оковы раба!

Песня плыла над тюремным двором, уносилась ввысь. Камеры грохотали. Надзиратели разводили арестанток по карцерам.

Конкордия Николаевна схватила со стола железные тарелки, звучно ударила одна об другую. Тюрьма бушевала. Падали табуретки, летели скамейки, хлопали крышки привинченных к стене столов...

В тюрьме началась обструкция...

Обструкцией в тюрьме политические отмечали день Первого мая 1914 года. Накануне родственники потихоньку приносили какие-то свертки. Окна камер, обычно об-

лепленные заключенными, в те дни пустовали. Даже вечернего пения на этот раз не устраивали... Зато Первого мая тюрьма преобразилась. Железные решетки, выходящие во внутренний двор, были увиты красными лентами. Разрезав красную блузку, оказавшуюся на ней в день ареста, Конкордия Николаевна старательно мастерила флажок, красные полосы розданы были по другим камерам.

На угрюмом сером камне красный праздничный цвет был особенно ярок. Надзирательницы вывели первую партию заключенных на утреннюю прогулку. Конкордия Николаевна вцепилась в ржавую решетку, протянула руку с красным флажком, приветствуя столь необычную в тюрьме демонстрацию.

— Да здравствует Первое мая! — крикнула она.

По тюремному дворику понеслась песня. Из караульного помещения выскочил офицер. Он замахал руками, что-то прокричал надзирательнице. Появились солдаты, они начали теснить женщин к тюремному корпусу. На решетках трепетали красные флажки. Выстроившись в каре, солдаты дали холостой залп.

Москва, осень 1918 года

Поздняя осень разбросала опавший лист. На дорожках вдоль Кремля серебрились изморозью жесткие кустики травы. Москва-река накатывала на опоры мостов тяжелые маслянистые волны. Красными гусеницами застыли трамваи с фанерными щитами вместо окон. Пулевые вмятины в зубчатых кремлевских стенах, поврежденная артиллерийским снарядам Спасская башня — все говорило о недавних грозных событиях.

Засунув руки в карманы широкого серого пальто, по дорожке задумчиво шла высокая женщина. Неторопливо

поправила прядь темных волос. На широкоскулом лице ее искрились карие, чуть раскосые глаза. Изгиб широких черных бровей, твердый упрямый подбородок выдавали характер недюжинной силы. С радостью, полной грудью вдыхала Конкордия Николаевна свежий морозный воздух... Она вновь в Москве, где ее окружало столько дорогих воспоминаний. Ей еще помнились баррикады пятого года. Казалось, она слышала канонаду... Здесь пряталась на конспиративных квартирах, разносила оружие, разбрасывала на улицах листовки, перевязывала раненых и укрывала дружинников... Через год опять оказалась в Москве, теперь уже после побега из вологодской ссылки. Пожалуй, это были самые тяжелые месяцы в ее жизни. За побег, в случае поимки, ее ждала каторга. А вокруг шпики... Каждый раз приходилось искать новое место для ночлега...

После революции Конкордия Николаевна не раз собиралась побывать в Москве, да все не могла выбраться.

И вот она наконец-то здесь, как делегат Всероссийского съезда работников.

Из Петрограда поезд уходил на рассвете. Сыпал мелкий дождь вперемежку с мокрым снегом. Пристанционные здания уныло стояли с черными провалами окон, подъезды заколочены, пути забиты мертвыми паровозами, покореженными вагонами.

К перрону подогнали поблескивающий лакированной обшивкой состав из пяти вагонов. Специально для женской делегации. Вороненой сталью сверкал паровоз с красными колесами. В недалеком прошлом это был личный поезд царицы Александры Федоровны.

Петроградская делегация была большой. Женщины в потертых пальто с удивлением разглядывали роскошный поезд, не решаясь даже притронуться к медным поручням. Просторные салоны, затянутые белым атласом, освещивали огромными зеркалами в золоченых рамах. Сверкали

инкрустированные серебром столики из красного дерева.

На этот раз расставание с мужем было не столь тревожным, как прежде. Наконец-то они свободные люди в свободной стране. Не надо больше скрываться, бояться ловушек, придумывать разные небылицы. Иногда, как дурной сон, вспоминались бесчисленные аресты, допросы и эта вереница служителей порядка, надзирателей, городских, жандармских офицеров, которые так неотступно следовали за ней всю ее молодость.

А теперь дел непочатый край.

Делегатки сидели притихшие, смущенные. Впрочем, это продолжалось недолго. На атласные подушки с золотыми цветами сбросили заштопанные шерстяные платки. Сняли со столика мраморную Венеру, отодвинули бронзовую лампу. Раскрыта ученическая тетрадь. Делегатки, перебивая друг друга, коллективно сочиняли приветствие Всероссийскому съезду. Конкордия Николаевна записывала и корректировала текст. Потом все ставили свои подписи. Крупные, корявые буквы прыгали по листку ученической тетради.

...Москва встретила делегатов приветливо. На Николаевском вокзале гремел оркестр, развевались красные знамена. И тут же Конкордия Николаевна узнала, что заседание отложили: не закончил свою работу Шестой Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов. Делегаткам предложили пойти на Красную площадь, где должен был состояться парад.

И сегодня, в день парада, Конкордия Николаевна с удовольствием прошла вдоль Кремля. По крутому подъему поднялась на Красную площадь. В голубой выси застыли разноцветные купола храма Василия Блаженного. Искрился первый снег на широких плечах Минина.

У Кремлевской стены, у Братских могил, стояла группа людей. Конкордия Николаевна сразу узнала Владимира Ильича. Черное пальто с каракулевым воротником, такая

же каракулевая шапка, на отвороте алел красный бант. Засунув руки в карманы, он оживленно разговаривал с Яковом Михайловичем Свердловым. Свердлова Конкордия Николаевна узнала по черной кожаной куртке. Свердлов, увидев ее, приветливо улыбнулся. Владимир Ильич о чем-то спросил Надежду Константиновну. Как она похудела и осунулась за дни болезни Владимира Ильича! Свердлов подошел к Конкордии Николаевне. Быстрым движением стянул кожаное кеши. Густые волнистые волосы упали на высокий лоб. Темные глаза поблескивали сквозь стекла пенсне.

— Слышали о событиях в Германии? — пророкотал его густой, поистине шаляпинский бас. — Все это может закончиться только революцией!

— «Тираны дрожат, их короны, как призраки, тают!» — посмеиваясь, ответила Конкордия Николаевна.

— Уитмен? — деловито осведомился Свердлов и, секунду подумав, кивнул: — Да, конечно, Уитмен.

— А Красную площадь не узнать! — заметила Конкордия Николаевна. — Помолодела, стала веселой... Красные транспаранты, кумачовые стяги, цветы...

— Маркс говорил, что парижские коммунары штурмовали небо, — вновь забасил Свердлов. — Мы штурмовали и небо и землю! — Он поднес к близоруким глазам карманные часы, щелкнул крышкой. — Двенадцать часов! Первый парад в истории освобождения человечества!

Воздух, прозрачный и синий, содрогается от грохота оркестров. На Красную площадь через Иверские ворота вливаются потоки демонстрантов. Колышутся красные знамена. Накатывается гул голосов. Конкордия Николаевна радостно протягивает руку Свердлову.

— Мы знали столько лет лишь борьбу без победы...

— А теперь победа, Конкордия Николаевна! Победа! — отвечает ей Свердлов. — Таков исторический ход событий.

А люди все идут и идут. Трещат красные знамена, блестит медь оркестров, воздух наполняет рокот аэроплана. Конкордия Николаевна поднимает голову: неуклюже плывет аэроплан, похожий на стрекозу, оставляя в морозном воздухе белые разводы. На площадь, медленно кружась, оседают листовки.

Мимо Братских могил проходят колонны рабочих, четко печатая шаг, с винтовками за плечами, с красными звездочками на фуражках. За ними — красноармейцы. На солнце поблескивают штыки, начищенные пряжки кожаных ремней. Шинели потемнели от порохового дыма, дырявые сапоги обмотаны проволокой. Но какая сила и уверенность в шаге! Владимир Ильич приветливо поднял руку.

Упряжки лошадей тащат пушки, и они грохочут на крупном булыжнике, стволы блестят вороненой сталью. Бородачи артиллеристы — в лихо заломленных фуражках. Из-за Иверских ворот на площадь вырывается конница. Гарцуют лошади, сверкают остроконечные клинки. Эскадрон за эскадроном.

— Такая армия будет непобедима! Красные командиры, дети народа, будут иметь среди солдат авторитет!.. — доносится до Конкордии Николаевны голос Ильича. — Царское офицерство ничего общего не имело с солдатами. Теперь мы едины, и наша армия сильна.

Перекликаются оркестры. Мелькают красные косынки работниц. Конкордия Николаевна подалась вперед, приветливо помахала рукой. Мимо Братских могил проходила колонна женщин-работниц. Ветер, словно парус, надул стяг. Заискрились серые глаза Надежды Константиновны. Она высоко подняла руки, аплодирует. Женщины идут, не отрывая глаз от Владимира Ильича. Не беда, что нет стройности в их шеренгах.

— Прав, бесконечно прав Бебель: не может быть полного освобождения человечества без установления

социальной независимости и равноправия... Работницы на Красной площади! — обращается Конкордия Николаевна к Надежде Константиновне.

— Женщины помогут строить социализм! Это давнишняя мечта Владимира Ильича. Но прежде их нужно раскрепостить — ясли, детские сады, общественное воспитание... Интересы у большинства ограничены рамками семьи... В деревнях, кроме как к колодцу, куда ходят за водой, пойти-то некуда.

Демонстрация обтекает Лобное место и уходит далеко-далеко за собор Василия Блаженного.

В Дом Союзов, где начинал свою работу Всероссийский съезд работниц, Конкордия Николаевна пришла пораньше. Беломраморная лестница покрыта красной сукопной дорожкой. В плетеных корзинах — голубые шапки гортензий. Огромные зеркала отражали делегатов, поднимавшихся на второй этаж. Большинство женщин в красных платках. По натертому паркету осторожно шла крестьянка в темной домотканой юбке. Голова повязана черным платком, поверх него — красная косыпка.

Конкордия Николаевна смотрит на крестьянку и прячет улыбку.

— Товарищ Наташа! На-та-ша!

Энергично работая локтями, к ней направляется невысокая женщина. Лицо знакомое... Ну да, конечно, Екатеринослав, 1903 год. Арест на квартире Ястребова в Чечеловке. Чистенький, выбеленный известью домик, рабочий кружок. Конкордия Николаевна радостно шагнула навстречу. Обнялись, расцеловались.

— Все там же, в Екатеринославе, под паровозные гудки просыпаетесь? — пошутила Конкордия Николаевна.

— Да нет. Крестьянствую. Муж погиб, мальчонка чухоткой заболел, вот и подалась в деревню.

— Ну и как?

— Меня в комбед выбрали...

Колонный зал залит светом, сверкают огнями люстры. Тяжелыми складками падает бархат знамен с массивными золотыми кистями. Под высокими сводами перекачивается глухой гул. Через широко распахнутые двери в зал входят делегатки. В потертых шерстяных платьях и застиранных ситцевых кофточках. На роскошные дорожки ступают юфтовые ботинки и резиновые боты, сапоги и даже лапти. Идут женщины. Молодые и старые.

Напротив главного входа на возвышении расположился президиум. Большой длинный стол, покрытый красным сукном, уставлен цветами.

Конкордия Николаевна любит ими. Особенно хороши белые хризантемы, пушистые, словно завитые.

Слышатся радостные приветствия, оживленные голоса. Колонный зал, строгий и чинный, напоминает сегодня потревоженный муравейник. Сколько счастливых лиц, радостных глаз, смеющихся губ! Вот она, поднялась матушка-Россия!

Конкордия Николаевна узнает питерских делегатов, она крепче прижимает папку к груди и устремляется сквозь поток. Но ее перехватывает Яков Михайлович Свердлов.

— Скоро начнем, Конкордия Николаевна,— пробасил он, поправляя высокую дужку пенсне. Потом взглянул на ее разгоряченное лицо, дружески взял за локоть: — Волнуетесь? Наконец-то в жепском движении начинается период бури и натиска.

Конкордия Николаевна кивнула.

Свердлов закашлялся, глухо и надрывно. Она тревожно покосилась на него: бледный, худой, с пожелтевшей кожей и воспаленными от бессонницы глазами.

— «Период бури и натиска... Бури и натиска...» — кто-то повторил эти слова рядом.

Она оглянулась. Обрадовалась:

— А, Емельян!

Перед ней стоял Ярославский. Высокий, рослый. Сильные крутые плечи плотно обтягивала черная косоворотка. В серых глазах радость встречи.

— Как с докладом, Емельян? — поинтересовалась Конкордия Николаевна. — Мы поставили его на третий день. Очень нужно умно и живо, как вы умеете, рассказать делегаткам о религии. Именно среди женщин религия пустила глубокие корни. Да не вам мне объяснять. История русской женщины-работницы...

— История! История!.. — перебил Конкордию Николаевну Емельян. — «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта...»

— «Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность», — с улыбкой докончила она любимые ею строки Чернышевского. — И все же, если вы сумеете донести до сердца русской работницы понимание вреда поповщины, презрения церкви к иноверцам, то партия получит горячих сторонниц в борьбе за отделение церкви от государства.

Емельян покачивал крупной головой. Вопросы религии его интересовали с давних пор. Еще в якутской ссылке написал немало статей по истории религии.

— Так договорились? Доклад о религии за вами... Что слышно о Клавдии Ивановне?

Конкордия Николаевна знала, что Клавдия Ивановна Кирсанова, жена Ярославского, находилась где-то в отъезде. Ярославский горячо любил жену и сильно тосковал.

— На Северном Урале она, в Надеждинске. Беляки напирают. Недавно вывез оттуда детишек, а Клавдичка осталась. Сутками не выходит из Совета... Конечно, и в Надеждинске нужно кому-то работать, но плохо детишкам без матери...

Конкордия Николаевна смотрела на Ярославского с сочувствием: знала, что детишек ему приходилось брать даже на артиллерийские маневры.

— Вы знаете, Конкордия Николаевна, — вновь заговорил Ярославский. — Марьяна на деревья Нескучного сада смотрит с завистью. Да, да, завидует, что липы уж очень толстые. Когда мы сумеем накормить республику?

— В Москве, говорят, увеличивают хлебный паек на четверть фунта...

— Увеличение пайка на сто граммов — это проблема номер один! — сказал Свердлов, вновь появившийся из толпы. — А сейчас нужно монастыри отдать под приюты. — Он вынул маленькую книжечку и тонким карандашом сделал запись. — Надежда Константиновна приехала.

Надежда Константиновна приветливо поздоровалась с Конкордией Николаевной.

— Какой славный день! Прошел уже год после революции, а для подлинного раскрепощения женщин сделано еще так мало. — Надежда Константиновна сокрушенно покачала седеющей головой.

— Годовщина революции! — Ярославский засмеялся в пушистые усы. Серые глаза его потеплели. И, улыбнувшись какой-то своей мысли, он повторил: — Годовщина!

— Как Владимир Ильич? Будет ли на съезде? Делегатки так ждут встречи с ним, — сказала Конкордия Николаевна.

— Дел множество, но обещал... Да, Конкордия Николаевна, мне показали стихи, посвященные пролетаркам. Написала их работница Берсеневской фабрики. Передаю вам, как старому правдисту. Автор стоит вон у третьей колонны, — Надежда Константиновна поискала женщину глазами, кивнула ей. — Поговорите, пожалуйста.

Конкордия Николаевна направилась к работнице, на которую ей указала Крупская. Женщина была молодая, с голубыми мечтательными глазами.

— Ваши стихи Надежда Константиновна передала мне.

— А можно мне их вам прочитать? Умру, если сегодня не узнаю ответ.

Конкордия Николаевна рассмеялась, махнула рукой:

— Читайте, что с вами поделасшь!

Женщина откашлялась. Лицо ее побледнело. Она покачивала головой, прикрыв глаза:

Трудиться нам не привыкать,
Труд страшен только барам.
Спешите ж, сестры, помогать
Героям-коммунарам!
Вперед, к всеобщему труду!
Вперед, к мечте заветной!
Скорее свалим с плеч пужду,
Вперед же, к жизни светлой!

Женщина умолкла. Глаза ее с надеждой и волнением были устремлены на Конкордию Николаевну.

— Что ж, по мысли стихи интересные. Только вот форма... Учиться нужно, непременно учиться... Стихи оставлю у себя. Вечером встретимся.

Женщина вспыхнула. Конкордия Николаевна положила листок со стихами в папку. Прозвенел звонок.

...В Колонном зале наступила торжественная тишина. Конкордия Николаевна сидела в президиуме, оглядывала зал. Вот они, делегатки, собранные со всех уголков России.

На трибуну поднялась пожилая женщина в трауре. Конкордии Николаевне виден ее строгий профиль и седые локоны высокой прически. Это Кистеннен, возглавляющая финскую делегацию. Волнуясь, рассказывает она о зверствах реакции. Восстание в стране, вспыхнувшее после революции в России, подавлено. Тысячи замученных, тысячи обездоленных. Расстрелы без суда и следствия. По дорогам бредут нищие, голодные дети, родители их за ко-

лючей проволокой концентрационных лагерей. Братские могилы русских и финских коммунистов сровняли с землей. Депутаты сейма в тюрьмах. Но рабочие Финляндии не теряют надежды...

В зале наступила грозная тишина. Замерла Конкордия Николаевна. Горестно покачивает головой Крупская.

По рядам пронеслось волнение. Делегатки поднялись. Минута молчания. Тяжкая торжественная минута, посвященная памяти павших.

Низко склонили головы делегатки. На трибуну поднималась девушка. Лица ее Конкордия Николаевна разглядеть не могла за огромным букетом белых хризантем. Девушка, поклонившись Кистеннен, протянула цветы. Тишина взорвалась бурей оваций.

Сегодня Конкордия Николаевна делала доклад, и, как всегда, было тревожно. Будет ли он удачен? Дойдет ли до сердец слушателей? И еще одно обстоятельство волновало ее — возможный приезд Владимира Ильича. Утром она переговорила с Надеждой Константиновной. Уверенности не было, — Владимир Ильич чувствовал себя после ранения не очень хорошо. В перерывах ей не давали прохода делегатки: все ждали Ленина.

Конкордия Николаевна, отбросив карандаш, принялась разглядывать зал. В первом ряду все эти дни с края сидит пожилая крестьянка. Ноги обуты в лапти. Кофта с высокими буфами на рукавах. Она не отрывает от оратора восхищенных глаз, аплодирует натруженными руками. Рядом поэтесса, как шутливо ее величает Конкордия Николаевна. В «Правде» Конкордии Николаевне удалось напечатать ее стихи. Товарищи посмеивались над столь горячей защитницей. Пустяки, человек крылья расправляет! Будет учиться, какие еще стихи напишет...

Колонный зал гремел от аплодисментов. В первом

ряду сидел Владимир Ильич. В зал он вошел незаметно и пристроился рядом с крестьянкой в лаптях. Крайнее кресло оказалось свободным. Владимир Ильич сидел в своей любимой позе и внимательно слушал докладчика, наклонив голову набок. Ленина узнали. Делегатки поднимались со своих мест, радостно аплодировали. Владимир Ильич сказал что-то сидевшей рядом женщине, она зарделась от радости, смущения, но слушала спокойно, с чувством достоинства. Овадия не прекращалась. Ленин вынул из кармана часы. Покачал головой и направился к трибуне.

Ильич на трибуне! После страшных дней болезни. На исхудавшем лице еще заметнее выступили скулы. Владимир Ильич поднял руку, приветствуя делегатов. Зал грохотал, содрогался от восторженных криков. Владимир Ильич спокойно ждал. Овации нарастали. Владимир Ильич с надеждой посмотрел на президиум. Конкордия Николаевна перехватила его взгляд, беспомощно развела руками.

— Ура товарищу Ленину!

— Да здравствует вождь мирового пролетариата!

Казалось, покачнулась огненная люстра, вот-вот рухнут белокаменные балконы! Их облепили делегатки, яркими маками вспыхивали красные косынки, которыми размахивали женщины. Крупская стояла рядом с Конкордией Николаевной. Она тоже аплодировала, взволнованно улыбалась.

Наконец Ленин показал залу на часы и решительно замахал руками, требуя тишины. Тишина наступила неожиданно. Ильич заговорил:

— Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины. Советская власть делает все, чтобы женщина самостоятельно вела свою пролетарскую социалистическую работу. Положение Советской власти трудно

постольку, поскольку империалисты всех стран ненавидят Советскую Россию и собираются на нее войной за то, что она зажгла пожар революции в целом ряде стран и сделала решительные шаги к социализму... До сих пор никакая республика не могла освободить женщину. Советская власть помогает ей. Наше дело непобедимо, так как во всех странах поднимается непобедимый рабочий класс. Это движение обозначает рост непобедимой социалистической революции.

Шквалом оваций ответил зал. Владимир Ильич улыбнулся, поднял руки и аплодировал делегаткам. К трибуне бежали женщины с букетами белых хризантем. Владимир Ильич сошел с трибуны, принял цветы и тут же положил их на красное сукно в президиум.

Торжественная и величавая мелодия «Интернационала» поплыла над залом. Делегатки пели. Владимир Ильич пел вместе с работницами.

Память сердца

Второй месяц нет писем от Аркадия Александровича. Конкордия Николаевна долго стояла у почтового ящика, не понимая, что случилось. Гроыхнула дверь в парадном. Почтальонша, пожилая женщина из питерских трикотажниц, поставила сумку, вздохнула, в глазах сострадание:

— И сегодня нет письмеца, Конкордия Николаевна...

Конкордия Николаевна привалилась к стене и развязала шерстяной платок:

— Аркадий Александрович такой аккуратист... Вы посмотрите получше...

— Странное дело — неделями пишу письма, да их некому вручать, а тут из души тянут... — Почтальонша привычно перекладывала письма, как колоду карт. — Вот

письмо Сторожевой Марии... А где ее искать? «Вручить незамедлительно»... Да-с... Здесь за ум взялись: «Передать каждому, кто знает о судьбе Сторожевой». Кому передать? Поди, весь дом сменился — кто в империалистическую погиб, кто в гражданскую... Кто к красным бежал, кто к белым... В каком краю искать Сторожеву?

— Обождите, товарищ! Вы же приносили мне письма от Аркадия Александровича. Поищите, родная... Бывает, что письмо заложат...

— Куда почтальон может заложить письмо?

— В газету, в журнал... И пойдет письмо путешествовать — чужому человеку оно ни к чему, а родному — крайне необходимо.

Почтальонша качала головой: беда с этими женщинами. — Держите, посмотрите сами.

Конкордия Николаевна начала перекладывать газеты, бандероль, чудом сохранившуюся. Письма нет...

— Катюша, спасибо. Только время отняла, — Конкордия Николаевна укладывала письма в сумку. — Как будет, так сразу несите. Хорошо? Если буду в Смольном, то позвоните... Я каждый день забегаю домой... Не забудьте...

Почтальонша молча кивала. Нет, нужно уходить на фабрику. Сил нет смотреть на страдания людей. В каждой семье горе — кого-то ищут, волнуются. Что она может сделать? Нет, пойдет в райком и вернется на фабрику, сюда надо кого-нибудь помоложе, у кого кожа потолще.

Конкордия Николаевна бессильно опустилась на ступеньку лестницы. Опять это чувство беспомощности. Пальцы распухли от голода. Кажется, в Германии она видела вывеску на пивном баре, где продавали сосиски. Румяный немец растопырил пальцы, толстые, как сосиски. А теперь и у нее такие руки. И ноги отекали. Ботинки выдавали по талончикам. Она работала в Смольном, и неловко было ей этот талончик получать. Спасибо, привыкла к резиновым ботикам.

Квартиру она занимала на Колпинской, крошечную, из двух комнат с дешевыми обоями. Окно в спальне забиты подушками, ванную заколотили. Аркадий Александрович так посоветовал — зима 1919 года была морозная.

Она вошла в пустую квартиру. Без Аркадия Александровича в ней было особенно грустно и уныло.

На комод в рамке из ракушек стоял его портрет. Они всегда смеялись — откуда такая шикарная вещь в квартире двух подпольщиков! По ее просьбе фотографию эту Аркадий Александрович сделал перед отъездом в Астрахань. На фотографии худой, глаза большие, грустные. Она тогда повязала ему галстук широким узлом, и он залихватски заломил шляпу. Так и получился в шляпе с лихо заломленными полями, а глаза больного человека. Больного от голода и истощения. Потому и упростила уехать с продовольственным отрядом. Петроград голодал — на человека полагалось в день по четверти фунта хлеба, клейкого, с мякиной. Изредка в столовой выдавали воблу или суп из конины — в котле, как утверждали острословы, крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.

Она всегда чувствовала себя физически крепкой, хотя Аркадий Александрович страшился за нее. «Голод и не такие дубы валит!» А сам становился все более вялым и молчаливым.

Судьбу поездки решили последние события. Конкордия Николаевна возвращалась с митинга. В кармане кожанки лежал паек — вобла, ее готовилась вручить с соответствующей моменту торжественностью, и хлеб, завернутый в газету. И вдруг она увидела впереди себя человека; он шел и спотыкался, как во хмелю, осторожно держался руками за стенку. Пальто было в грязных пятнах, видимо упал. От голода — поняла она и бросилась помогать. Подхватила за талию и, как могла, спокойно произнесла:

— Держитесь, товарищ!

И вдруг оцепенела: человек повернул лицо. Боже, Аркадий! Значит, упал в голодном обмороке и теперь едва волочил ноги.

Прижалась к мужу и в неудержимом порыве стала целовать его плечо. В груди поднялась такая волна нежности и страха за его жизнь, что она заплакала.

Аркадий был опечален еще больше, чем она: кому-кому, только не жене показываться в таком виде.

— Стыдись, милая! С чего меня взялась оплакивать. — Аркадий Александрович приободрился. — Поройся лучше в моих карманах — в одном хлебная пайка, а в другом — и догадаться не сможешь — вобла!

В тот день петроградскому активу выдавали за месяц первый раз хлебную пайку вместе с воблой.

— Кона, сварим из воблы суп... И соли не нужно — на барахолке добрую тысячу сэкономим. Поскребем по сусекам и отыщем десяток лапшинок — вот и пир! Славно я придумал? — Аркадий облизывал сухие губы и с трудом ворочал языком. — Нет, правда?

Конкордия Николаевна усадила его на тумбу на середине улицы. Замотала шею шарфом, застегнула верхнюю пуговицу. И не замечала, как по щекам текли слезы... Пайка в кармане... Значит, весь день был голодным. Она сняла платок и, не обращая внимания на его протестующие жесты, укутала ему голову.

— Ты посиди... Посиди... Потом на руках отнесем с кем-нибудь...

— Кона, милая! — Глаза полыхнули недоумением. — Ты меня за мужчину перестала считать.

— Дорогой ты мой! Пропаду без тебя! — Она уткнулась лицом в его пальто и продолжала всхлипывать.

— Вот и прекрасно, моя девочка! — Аркадий Александрович помолчал и, собравшись с духом, сказал: — Пожалуй, поеду в Астрахань. Нужно кому-то добывать хлеб! Детишки в Петрограде пухнут от голода. К нам, в

редакцию, женщины приходят за помощью. Что делать? Нет, определенно поеду.

Голод Аркадий Александрович переносил с трудом, она — как-то легче. Спасибо, поймала на слове — завтра скажет в продотряде. Пускай поедет в Астрахань, там, говорят, и хлеб, и вобла. А к лету дела с продовольствием наладятся.

Вобла, извлеченная из кармана, не сотворила чуда — лежала на кухонном столе скрученная, с проступившей солью. Она уложила Аркадия Александровича в постель и принялась растапливать буржуйку старыми журналами. Отсыревшие журналы долго тлели, потом ярко вспыхивали и вмиг прогорали. Пришлось разломать стул. Пока варила баланду, Аркадий Александрович уснул от слабости. Она ходила на цыпочках и боялась его потревожить. Потом подала ему суп в постель.

...И еще припомнился день, когда отряд питерцев с вещевыми мешками за плечами шагал к вокзалу. Вместе с другими женщинами и она провожала мужа. Шла по тротуару и боялась упустить из виду Аркадия Александровича. Он выделялся высоким ростом и сугубо штатским видом — сутулый, с длинными руками. Вещевой мешок он волочил по земле. Она была счастлива. Поволжье, по которому пролегала дорога на Астрахань, в ее разгоряченном воображении казалось страной сказочного изобилия — там и хлеб, и рыба, и конина. И как ни страшила разлука, она была довольна, что он туда едет. Эта поездка спасет его от голодной смерти.

Аркадий Александрович выглядел непривычно: в кожанке, болтавшейся на широких плечах. Шел, путая шаг, временами оборачиваясь, пытаюсь отыскать ее в толпе. Лицо его обиженно вытягивалось.

«Да, плохо ему будет одному в Астрахани...» А потом успокаивала себя: «Ничего, время пробежит незаметно, с продовольствием дела наладятся».

На вокзале была обычная суeta. Гудели маневровые паровозы. Толкались очумевшие от неизвестности и ожидания пассажиры с сундучками, перехваченными для верности веревками. Сидели на мешках бабы. Все кричали, куда-то спешили, тормозили задержанного дежурного по вокзалу. Поезда ходили без расписания, и время отправления никто не знал. В первую очередь пропускали военные эшелоны. И тогда толпа замирала. Уходил бронспоезд с матросами на юг. Тишину разрезал басовитый гудок паровоза. И опять поднималась суeta. У окошка с вывеской «Касса», казавшейся допотопной, собирались раненые солдаты, кричали осипшими от махры голосами, колотили забинтованными кулачищами.

Конкордия Николаевна дивилась подвижности людей. Словно встречные потоки, сталкивались они на вокзале — одни, гонимые голодом, приезжали в город на заработки и поиски куска хлеба; другие, измученные неустроенностью, бежали в деревни в надежде отсидеться в тиши и спасти детишек.

Продотряд стоял на перроне. Суетился начальник станции. Кричал дежурный, размахивая закрученными красно-зелеными флажками. Конкордия Николаевна, привыкшая к организованности, хотела вмешаться и навести порядок, но, взглянув на усталое лицо Аркадия, махнула рукой. Конечно, эти последние минуты лучше провести с ним. Слова не имели значения — просто вслушивалась в звуки любимого голоса. И опять ужаснулась противостественной худобе мужа. Рядом плакала молодая женщина. Громко всхлипывала и утирала нос углом платка. Парень смущенно переминался с ноги на ногу и трогал ее за рукав, показывая глазами на толпу. «Верно, молодожены,— подумала она,— еще не научились расставаться».

Странно, но, когда подали состав и отряд начал погружаться в вагоны, она сама была готова зареветь, как

эта молодайка. Аркадий бережно взял ее за плечи и привлек к себе. Поцеловал пеловко — не признавал нежностей на людях.

Тяжело загудел паровоз, громыхнули буферные тарелки и замелькали колеса. И тут прикатил грузовик с красными полотнищами на бортах. Спрыгнули музыканты и начали играть марш. В общую разноголосицу вплелись голоса медных труб и барабанов. Суматоха нарастала — кто-то потерял свой вагон, кто-то торопился с чайником для кипятка. Поезд набирал скорость. Она бежала за товарным вагоном, и долго-долго, пока состав не скрылся за поворотом, ей чудилось, что Аркадий машет шляпой.

Над городом висел рыхлый туман, моросил косой дождь, и она радовалась примете — в дождь уезжает, дорога будет счастливой!

И действительно, через три дня начала получать письма. Встревоженные и полные заботы. С неизменным юмором описывал он свои злоключения: как отстал от поезда, простояв в очереди за кипятком, как свалился с багажной полки, как воевал с бандой, отстреливаясь в лесу, как рубили лес, подкармливая паровоз, как плыли по пустыне равнодушные верблюды, рассказывал и о людях, прекрасных и замечательных, — других людей он не встречал — и об обстановке под Царицыном. Были слухи, что город захвачен казаками, пароходное сообщение прервано, и Аркадий Александрович боялся, что это помешает работе отряда.

Конкордия Николаевна встала. С огорчением принялась рвать журналы. Эта печка, именуемая буржуйкой, была на редкость прожорливой. Стулья кончились, пришлось пустить в ход кухонный стол.

Аркадий Александрович обещал приехать к Новому году. И не приехал. На комодѣ стояла елка, украшенная красными бантами и свечами, неожиданно обнаруженными в чулане. От буржуйки падал красноватый, тревожный

свет. Потрескивали ножки стола, расползлся дым от сырого полена — новогоднего подарка трикотажниц.

Она сидела у печки на маленькой скамеечке, разомлев от тепла. В руках пачка писем. Она знала их наизусть и все же пробегала глазами, словно разговаривая с Аркадием Александровичем. Слышала его глуховатый голос, тихое покашливание. Она проводила рукой по лицу, словно отгоняя наваждение. А память выступала из каждого угла, звала ее и манила. Наконец она нащупала то письмо, в желтом конверте, последнее.

«Астрахань, 22 декабря, 1918 год.

Дорогая Дюся! Сегодня получил твою телеграмму, отправленную на имя Преображенского (муж Кочетовой). Каким образом телеграмма попала туда, совершенно не понимаю, но все равно.

Сегодня же сдал телеграмму ответную для отправки тебе, которую завтра должны отправить, и завтра же или послезавтра пойдет это письмо. Дело в том, что телеграммы идут бесконечно медленно по почте, чуть ли не целую неделю, а то и больше, потому что по получении валяются где-то, пока не доставят. К сожалению, как видишь, я еще остаюсь в лазарете. Дело в том, что я совсем оправился от дизентерии и должен был дня через три совсем выписаться, как телеграфировал тебе. Я даже два раза уже выходил на улицу. Но в это время совершенно неожиданно у меня началось повышение температуры, которая систематически держалась и не падала. Пришлось опять слечь и отказаться пока от мысли о выходе из лазарета. Сначала врачи думали, что малярия, но потом выяснилось, что, возможно, у меня начинается тиф, которым я мог заразиться под конец своего пребывания здесь, в лазарете. Однако, несмотря на высокую температуру, я чувствую себя неплохо, довольно бодро хожу, читаю газеты и книги — словом, провожу время так же, как и прежде. Не знаю, конечно, как будет дальше, но пока самочувст-

вие хорошее. Конечно, поворот неожиданный и неприятный, т. к. придется, быть может, застрять здесь еще на неделю. Но что делать?

Ты, дорогая, не падай духом и не отчаивайся, отнесись спокойно и мужественно, ведь в жизни всякое бывает. Я, по крайней мере, сам совершенно спокоен, перенес одну болезнь, окреп, надеюсь, что перенесу благополучно и другую. Старший врач тут прекрасный человек, хорошо ко мне относится и приложит, конечно, все старания, чтобы я выздоровел...»

Конкордия Николаевна улыбнулась. И там, в далеком госпитале, в Иоанновском монастыре, Аркадий нашел еще одного прекрасного человека! Дорогой и добрый мой друг!

«...Итак, дорогая, я умоляю тебя — не падай духом, будь бодрой и спокойной, ведь ты твердая духом. Надеюсь, что все обойдется благополучно, дай срок. Будь здорова, крепко целую, пиши и жди от меня известий, но знай: и письма, и телеграммы идут медленно.

Целую, обнимаю, *твой Аркадий*».

Конкордия Николаевна проглотила слезы. Отложила письмо и принялась железным прутом шевелить угли. Огонь разгорался неохотно. Сырое полено, серовато-белесое, с красными огненными прожилками, злобно сипело. Острыми язычками вдруг ярко вспыхнула ножка стола. Конкордия Николаевна наклонилась и подула на нее. Языки пламени поднялись вверх, комната осветилась и повеселела. Тени от ночного столика и шкафа расползались по углам. Она блаженно вытянула ноги, радуясь теплу. И мысли потекли спокойнее. Тон письма мягкий, приветливый. Значит, жив! И не может судьба отнять его у нее, такого доброго, такого любящего. Просто голод да и работа тяжкая утомили ее. Вот вернется Аркадий, и она возьмет несколько дней — отоспится да и за мужем после такой болезни хорошенько поухаживает.

И опять она берет в руки письмо. Строки перовные, буквы косые, наползают друг на друга. Как она не попяла сразу — ведь он писал, когда у него был жар! Буквы метались, кричали, звали на помощь. Болен, очень болен...

Она резко встала, привычным движением заправила платок за ворот кожанки. Она поедет в Астрахань, умирает ее муж. Поверила спокойному тону письма, словно не знает Аркадия. И как это она пропустила! «Сначала врачи думали, что малярия, но потом выяснилось, что, возможно, у меня пачинается тиф, которым я мог заразиться под конец своего пребывания здесь, в лазарете...» Тиф... На ослабленный голодом и дизентерией организм!

Она распахнула дверцу печи, чтобы поярче осветить комнату, лихорадочно принялась выбрасывать вещи из шкафа и складывать в дорожный мешок.

Кто-то постучал в дверь. Резко и сильно. Конкордия Николаевна насторожилась. Выпрямилась и, преодолевая волнение, подошла к двери. Почтальон. В опухших от голода руках сумка, потертая книжка и карандаш. Телеграмма. Она пытливо смотрела на почтальона, стараясь разгадать, с чем он пришел. Тот понял ее состояние, сказал, растягивая слова:

— Держи телеграмму...

Она плохо помнила, что делает. Ее бил мелкий озноб, липкий холодный пот проступил на лбу. И, не узнавая своего глухого голоса, спросила:

— Телеграмма из Астрахани?

Почтальон надел очки — дужки завязаны суровой ниткой — и сунул женщине зажженную свечу. Разорвал ленточку телеграммы:

— «Здоровье наступило ухудшение пришлось задержаться лазарете приезжать тебе пока не надо посылаю заказное письмо адрес Иоанновский монастырь лазарет мне Аркадий». — Почтальон аккуратно сложил очки, не зная, чем успокоить женщину, сказал: — Видишь, елки-

моталки, живой! Приезжать пока не велит.— И, увидев, как потемнело ее лицо, заключил: — Ну, гражданочка, потопаю...

Хлопнула дверь. Колыхнулось пламя свечи. Желтоватый круг расплылся по запыленному зеркалу, прибитому в прихожей. Значит, приезжать не велит. Боится — дорога долгая и трудная. Тиф, холера свирепствуют в Поволжье. Конечно, боится. Нет, сладкой ложью покой не купить! Уважение к воле Аркадия было так велико, что послушаться она не могла. Значит, послал письмо, теперь придется набраться терпения и ждать.

Закрыла машинально дверь на цепочку. Мешок с вещами засунула в шкаф. И опять устроилась у буржуйки.

...Летний сад. Когда это было? Да, конечно, в 1909 году. Освободили ее из Литовского замка, где провела десять месяцев. Тогда провалился Петербургский комитет РСДРП. Охранка не смогла доказать их принадлежность к комитету. Свиданий с мужем не давали: брак был гражданский, охранка требовала церковного свидетельства. Аркадий приехал из Харькова, хлопотал о свидании, но безрезультатно. Был процесс. Увиделись в зале суда. Он на местах защиты, а она — на скамье подсудимых!

И только зимой она вышла из тюремного замка. Аркадий Александрович не встретил ее в канцелярии. С освобождением тянули и точного дня не говорили. Она топталась у ворот, прижав к груди узелок с вещами, оглушенная улицей. Кружилась голова, ноги были словно ватные.

Падал снег, синий от ранних сумерек. Легкий и пушистый, он облепил деревья, прикрыл дорожки Летнего сада. Лишь зеленели туи да лапник, которым укрыли розы. Почему она пошла в Летний сад? Видимо, устала от дороги и присела на скамью рядом с богиней Правосудия. На глазах богини была глухая повязка. Она улыбну-

лась про себя. Правосудие! Первые часы выхода на свободу были очень счастливыми. Небо в снежных облаках едва не касалось вершин деревьев. Она подняла воротник пальто — отсидела десять месяцев, а одета по сезону. Вот выпустили бы летом, и было бы смешно в зимнем пальто. И опять улыбнулась. И вдруг услышала, как заскрипел снег под чьими-то быстрыми шагами. На аллее показался Аркадий. Стремительный. В распахнутом пальто. С развевающимся шарфом. На бобровой шапке хлопьями лежал снег. И в глазах сумасшедший восторг, как в день первого знакомства. У нее не было сил подняться навстречу. На лице застыло беспомощное выражение. А он широко раскинул руки, перепрыгнул через клумбу, проваливаясь в мокрый снег. Стреб ее, прижал к груди и целовал мокрые от снега глаза, щеки, губы.

— Девочка моя... Девочка...

Укрыл ее полрой своего пальто. Напялил бобровую шапку и в счастливом ослеплении забросил в кусты узелок с тюремными вещами. Она прижалась к нему. Слава богу, вместе... После разлуки наступил покой. Думать ни о чем не хотелось. Вместе! Она не сразу сообразила, что нужно куда-то идти. Квартиры в Петербурге не было, где жил Аркадий, не знала. Трудно сказать, сколько они просидели в Летнем саду. Воротник его шубы разбух от снега.

— Как ты догадался, что я окажусь в Летнем саду? По-моему, мы не договаривались?

— Я всегда знаю, где ты. Знаю душой. — Аркадий помолчал и грустно закончил: — Я стал суеверным после нашей встречи. Чувствую и физически болею, когда с тобой приключается беда. От меня ничего не нужно скрывать! Ничего...

— Ты впадаешь в мистику! — попыталась пошутить Конкордия Николаевна.

— Нет, Кона! Это не мистика, это любовь. — Аркадий

стал печален.— Как насадка, я пытаюсь оградить тебя от бед, молю бога, чтобы все несчастья обрушивались на мою голову.

— Да о чем ты говоришь? Замолчи, дорогой!

— Нет, Кона. Я хочу, чтобы ты была счастлива и здорова.

Она вздрогнула — так явственно здесь, в холодной квартире на Колпинской, почудился ей голос Аркадия Александровича.

— Я запрещаю приезжать тебе в Астрахань. Запрещаю... Это для других ты сильная, а я-то знаю, какая ты слабая и непрактичная. Как без меня пускаться в такой путь? Безумие и авантюризм! Поправлюсь и сам приеду. Ты должна слушаться — поправлюсь и приеду. И еще одно, Кона! Больше мы никогда не расстанемся. Никогда! Постарели, да и сил мало, чтобы переносить разлуку.

Значит, она задремала. И буржуйка за это время прогорела.

Конкордия Николаевна боялась открыть глаза. Знала: как только откроет — сразу улетучится сладкий сон, и она увидит, что рядом нет Аркадия, что она одна в пустой и нетопленной квартире на Колпинской. Одна! «Господи,— подумала она в суеверном страхе,— что там с ним? Жив ли?»

Весна 1921 года была тревожной. Голод, разруха, гражданская война. Конкордия Николаевна отправилась в свою вторую поездку по Волге на агитпароходе «Красная Звезда». Мелькали города, селения. Она стояла на палубе и вспоминала события последних двух лет жизни.

Последние дни

Сколько может человеческое сердце помнить? Сколько может страдать и мучиться от невозполнимой утраты? Вечно, вернее, пока жив человек, испытывавший эту боль.

После смерти Аркадия Александровича прошло два года. Конкордия Николаевна не находила себе места. Разумом понимала, что он ушел из жизни, что его нет, но сердцем не могла смириться. Временами ей слышался его голос, кто-то стучал в дверь, чудились грузные шаги, под которыми поскрипывали половицы. Казалось, вот распахнется дверь — войдет он, уставший, замерзший. В памяти ее жил Аркадий, добрый, любящий. Все случайное, мелочное, все, что временами отравляло их жизнь, ушло безвозвратно. Как часто, прислонившись к окну и глядя на залитую дождем улицу, она продолжала долгий и нескончаемый разговор с мужем! О чем? Да разве слова имели значение — обо всем, что беспокоило и требовало ответа! И картины былого, освещенные любовью, выплывали так явственно. Память перебирала ушедшее с бережливостью скряги. Часто они с Аркадием бывали в разлуке. Почему она не ценила тех дней и часов, которые могли провести вместе. Могли, но не провели! Конечно, тому виной обстоятельства, часто разлуки происходили не по их вине — разводили дороги подполья. Но если бы она на мгновение могла представить, что останется вот так, одна, то многое было бы по-другому. Не покидало чувство вины, что когда-то была холодна, мало ценила его неназойливое внимание и преданность. Горе опустошило ее. Она чувствовала себя одинокой и больной. Аркадий умел понимать ее, умел жалеть. От любящего взгляда, мягкого голоса, исходявшего от него тепла она чувствовала себя счастливой. Она знала, что в мире есть человек, который без нее не может жить. Она была нужна ему! И каждый раз после трудного и долгого дня она спешила домой и знала, что он ее ждет.

Как ни тяжела была порой разлука, но за далью разлуки ожидало свидание и радость встречи. Перенесенные опасности молодили чувство, заставляли ценить его и беречь, воскрешали любовь и рождали привязанность. Да,

за разлукой всегда стояла встреча, за одиночество наградой была любовь! А теперь? Пустота! Как примириться с тем, что человек ушел из жизни! Она не могла поверить, что его нет на земле. Эта категория долго была для нее абстрактной: нет на земле... Какие страшные и чудовищные слова. Что делать ей, для которой он жив?!

Шло время, и безысходное отчаяние сменилось глубокой и молчаливой тоской. Она встречалась с людьми, что-то делала. Но делала по инерции и как бы глядя на себя со стороны. Она раздвоилась, и один человек осуждал другого.

Ей все чаще хотелось быть одной. Она замкнулась в своем горе. Часто думы и желания оставляли ее, она неторопливо перебирала в памяти их встречи, разговоры. Иногда тихо плакала.

Человек, ушедший из жизни, живет до тех пор, пока есть сердце, которое хранит ему верность. Для Конкордии Николаевны Аркадий Александрович оставался живым.

И было еще одно обстоятельство, которое не давало возможности поверить в смерть мужа. Она не видела его мертвым. И было невозможно представить себе, что Аркадия нет. Если бы она испила горькую чашу до дна и в тяжкие дни обрядила бы мужа в последний путь, сложила бы ему руки на груди... А так по письму неизвестных людей поверить в его смерть не могла. Память — и великая утешительница, и великий враг человека.

Она часто уставала от воспоминаний и проводила рукой по лицу, пытаясь их отогнать. Отогнать, но как? Все существо жило былым, и нужны были силы, и немалые, чтобы вновь вернуться к жизни.

...Тихо шумела река. Вечерело. Красный шар солнца упал за горизонт, и на реке вспыхнула яркая узенькая дорожка.

Конкордия Николаевна, поеживаясь от холода, ушла в каюту. Села к столу и принялась перебирать бумаги.

Мысли ее вновь вернулись к тем далеким дням. Она достала черновик письма к Зеликсон, отправленного ей после приезда в Самару.

«Дорогая Ольга Петровна!

На днях я получила Вашу записочку и теперь пользуюсь случаем, чтобы написать Вам несколько слов и послать свой привет. Как Вы живете, как себя чувствуете? Приезжавший от Вас товарищ передавала, что Вы себя чувствуете неважно, что вид у Вас очень утомленный. Мне кажется, что Вам давно пора было бы отдохнуть, взять отпуск хотя бы на месяц, и Вы могли бы приехать сюда немного отдохнуть. Адрес мой: Самара, Советская улица, редакция газеты «Коммуна».

Здесь, в Самаре, работа идет нельзя сказать чтобы важно; публика какая-то пассивная и вялая, посещает только собрания, но особой активности в работе не проявляет.

Я работаю здесь в редакции «Коммуны», фактически одна составляю всю редакцию, и работать приходится очень много. Кроме того, вхожу в губернский и городской комитеты и в Бюро работниц. В общем, целый день занята, но самочувствие мое душевное по-прежнему страшно тяжелое. Здесь меня невыносимо гнетет тоска и одиночество, так что я с трудом нахожу в себе силы для жизни. Горе, которое я пережила, так меня надломило, что я работаю с каким-то надрывом и подчас испытываю невыносимые душевные страдания, ухожу из дому и не могу совсем оставаться одна, а когда я на людях, то мне все равно кажется, что я одна во всем мире. Мне страшно тяжело, а тут еще общие события такие гнетущие, все события последних дней в Москве и ужасное положение на фронте; все это заставляет переживать массу тяжелых минут, и переживать их мне теперь приходится совсем-совсем одной.

Ну, довольно об этом и о себе. До сих пор я не получи-

ла никаких известий из Астрахани и не знаю, как погиб мой дорогой друг, ни от кого не могу этого добиться. Не видали ли Вы его брата и не получали ли каких-либо известий от Вашего знакомого врача из Астрахани?

Ну, простите, дорогая, больше писать не могу, мне очень тяжело. Напишите мне обо всем, о себе. Целую Вас.

Ваша Наташа».

И опять память распахнула страницу былого. Она вспомнила свою комнатенку в Самаре.

В тот вечер, когда было написано письмо, она вернулась домой из редакции и особенно сильно почувствовала свое одиночество. Она присела на корточки и подбросила дрова в буржуйку.

Да, тогда она жила в Самаре. Петербург был связан с Аркадием. Казалось, жизнь шла по-прежнему, но в жизни не было главного — Аркадия. Страдание стало непереносимым, она перебралась в другой город. Надеялась, что незнакомая обстановка, новые люди отвлекут ее, а суровая работа поглотит воспоминания. Надеялась, но жизнь была безжалостной — Аркадий и здесь заполнял мир.

С того момента, как она получила письмо из Астрахани, все слилось в одно слово — страдание. Какой-то незнакомый человек коротко сообщал о смерти Аркадия Александровича и в конце выразил соболезнование. Она читала и не понимала смысла письма, и, если бы не эти равнодушные слова соболезнования, она бы ничему не поверила. Она еще и еще раз перечитывала письмо, пока буквы не стали сливаться, а сам текст не покрылся черной пеленой. Сердце ее сжалось, она вскрикнула и потеряла сознание.

Январь 1919 года был холодным. Она металась в жару, задыхалась от удушья и хотела умереть. Горе подавило все: и разум, и чувство долга, и инстинкт самосохра-

нения. Умереть — вот все, к чему стремилась. В памяти сохранилось немного от тех дней. Приходили люди, успокаивали, уговаривали принять лекарство, поесть. Запомнился путь на извозчике в больницу. Она не хотела ехать, сопротивлялась, но питерские работницы, хорошо ее знавшие, закутали в пальто мужа, нахлобучили его шапку, были ласковы и настойчивы, особенно Прасковья. Она обхватила ее цепкими руками, прижала к себе и все присказывала: «Горе горькое по горам ходило, горем ворота подпирало». И эту присказку сберегла память. Запомнилось и настойчивое желание сбежать от людей, спрыгнуть с саней, зарыться в сугроб, заснуть, чтобы никогда не проснуться. И опять уговаривали ее работницы: «Поплачь, поплачь, родная! Слезы бабьи — великое дело!» Но плакать она не могла.

В больнице было холодно и неуютно. Она, которая привыкла жить для других, сразу подметила, что петров, не хватая медикаментов, белье грязное, санитар пьяный. Нужно было вмешаться, да сил не хватало. Устроили ее в палате, где было двадцать человек. Палата оказалась неуютной, гудела женскими голосами, как лесной улей. Лиц она не разбирала. Из огненного кошмара выплывало лицо доктора, усталое, с черными от бессонницы веками. И его слова: первая горячка... И вправду горячка — голова, руки, тело — все горело. Она вскакивала, торопливо натягивала халат, чтобы уехать в Астрахань, уверенная, что мертвого Аркадия не предали земле, что обязательно ждут ее, жену. Потом неотступно преследовал один и тот же кошмар — мертвый Аркадий в простыне с черным кадыком. Она бросалась к мужу, хотела припасть к его груди, но чьи-то сильные руки держали ее. Она начинала биться, сердилась, плакала, но сделать ничего не могла. Аркадий звал ее, звал... И она проваливалась в черную пропасть. И спасение от этого ада было в бегстве — в Астрахань, к Аркадию...

Времспами к ней возвращалось сознание. И она узнавала жепщин — скорбно подперев голову, они жалостливо смотрели на нее, подносили поильник: «Ты ведь ума решаешься!»

И опять бред и безумие подступали к ней. В редкие минуты просветления она казнила себя за малодушие. Видно, прожита большая жизнь и сил нет нести свою тяжкую ношу дальше.

Очнулась она от ласкового прикосновения. Ольга Петровна, милая Ольга Зеликсон, сидела у изголовья и смачивала ее виски ватным тампоном.

Зеликсон отослала работниц. Они с надеждой на нее смотрели. Она ни о чем их не расспрашивала. Позднее Конкордия Николаевна узнала, что она приехала специально, узнав о ее горе. Конкордия Николаевна прижалась к ней и рыдала в судорожном порыве отчаяния и горя. Ольга Петровна гладила ее по голове, словно маленькую, и все время вздыхала. Кризис миновал, свое отчаяние и горе она глубоко запрятала от чужих глаз.

Зеликсон выхаживала ее заботливо, как ребенка. Однажды приблизила к ее лицу зеркало. Конкордия Николаевна не могла поверить, что эта седая женщина с монгольскими скулами, резко обозначившимися из-за худобы, с глазами, блестевшими лихорадочным блеском, с запекшимися губами и есть она.

Конкордия Николаевна переехала в Москву.

Москва была заклеена лозунгами. Рабочий в кожанке предостерегающе поднял руку, призывая на борьбу с Деникиным. Квартиру не дали, да она и не думала обзаводиться бытом без мужа. Поселилась в Доме Советов в ванной комнате. Положила на ванну доски и спала, как на случайной почлежке в подполье. На крючок повесила весь свой гардероб. Жизненным благам никогда особого значения не придавала, а теперь и подавно.

В Москве пробыла недолго. Центральный Комитет партии направил ее в Самару. Время такое страшное — Деникин подходил к Москве, Колчак рвался к Волге. Гражданская война, фронты, интервенция огненным кольцом охватила молодую республику. Каждый человек был нужен, как винтовка в бою. Конкордия Николаевна чуть ли не круглосуточно не выходила из редакции.

Во ВЦИК готовили агитпароход «Красная Звезда» для поездок в Пермь и в Астрахань. Поездкам придавали большое значение — агитпароходы, на которых выезжали лучшие из лучших, имеющие опыт работы в государственном аппарате, должны были помочь восстановить хозяйство разрушенных войной городов и сел, укрепить Советскую власть. В Пермь собиралась выехать Надежда Константиновна Крупская, а в Астрахань — она, Конкордия Николаевна Самойлова. Цель святая, конечно, но у нее была и особая причина ждать этой поездки — найти могилу мужа, разузнать подробности его смерти...

Во ВЦИК сдержали слово — пароход «Красная Звезда» имел все лучшее, что могла предоставить республика, разоренная войной. Многотиражка, тюки мануфактуры, швейные машины, медикаменты... И чудо — кинематограф, правда, со скудным запасом лент.

Пароход «Красная Звезда» вышел в рейс 27 апреля 1921 года. Заведующим политотделом и инструктором Центрального Комитета назначили Конкордию Николаевну Самойлову. В рейс отправлялся и Еремеев, которого она хорошо знала по совместной работе в редакции газеты «Правда». Человек немногословный, он курил трубку да посмеивался. Конкордия Николаевна называла его в сердцах «бесчувственным чурбаном». Еремеев крутил головой, словно защищался от нападения осы. Присутствию Еремеева она радовалась — товарищ, настоящий товарищ!

Первый рейс парохода «Красная Звезда» закончился

для нее безрезультатно — перазбериша царила отчаянная и могилы Аркадия Александровича она не нашла. Все надежды возлагала на эту поездку...

Был солнечный день, искрилась вода. Волга казалась бескрайней. Кромка воды сливалась с горизонтом. В голубом небе крикливые чайки оставляли белые разводы. Кричали они жалобно и протяжно. Пароход резал волны острым килем, вздымая каскады брызг, басовито гудел, и рыбацкие суденышки прижимались к крутым берегам.

Солнечные дни Конкордия Николаевна старалась проводить на капитанском мостике.

На поручнях мостика сидела чайка. С красным клювом, красными бусинками-глазами, красными лапками. Чайка раскрыла клюв, что-то прокричала и, широко развернув крылья, повисла над палубой.

Конкордия Николаевна дышала полной грудью. Радовалась свежести, которая бывает на речном раздолье. Пароход зарывался носом в волну, и брызги обдавали ее. Она ежилась от холода и смеялась, как в былые дни. Время было лучшим лекарем! Она чувствовала себя спокойнее и увереннее.

В каюте, превращенной в редакцию, было шумно и суматошно. Обсуждали статьи предстоящего номера, спорили, ссорились, каждый доказывал свою правоту. Конкордия Николаевна любила эти яростные споры, молчаливого Еремеева, вихрастого Сорокина — поэта, который завалил редакцию стихами. В каждый номер она и сама давала стихи, писала их в одиночестве. Сегодня она с трудом оторвалась от сини воды, прошла в каюту. Присела к столу и начала писать:

«Два с половиной года Советской власти, но рабочие и крестьяне еще не приобрели достаточного опыта, чтобы управлять своими делами.

У буржуев и помещиков им учиться не пристало, им

приходится самим строить свое советское государство. Чтобы помочь товарищам разобраться во всех сложных и трудных вопросах, в красной столице Москве снаряжены особые поезда и пароходы. На эти пароходы рабочие и крестьяне выделяют более опытных товарищей в управлении государством, уже многому научившихся и приобретших необходимый опыт. Точно так же и наш пароход «Красная Звезда» отправлен к трудящимся Поволжья и Прикамья, чтобы помочь им, как лучше устроить свою жизнь и укрепить завоевания Октябрьской рабоче-крестьянской революции.

На пароходе едут представители всех партийных и советских учреждений, а также и рабочих организаций, к которым всякий может обращаться со своим делом.

Им предоставлено право разрешать на местах все недоразумения, давать советы и инструкции и обо всем том, что они заметят на местах, докладывать центру. Кроме того, у парохода есть и другие задачи — на нем книжки, газеты, кинематограф, в котором показывают картины из революционной жизни. Выпускается также и газета, где печатаются последние сведения о том, как идет борьба за освобождение рабочих и крестьян во всем мире. При пароходе есть бюро жалоб, куда каждый может приносить свои жалобы на своих обидчиков, на чьи-либо неправильные действия, на притеснения, на нарушения законности и искать помощи и защиты у Советской власти.

Пусть каждый идет со своими нуждами на пароход. Здесь его внимательно выслушают, разъяснят все сомнения и дадут толковый и ясный ответ...»

Конкордия Николаевна быстро перечитала написанное. Осталась недовольна — доходчивость, доходчивость — главное. Народ неграмотный, темный. Нужны были точные и простые слова, от них зависел успех дела.

В каюту заглянул Еремеев. Он был мрачен. Страхнул

брызги — волной окатило, пока взбирался по трапу. Рукавом вытер лицо и с неудовольствием застучал трубкой о косяк двери. С трубкой он не расставался.

— Эко, товарищ Наташа, любишь забираться на высоту. Сидела бы в красном уголке и писала, словно места не хватает!

— Высоту-то и нужно любить, Еремеев, — улыбаясь, ответила она. — В красном уголке топор можно вешать от дыма. Скоро возьмусь за курильщиков и буду гонять беспощадно. Моду завели, будто на пароходе женщин не существует.

— На такой посудине и покурить негде! — Еремеев огляделся по сторонам. — Значит, мужчинам объявляется война. Неплохо. Слово с делом не расходится. — И помолчав, добавил: — Слава богу, не первый год знаю.

Копкордия Николаевна уловила в его голосе тоску. Засмеялась. Еремеев застучал трубкой по краю стола и, достав проволочку, принялся чистить трубку. И тоже улыбнулся. Заметил, что она словно помолодела. И голос твердый, и жесты энергичные, как в былые годы, когда ночами сидели в редакции «Правды»... Кажется, новая обстановка помогает забыть горе. Главное — чтобы выдюжила эта удивительная женщина, товарищ Наташа. За эти годы в каких только переделках не побывали!.. Одних обысков да арестов в редакции сколько было! И всегда выдержанная, находчивая и отважная до самоотрешенности. Как изменилась после смерти Аркадия Александровича! Горе дубы ломает. Березке-то легче бывает, наклонится, прижмется к земле и снесет непогоду, а дуб пощады не просит, стоит открытый ветру и буре.

— Пора номер верстать, Еремеев, — прервала его раздумья Копкордия Николаевна. — Постараемся сделать номер проще. Народ-то неграмотный, веками нуждой забитый. На путине работать несладко, путина — это тот же фронт. И нужно, чтобы ловцы понимали, что они на

фронте борьбы с разрухой! Значит, напишем: «Пусть поднимутся миллионы героев на борьбу с разрухой и нищетой!» Крупным шрифтом, броско.

— Людей на путике мало, работать-то пекому,— покачал головой Еремеев.— До понятия мобилизации на трудовой фронт парод не дорос. Раньше шли на путину на заработки из Астраханской да Царицынской губерний. Теперь кому идти — мужики на войне погибли, в деревнях бабы да детишки.

— Все правильно. И работать надо применительно к условиям. Нужно искать. На патронный завод пришла баржа с мукой. Что делать? Завод-то стоит из-за отсутствия рабочих. Но мука нужна, и сразу нашлись люди. Баржу начали разгружать. Отозвались добровольцы, они стояли по пояс в воде и передавали мешки с мукой.

— Так то мука! — протянул Еремеев.— За мукой не только в воду полезешь, но и в огонь бросишься.

— Мука? А рыба чем отличается? Мудрец... Рыба — основной продукт. Скот извели от бескормицы, мяса нет. Задача наша, агитаторов, словом и делом приободрить рабочих промысла. Да, тяжело, да, трудно, но иного пути нет. Это крайне необходимо! — Конкордия Николаевна говорила тихо.— Только бы слова найти настоящие к сердцам людей. Мысли и слова — вечные ножницы...

— «Мысль изреченная есть ложь!»

— Не мудри, и Тютчев тут ни при чем. Человечество еще не научилось по-иному, без слов, выражать свои мысли. Лучше посмотри свежим глазом, что я здесь написала.

Конкордия Николаевна отдала материал Еремееву, а сама продолжала писать:

«Первую весну рабочие и крестьяне приступили к строительству новой жизни в мирной обстановке. Четыре года Советской России приходилось отбиваться от многочисленных врагов, внешних и внутренних. Разоренное

войной народное хозяйство еще более рушилось, разваливалось.

Наконец враги разбиты, мы отбили у них охоту воевать с нами. Сейчас все расчеты капиталистов сводятся к тому, чтобы рабочие и крестьяне не справились бы с разрухой, не сумели бы паладить свой труд, хозяйство и жизнь.

Правильны ли расчеты буржуазии?

Враги нарушили работу рыбных промыслов. Обрекли трудящихся на голод и лишения, оставили без хлеба. Нужно наладить хозяйство. Заготовить на зиму рыбы и тем избавить трудящихся и их детей от голода и холода. Укрепить Советскую власть, чтобы она была прочна, как дуб могучий, и никакие темные силы не могли бы вырвать корни этого дуба». Отложила перо и быстро пробежала глазами написанное. Осталась недовольна — спешка. Конкордия Николаевна подняла голову и сердито посмотрела на Еремеева. Шелестит гранками. И опять перо быстро побежало по бумаге: «Тяжело на промыслах работать в грязи и воде, но и Красной Армии нелегко было сидеть в окопах и быть оторванной от родных семей. А она выполнила свой долг — победила врагов!»

Конкордия Николаевна откинула голову — этот Еремеев все шуршит гранками. Очки на толстом носу. Читает долго, словно ощупывает каждое слово.

— Я о трудностях написала в статье. Нельзя делать вид, что их не существует. О них нужно с народом говорить откровенно, и Владимир Ильич в этом большой мастер. Честный разговор всегда привлекает сердце рабочего человека, да и к кому, как не к рабочему, партия может обратиться в трудный момент?

— Владимир Ильич всегда находит удивительные слова, — согласился Еремеев и, сдвинув очки на кончик носа, протянул ей гранки. — Подпишите, Конкордия Николаевна.

Ваше «мо», как говорят ф­ра­цуз­ы, удачно и очепь. «Штаны из рыбы»? Забористо... Забористо...

— Значит, понравилось? Посмотрим... Посмотрим...— Конкордия Николаевна улыбнулась, довольная похвалой.— Как в набранном виде-то смотрится?..

«Штаны из рыбы.

— Батя, как из рыбы сделать штаны?

— Вот как, сынок: отдают рыбу государству, оно разделяет ее на части: одну отдаст крестьянину — он за нее даст лен, хлопок, пеньку; другую — рабочему на мануфактурной фабрике, — он делает полотно, ситец, сукно, нитки; третью — портному — он шьет штаны, пиджаки, пальто».

— В общем весь процесс уложили в несколько строк, — посмеиваясь, закончил чтение Еремеев. — Правда, последнюю сводку улова не дали. Недостаток-с, Конкордия Николаевна.

Оба рассмеялись.

— Сводка-то у меня в столе. Капитан принес. Значит, белуга — 65 пудов 10 фунтов, осетр — 68 пудов 10 фунтов, вобла — 113,996 пудов... Все это выделим жирным шрифтом.

— Воблы стали вылавливать больше. — Еремеев склонился над сводкой. — Каждый пуд — спасенные жизни. Каждый... Тяжко бывать на промыслах. Никогда не думал, что столько слез стоит эта проклятая вобла. А сельдь? Оказывается, перед засолкой ее нужно морозить на льду. Потом замороженную укладывают в лари. Руки у женщин красные, исцарапанные до крови. Рукавиц нет, некоторые обматывают руки тряпьем. День-деньской под раскаленным солнцем в мокрой тулuzке и с разъеденными солью руками. Тяжкое зрелище...

— У меня сердце разрывается, когда приходим на промысел! Грязь, сырость, зловоние от разлагающейся рыбы. Женщины худущие... Мы на сверкающем красавце

пароходе, словно с другой планеты. Угрызения совести меня не оставляют.— Это была прежняя Конкордия Николаевна, энергичная, решительная, умевшая не только говорить, но и делать.— Нет вкуса и умения работать — вот и валят на эту разруху. Казармы еще с царских времен, грязные и неуютные, будто их невозможно побелить и утеплить. Женщины на промыслы тащат ребятишек. Нет ни яслей, ни общественных столовых. Разгильдяи...

Лицо ее побледнело, глаза стали большими и круглыми, как у рассерженной птицы. Еремееву было ее жаль — волнуется, а от болезни еще не оправилась.

— Конкордия Николаевна, к пристани подходим.— Еремеев уткнулся в иллюминатор, пытаюсь ее отвлечь.— Народу-то на берегу... Народу... Встречают... Митинговать начнем?

— Идите, идите! Да поторопите оркестр — народ так радуется, когда слышит пролетарскую музыку...

— Товарищи! От хорошего улова зависит благополучие миллионов рабочих Москвы и красного Петрограда. Знаем, что работа ваша тяжелая, нелегкая. Знаем, что нет обуви и одежды. Знаем, что руки в ссадинах, на ногах кровоподтеки. Знаем, что нет мыла и свирепствует неподалеку холера. Знаем, что одни сапоги приходятся на двадцать человек.— Голос Конкордии Николаевны звенел над притихшей толпой. Она подобралась, стала выше ростом, в глазах затаенная боль.— Знаем... Дайте срок, и трудовая Россия будет сытой, светлой и богатой. А пока республике нужна рыба, нужен ваш труд!

— Прежде дай сапоги! — закричал кто-то надрывным голосом из задних рядов.— По соли голыми ногами не попрыгаешь!

— Соли нету, так и слова нету, а как хлеб дошел, так переговор дошел! — ответила Конкордия Николаев-

на.— Вот и будем разговор вести. Можно и так рассуждать: пусть республика даст сапоги, а потом и рыбу получит. Мы не купцы и не будем рядиться! Да и рядиться-то не с кем — власть своя, народная. Рабочего нужно накормить! Наш агитпароход недавно из Москвы — детишки мрут с голоду! Зачем мы такой кровью завоевывали Советскую власть, если не можем спасти от голодной смерти детей! — Голос ее зазвенел и оборвался. Она с трудом справилась с волнением. — Сколько голодных обмороков я повидала за это время! Рабочие и крестьяне — братья! И долг ваш, ловцов, — накормить голодных, спасти от смерти. Республика надеется на вас, товарищи! И еще одна беда — мяса в этом году мало. Скот погиб от отсутствия кормов и долгой войны. Вся надежда на рыбу. Голод не тетка, пирожка не подсунет...

В толпе одобрительно засмеялись.

— Голодному кусок за целый ломоток! — прокричал кто-то надрывным голосом. — Городские привыкли брюхо набивать...

— Ловцам жаловаться на голодуху просто грешно, — отрезала Конкордия Николаевна.

В толпе затихли.

— Не бузи, Колька! — Старик не спеша провел рукой по бороде. — Какая сытость в такое лютое время? Но с городскими не может наше житье сравниться. Женщина к нам, ловцам, с полным уважением и почтением, а мы ей в нос сапоги суем! Неладно...

— Что получают ловцы за свою каторгу?

— Республика даст максимум того, что может, — продукты по норме: хлеба — 60 фунтов на едока в месяц, жиров — 1 фунт, сахара — 1 фунт, овощей — 30 фунтов. — Конкордия Николаевна вкладывала в слова всю свою душу. Эта норма для голодных питерских рабочих казалась сказочной. Как-то примут все это здесь? — К ловцам идут грузы в трюмах пароходов. И на «Красной

Звезде» есть мануфактура, манная крупа, табак и спички!

— Кто курит табачок, тот христов мужичок,— озорно крикнули из задних рядов.

— Хлеб-соль вместе, а табачок пополам! — вступил в разговор и Еремеев. Ему, курильщику, была понятна радость мужиков при вести о табаке.

Да и Конкордию Николаевну было жаль — стоит над толпой, задавленная вопросами и криками. Он махнул рукой. Сверкнули на солнце медные трубы. Надул щеки пароходный кок, кочегар ударил в барабан. Грянул оркестр.

Толпа восторженно махала картузами и платками. Музыка, которую никогда не слышали в этих медвежьих углах, произвела ошеломляющее впечатление. Еремеев не выпускал из поля зрения Конкордию Николаевну. И она радовалась, что так удачно закончился митинг. И все же чувствовалась усталость в голосе, хрипловатом от частых выступлений, болела голова, словно стянутая обручем.

Толпа оживилась. Слова Конкордии Николаевны были понятны, да и прямой разговор о трудностях вызывал доверие. Старик согласно кивал головой. За руку он тащил паренька в большой фуражке, напозавшей на глаза. На пареньке были штаны навырост и рубаха, вылинявшая на солнце. Держался, как дед, степенно, кивал головой, надувал губы, руки сложил на животе и вздыхал...

— В результате разорительной войны в России нет мяса,— и опять низкий поклон вам, ловцам, дайте стране больше рыбы... Больше рыбы, чтобы рабочие и дети смогли перезимовать и не умереть от голода! — Конкордия Николаевна обвела взглядом толпу и говорила, как человек, повидавший смерть.— Нужно, чтобы на промыслах рыба не пропадала, нужно спасти каждый фунт, каждый пуд... И помните — удачный день путины спасет сотни тысяч голодных, спасет детей!

Парнишка в большом картузе степенно захлопал, подражая деду. С деда он глаз не спускал.

— Представитель Советской власти в Англии Красин закунил у английских купцов 800 тысяч пудов сельдей. Капиталисты даром ничего не дают. В обмен за сельди требуют золото! А в нашей матушке Волге рыбы-то сколько! Всю Россию прокормить можем! — Конкордия Николаевна обвела рукой. — Ширь-то какая... Бескрайняя...

— Не бывал женат, а корми ребят! — смеялся Еремеев.

— Не богатый кормит — тароватый, — вставил словцо старик.

— Стыдно, товарищи, на золото покупать сельди в Англии, эта мера крайняя, — звенел голос Конкордии Николаевны. — Золота в стране мало, буржуи его постарались за грапицу вывезти. И никак невозможно, чтобы золото утекало к капиталистам. Без золота не восстановить народного хозяйства. И опять один путь — дать стране рыбу! И спасти золото, которое принадлежит народу!

Еремеев поднял руку. Грянул оркестр. Старик стянул картуз, хотел перекреститься, но потом передумал и почесал за ухом. Ребятишки, черные от солнца, протиснулись к оркестрантам, в их глазах был восторг. Еремеев улыбнулся — знал, что Конкордия Николаевна пачнет раздавать им кусочки рафинада из собственного пайка. Хорошей матерью была бы, коли по-иному сложилась бы ее жизнь.

— Товарищи! Партия знает, что условия путины плохие. Нет ловцов — молодые погибли в боях. Нет сетей — они сгнили или разворованы. Вся тяжесть на промыслах легла на женщин. Им очень трудно. Парусники ветхие, промысловый флот убывает. Женское ли дело ходить на парусниках по Волге? Нет, конечно... Все это от великой пужды. Наши женщины, жены — герои! Женщины, пар-

тия просит вас помочь Родине. Народ будет помнить и гордиться вами, дорогие подруги! — Конкордия Николаевна широко развела руки, будто хотела обнять всех. — Друзья мои, товарищи...

И опять заиграл оркестр. И опять хлопали. И опять махали картузами.

Еремеев дивился, как хорошо умела говорить с народом Самойлова! Никогда не преуменьшала трудности, никогда не фальшивила, и люди верили ей безгранично.

Митинг закончился, и на пароходе «Красная Звезда» началась другая жизнь. Не та размеренная и строго регламентированная, к которой привык Еремеев, а суматошная и беспорядочная. Грохотали сапоги по сходням, по трапам взбирались ребятишки, перекликаясь, как в лесу. Женщины сидели в каюте у Конкордии Николаевны, смущенные, притихшие. Самым важным начальником считали пароходного кока, тот был в белом колпаке, белом фартуке, белых штанах.

Капитан, всегда спокойный и молчаливый, в такие часы терял присутствие духа. Ставил на вахту Еремеева, чтобы спасти машинное отделение от любопытных мальчишек, а сам пытался урезонить Конкордию Николаевну.

От объяснений с капитаном Конкордия Николаевна уклонялась.

И каждый раз после стоянки капитан объявлял аврал, и на пароходе начиналась уборка. Самые громкие команды он отдавал у иллюминатора каюты Самойловой в надежде вызвать ее на разговор. Но многоопытная Конкордия Николаевна на разговор не шла. Задерживала иллюминатор занавеской и начинала приводить в порядок деловой дневник, листала записи.

Этим она занималась и на сей раз.

«26 мая — *Красный Яр*. Митинг на «Красной Звезде», около тысячи рабочих, красноармейцев и женщин, «О международном положении Советской республики».

27 мая — *Красный Яр*. Митинг работниц на «Красной Звезде», 600 человек. «Участие работниц в народном хозяйстве».

28 мая — *Промысел Бороздинский*. Митинг на барже «Красной Звезды». 300 человек работниц и киргизов. «Хозяйственное положение Советской республики».

28 мая — *Промысел Чурка*. Митинг рабочих и работниц на «Красной Звезде». 800 человек. «Участие работниц в поднятии народного хозяйства».

29 мая — *Ловецкое село Марфино*. Митинг около тысячи на «Красной Звезде». «Хозяйственное положение Советской республики».

30 мая — *Большой Бузанский промысел*. Митинг на «Красной Звезде», около 700 человек киргизов и работниц. «О хозяйственном положении Советской республики».

30 мая — *Федоровский промысел*. Митинг на «Красной Звезде». 800 рабочих и работниц. «О международном положении Советской республики».

31 мая — *Федоровский промысел*. Собрание работниц. 200 человек. «Об участии работниц в народном хозяйстве»...»

С Еремеевым она долго ходит по промыслу. Еремеев молчит, знает, что будет гроза. Конкордия Николаевна сразу постарела. Утром радовался, когда она стояла на палубе. Глаза светились, как прежде. А тут и плечи опустились, и глаза погасли, и губы кривятся от боли. Конечно, на промысле порядка нет. Бараки ветхие. Глиняные полы потрескались от жары, крыши с почерневшей соломой. Стены из прогнивших плетней обклеены газетами, полати гнилые. Детишки-то на них и взбираться боятся — все больше на полу на лохмотьях. И этот удушливый запах прогнившей рыбы.

— Под суд прохвоста... Под суд...— Конкордия Николаевна с трудом сдерживала себя.— Председатель сидит в Астрахани, поди, и носа на промыслы не кажет! Судить революционным трибуналом за детей! Судить... Стыдно....

Все это напоминало Бессарабию, куда от Пироговского комитета выезжала на борьбу с голодом. Это в бытность на Бестужевских курсах. Такая же выжженная солнцем степь, избы под кривыми крышами да голые детишки на печи под рваными тряпками... Но то было в царское время, а Советская власть такого не может допустить! И вновь лицо ее темнеет от огорчения — рубахи-то на плетнях истлели от солнца да пота. Лохмы одни...

— На пароходе осталось немного мануфактуры,— подсказал Еремеев.

За мануфактуру отвечал Еремеев. Конкордии Николаевне такое доверить было невозможно — на первом же промысле все бы раздала, а тут нужно по-хозяйски, расчетливо. Она и сама осталась в единственном платье — все питерских знакомых находила, которые, по ее словам, пообносились до крайности, вот и одаривала каждую. Скоро и ей самой придется выдать несколько аршин ситца — беда с ее добротой.

— Спасибо! — Конкордия Николаевна пожала руку Еремееву. — Сердце-то есть...

Довольна. Спасибо, сам предложил мануфактуру. Конечно, она бы заставила отдать, но нужно было ссориться, доказывать. Плохи дела на промысле, если Еремеев сам вызвался отдать мануфактуру. И Еремеев счастлив — расцвела Конкордия Николаевна, а за улыбку ее он готов и жизнь положить.

— Еремеев, прикажи матросам нести мануфактуру... Получше какую — детишкам штаны шить. Негоже гусарам без штанов красоваться!

Еремеев вздохнул — все эти хитрости знакомы. Гусары на каждом промысле, и всем получше просит, только аршины-то не резиновые. Мануфактура-то счет имеет, а пароход на три промысла должен зайти. Вот она, заботушка-то!

— Женщины-то здесь красавицы! Правда, Еремеев? — Конкордия Николаевна ласково взяла своего попутчика под руку. — Прекрасные. Стройные... С большими глазами... Таковую приодень, и голову потерять можно. Кофтенки приличной ни на одной не увидишь... Может быть, ситчику подбросим? А?

У Еремеева от возмущения глаза округлились. Нет, подумайте только. Сам виноват, что перед митингом не отвел ее в трюм — полки-то пустые. И на каждом промысле голые да босые, и на каждом промысле детишки в лохмотьях да женщины в робах. Волком быть впору от этой Конкордии Николаевны. При ее характере от стыда можно сгореть. Нет, пускай забирает ключи от кладовой и командует сама. Вот и будет настоящее равноправие, за которое она так ратует.

— Ну, товарищ Наташа! Простота хуже воровства! — Еремеев посасывал пустую трубку. Помолчал, сдерживаясь, боялся наговорить лишнего. И святого из терпения можно вывести. — «Ситчику подкинь»? Берите ключи, и все тут.

— Хорошо... Хорошо... Не будем горячиться, — пыталась смягчить размолвку Конкордия Николаевна: действительно, как это у нее вырвалось. Вот и рассердился, даже ключи отдает. — Ну, сказала... Гони матросов, да попроси прихватить швейные машинки. Женщины начнут строчить...

Еремеев сердито набивал трубку. Пожалуй, о ключах-то зря вырвалось. Жаль, конечно, — сердце женское и жалость женская.

И еще раз он посетовал на свою неговорчивость,

когда увидел Конкордию Николаевну вместе с женщинами.

Солнце упало в реку. Залило все оранжевым светом и унесло зной раскаленной степи. У чахлого деревца, чудом уцелевшего среди солончаков, был поставлен белый стол. Это женщины отскоблили его от рыбьей чешуи. Здесь и Конкордия Николаевна. Самая искусная женщина — из газеты делает выкройки, потом прикидывает на полотне. Надо, чтобы и сантиметра лишнего не пропало! Вот она, нищета! И губами шевелят, и дышать боятся.

В эти минуты Еремеев готов был отдать этим женщинам все, что могло придумать разгоряченное воображение. Он даже отвернулся, чтобы Конкордия Николаевна пенароком не увидела у «бесчувственного истукана» слезы на глазах.

И опять над Волгой повис закат, с солнцем, пышущим жаром, с легким ветерком, гонящим рябь по волнам, с косяками уток в голубой выси и тихой песней рыбаков, просторной и свободной, как сама река.

Пароход отваливал от Алгаринского промысла. На берегу толпился народ. Провожали Конкордию Николаевну. И руками махали, и детишек повыше поднимали, и слова добрые кричали. Промысел белел бараками, новыми крышами да ситцевыми платками баб.

Конкордия Николаевна с грустью смотрела на берег.

— Как упирался старик, когда я предложила вместо пьяницы мужика поставить во главе женщину! И в пояс кланялся, и божился, что дня, мол, не переживет позора! — Она повернулась к спутнику. — Такая косность! Какая убежденность, что женщина не может занять место, равное мужчине! И так на каждом промысле: работают женщины, руководят — мужчины! Недомыслие

какое-то... И даже очень обидное! Напрасно смеетесь, Еремеев! — Конкордия Николаевна нахмурилась. — За равноправие нужно бороться. И пока женщин не поднимем управлять государством, пока не произойдет психологический сдвиг в сознании каждого, и разруху не победить...

— Конкордия Николаевна, шли бы в каюту. Дерьмо выдался трудный, и отдохнуть не грех. Устали, поди, и переволновались из-за этого старика: баб он люто ругал. Знать, насолили ему. — Еремеев настороженно смотрел на Самойлову. Выглядела она плохо — сжалась, потирала руки, как при ознобе, и напоминала обиженную девчонку. Конечно, он боялся надоедать излишней опекой, по вид ее ему не нравился. — Отдыхать, отдыхать пора...

— Мне еще статью закончить нужно — снабжение на промыслах плохое, и, пока не ударим в набат, пичего не изменится. — Она зябко передернула плечами. — Холодно стало. — Сказала робко и неуверенно. — Простудилась, наверно, на сквозняке. Еще к докладу нужно подготовиться в Астрахани, конференция-то не за горами. Работы я не боюсь, но сил не хватает...

Ее вид очень не нравился Еремееву. На лице вспыхивал лихорадочный румянец и гас. Заболела? Переутомилась? Вполне возможно — каждый день выступала перед тысячной толпой, редактировала газету, писала статьи, встречалась с делегатками, проводила конференции. Как еще держится на ногах!

— После Петрограда эти места мне казались землей обетованной, — вздохнув, сказала Конкордия Николаевна. — Хлеб, рыба, конипа... А теперь-то я вижу, как тяжело пришлось Аркадию.

Еремеев тихо взял ее за локоть — об Аркадии Александровиче она не разрешала себе говорить. Боялась ворошить былое, боялась отчаяния, от которого не было спасения. В первый день приезда в Астрахань Еремеев

был с ней на кладбище: могилу Аркадия Александровича они тогда не нашли. Кладбище хранило следы боя. Могилы обсыпались от разрывов снарядов. И никто не мог сказать, где хоронили тех, кто умирал в Иоанновском лазарете от тифа. Молча ходили они по кладбищу. Сокрушались... Могилу ей удалось разыскать позже. Она была одна и долго простояла у холмика, слушая тоскливое завывание ветра. Хотела еще раз побывать на кладбище после возвращения с промысла, куда уходил агитпароход.

— Не растравляйте себя, Конкордия Николаевна! — Еремеев тихо кашлянул в кулак. — Идите-ка в каюту. Солнце давно окунулось в Волгу, завтра опять митинги да конференции.

— Ну, попробую отдохнуть... — И она ушла.

В каюте было прохладно. Через иллюминатор лился чистый воздух. Она подставила лицо ветерку и наслаждалась, утомленная дневным зноём. Пожалуй, Еремеев прав: нужно отдохнуть, поспать немного да и за работу приняться. Мысль о статье не давала покоя. Обычно она писала легко, а тут напала какая-то вялость, слово к слову на веревке притягивать нужно. Должна! Вечно что-то должна, что-то не доделано, куда-то опаздывает, вечно собой недовольна. Мало писала, плохо писала, мало работала — всего мало и все плохо. Такое самоедство к добру не приводило. Понимала все это, а справиться с собой не могла.

И все же нужно было писать эту статью. Не дай бог заболит! И опять начинался озноб. Она взяла шерстяной платок, закуталась. Во рту появилась горечь и сухость. Интересно, что это она съела? И голова кружилась. Она приложила руки к вискам: голова горячая. И эти рези в желудке. Тупые и частые. Пожалуй, лучше перетянуть шерстяным платком живот. Вот так, потуже, еще потуже. Дышать стало трудно, но боль словно отступила.

«Несвоевременное снабжение промыслов всем необходимым является одним из больных вопросов: мануфактура, мыло, чай, которые предназначаются для раздачи промышленным рабочим и работницам, приходят на места с большим опозданием, что создает ненужное раздражение и отражается на успешности работы.

Но самое главное, на что нужно обратить самое пристальное внимание, это на улучшение быта и жизни трудящихся рыбных промыслов»...

Конкордия Николаевна отложила перо. Нет, сегодня она не могла работать. В глазах зеленовато-красные круги, голова словно в тисках, руки ватные и этот противный изнуряющий пот. Болели плечи, ломило спину, подступала тошнота. Но озноб прошел, и липким потом обволокло все тело. Когда-то, до революции, она переносила на себе бумагу для нелегальной типографии — это уже стало историей! — пот лился с нее прямо ручьями, вот и сейчас то же ощущение.

«Почва для культуры и просвещения на промыслах богатая, нужно только сеять на ней «разумное, доброе, вечное», и тогда эта почва даст богатые всходы».

Нет, писать она не может. Перо выпало из рук и покатилося, слабо позванивая о металлические клепки пола. Она попробовала перечитать написанное, но буквы расплывались, перед глазами была черная пелена.

И все же она нашла в себе силы и спустилась в кают-компанию. Ей уступили место. Шел обычный спор о материалах для завтрашнего номера. Вступила в разговор и она. К ее удивлению, окружающие ей не возражали. Соглашались и тревожно умолкали. Она сидела неестественно прямо, стараясь, чтобы не заметили ее страданий. Слова с трудом доходили до ее сознания. И словно тупой ржавой пилой распиливали поясницу. Такой боли она еще не знала, не представляла, что такая непереносимая боль существует. Она застонала и потеряла сознание.

Сквозь туман она различала лицо Аркадия Александровича. На нем белый халат, а в руках... шприц с естественно большой иглой. Он гремел пузырьками, растирал ей руку ватой, смоченной спиртом, и делал укол.

— Потерпи, Кона... Потерпи...

Нет, это доктор. Слова утешения произносила она сама. От этих слов и пришла в сознание. Рядом был Еремеев, который не ушел из каюты, невзирая на протесты доктора. Пустая трубка судорожно сжата в руке.

Конкордия Николаевна попыталась улыбнуться. Как обычно, чувствовала себя виноватой, причиняя окружающим беспокойство.

— Что было со мной, Еремеев? — спросила и сама удивилась своему голосу. — Обморок?

— Все обошлось, Конкордия Николаевна. — Еремеев отстранил врача и присел на край койки. — Обошлось... Нужно попытаться поспать, и засияете, как молодой месяц.

Доктор делал негодующие знаки, но Еремеев не отходил. Он взял ее за руку и гладил робко и неумело.

— Нет, Еремеев, месяцем, да еще молодым, мне не сиять! Я как старое, изношенное пальто. Взяли пальто, перелицевали, тут заштопали, там залатали, да все это ненадолго. Швы расползаются, и видно, век-то свой пальто отжило... — И, облизав сухие губы, она добавила: — Хороший ты друг. Хороший... Только не дано дружбе спасать людей от смерти.

— И слушать такие речи не желаю! — Еремеев побледнел и зло уставился на доктора. — Лечите же, черт вас возьми... Лечите... Конкордия... Голубушка моя! — Еремеев приподнял ее за плечи и держал, стараясь облегчить ей дыхание. — Крепитесь... Крепитесь...

Она бессильно уронила голову. От высокой температуры запеклись губы, искусанные в кровь. Лицо то заливало жаром, то оно становилось белым до синевы. Она

металась в лихорадке, пыталась вырваться, но крепкие руки Еремеева удерживали ее.

Доктор гремел блестящими шприцами. Пахло эфиром, нашатырем. Суетился, но помочь не мог. Больной становилось все хуже. Она вся горела, и Еремееву казалось, что с этим жаром ее покидает жизнь. Доктор поставил диагноз — холера... Заразилась там, на промысле.

Конкордия Николаевна бредила, звала Аркадия Александровича, сестер и матушку. Еремеев не отходил от нее. Он не мог поверить в то страшное, что неотвратимо надвигалось.

— Большая книга закрылась! — Конкордия Николаевна пришла в себя и в упор посмотрела на Еремеева, словно смерть на время отступила. — Красный Петроград... Красный Петроград...

Доктор виновато опустил ее руку. Пульс пропал. Еремеев зарыдал и выбежал из каюты.

Еремеев стоял у часовни, в которой покоился гроб с телом Конкордии Николаевны. У входа застыли в почетном карауле матросы. Приспущен красный флаг с черным крепом. Смерть от холеры... И попрощаться-то запрещено, и лицо этой прекрасной женщины увидеть невозможно. Крышка гроба плотно закрыта. На крышке красные звезды. И красное знамя, как солдату, лежит сверху. Стены часовни завалены венками. Их так много, что от их сладковатого запаха можно потерять сознание. Все его существо восставало против чудовищной несправедливости — умереть в сорок пять лет, полной сил, желая работать. Менялся почетный караул. И Еремееву нестерпимо били в глаза начищенные до блеска двери часовни с медными круглыми ручками. Только бы не упасть, выдержать, проводить в последний путь.

Оркестр заиграл траурный марш Шопена. Величавые

и горестные звуки заполнили все вокруг. Прозвучала тихая команда, двери часовни распахнулись. Матросы вынесли на плечах гроб с красными звездами.

Гудели гудки, басовито и протяжно. Рабочая Астрахань прощалась с Конкордией Николаевной Самойловой. Подошел трамвай, зеркальные окна которого были затянуты траурными полотнищами, в него внесли гроб. Трамвай медленно двигался к кладбищу. И таким одиноким почувствовал себя этот бесстрашный человек, что сгорбился и, задыхаясь, с силой рванул ворот косоворотки.

Широко открыты ворота кладбища. Траурную процессию ждет большая толпа. И опять венки, букеты полевых цветов. Гроб снова приняли люди. У разрытой могилы процессия остановилась. Речей он не слышал. Тихо стоял у края могилы. На толстых веревках медленно опустили гроб. Кто-то подтолкнул Еремеева, он бросил первую горсть земли. Бросил и закрыл глаза от боли.

Потом, когда народ разошелся с кладбища, на холме, покрытом ворохом цветов, он установил табличку из свежеструганных досок:

**Аркадий Александрович
САМОЙЛОВ**

**Конкордия Николаевна
САМОЙЛОВА**

М80 **Морозова Вера Александровна**
Всероссийский розыск: Повесть о Конкордии
Самойловой.— М.: Политиздат, 1979.— 327 с., ил.—
(Пламенные революционеры).

М $\frac{10203-024}{079(02)-79}$ 281—79 0902030000

84.3Р7+66.61 (2) 8
Р2+ЗКП1 (092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редакторы *З. В. Одинцова, А. П. Пастухова*
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*
Художник *А. Б. Буркатовский*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 123

Сдано в набор 07.09.78. Подписано в печать 17.01.79,
А00306. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 14,97. Учетно-изд. л. 15,27.
Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 455. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат.
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Типография издательства «Уральский рабочий»,
Свердловск, пр. Ленина, 49.

Scan Kreyder - 25.01.2016
STERLITAMAK



1914

